ЧЕРТОВ ЛОГ



Вл. Кораблинов

ЧЕРТОВ ЛОГ

Роман

Воронежское книжное
издательство—1962

Р2
К66

Двенадцать послевоенных лет под личиной сапожника или конюха скрывался изменник Родины Гаврила Светличный. Он часто менял место жительства, заметал следы, и всякий раз, где бы он ни появлялся, возникали какие-то загадочные события: то бесследно исчезнет человек, то совершится групповое самоубийство, то в теле умирающего ребенка врачи находят швейные иголки. В следственных делах иногда устанавливается, что преступление совершено по приказанию некоего «архангела». Однако «архангел» неуловим: совершив преступление, он исчезает из одного района с тем, чтобы неожиданно появиться в другом, отдаленном от первого на сотни и даже тысячи километров. И вот — снова гибнет чья-то жизнь, снова — непонятный, запутанный клубок преступлений. Вместе с таинственным «архангелом» кочует с места на место его жена и сподвижница — врач Беата Вернер (в прошлом — переводчица при гитлеровской комендатуре), которая является фактическим руководителем преступной деятельности изуверской секты. Но сколько веревочке ни виться, а конец придет: в одном из глубинных районов России эта «святая семейка» попадается с поличным, причем в деле ее разоблачения активную роль играет сельская молодежь, комсомольцы. Обо всем этом рассказывается в новом романе писателя В. Кораблинова «Чертов лог».

1. СВЕТ НАД МАКОВКОЙ



Слепый слепца водяй, оба в яму впадутся, понеже в нощи неведения шатаются.

Аввакум. Книга бесед.

1.

У бакенщика Михайлы Иваныча померла жена. Как всю жизнь была тихая да безответная, так тихонько и померла: вечером подоила козу, собрала поужинать, чай подала Михайле Иванычу (он еще ругнул ее — зачем чай в чугунке варила: щами воняет), а потом легла на дере-

вянный диванчик под часами, накрылась с головой телогрейкой, и когда вздохнула она в последний раз — бог ее знает. По крайней мере Михайла Иваныч не заметил. Завалившись на кровать, он сразу крепко уснул и спал часов до пяти утра. Проснулся потому, что озяб. Закурил, вышел наружу, поглядел на реку. В густом молочном тумане звенела вода на перекате, берега были белые от мороза.

Михайла Иваныч взял весло, градусник и спустился к лодке. За ночь возле берега нарос тонкий ледок. «Рановато, — подумал старик, — что ж это, еще до октябрьских праздников, считай, три недели, а вон какой мороз!»

Он смерил температуру воды и воздуха: в воде градусник показал плюс семь, а на воздухе — минус четыре.

Поднявшееся из-за леса красновато-золотое солнце с трудом продиралось сквозь плотный белый туман. Вдали над селом, расположенным по крутым глинистым буграм, столбами стояли синие дымы. Пастух затрубил, замычали коровы, зазвенело ведро, на колхозном дворе загрохотал трактор. И стоило ему только загрохотать, как где-то за селом, за садами, точно откликнувшись, тяжко завыла, одолевая крутизну дороги, грузовая автомашина, потом радио на площади щелкнуло, заговорило, заиграло «Союз нерушимый...» День начался и двинулся своим привычным путем.

Михайла Иваныч записал в маленькую книжечку температуру и пошел в избу. В избе совсем стало светло. В тишине особенно как-то въедливо стучал маятник засиженных мухами ходиков. Ночевавшая под печкой хворая курица подошла к диванчику, дробно постучала клювом по деревянной ножке, таракана, что ли, выковыривала и словно будила старуху. А та лежала, не шевелясь, и лицо ее, как и давеча, было накрыто телогрейкой.

— Клаша! — позвал ее Михайла Иваныч. — Ты что, ай захворала?

Он приподнял телогрейку и вздрогнул: узкой щелочкой чернел полуоткрытый старухин рот, мутные глаза глядели бессмысленно, не мигая. Вытянутая вдоль тела рука поразила своей синеватой белизной. Михайла Иваныч потрогал эту руку — она была тверда и холодна.

Тогда он понял, что старуха померла. Ему стало жалко и ее, с которой он прожил больше тридцати лет, и себя, так неожиданно осиротевшего. И он заплакал.

2.

Похоронил Михайла Иваныч старуху и стал жить один. И вот тут-то понял он и оценил то, чего при жизни жены не замечал, а значит, не понимал и ни в грош не ставил.

Понял он, что всю жизнь она положила на то, чтобы ему было хорошо и удобно, чтобы голодным из-за стола не вылезал, чтобы бельишко было вовремя постирано и сменено, пол вымыт и подметен и даже гирька часовая подтянута.

Вот остался он один и в первую же ночь проснулся от нехорошей тишины: никто не вздыхал рядом, никто не похрапывал, и маятник молчал. Старик зажег спичку и увидел, что гирька опустилась до самой диванной спинки и уперлась в нее. Часы показывали половину одиннадцатого, а сколько было на самом деле — бог его знает. Михайла Иваныч подтянул гирю, покурил, лег, но так уже и не мог заснуть, все думал.

Думал он как-то нескладно, мысли, что черви, ползали во все стороны, норовили в землю зарыться, одни хвостики мелькали. Вспомнил про дочь, которая жила во Владивостоке, это шут его знает где, десять, что ли, суток езды. И хоть послал он ей телеграмму, а ждать, видно, нечего — не приедет: билет чуть не тысячу рублей в один конец. Вспомнил старуху свою, как она еще молодой была и как он с ней тогда нехорошо поступал, а один раз даже ударил. И все из-за пустяков, конечно, или спьяну. Он тогда часто под мухой домой приходил со службы. А служил он почти всю свою жизнь на вокзале в Горелом, ходил туда за семь верст. И как-то так получилось, что с молодых лет отбился он от крестьянства, на тяжелой работе хребет не ломал, а все больше норовил туда, где полегче.

На вокзале служба была легкая и веселая: платформу подмести, воды в бак натаскать или войти в зал ожидания и закричать (тогда еще радио не было) не своим голосом:

— Поезд Москва—Ростов прибывает на первый путь!

В войну от вокзала остались одни головешки, подметать оказалось нечего. Тогда Михайла Иваныч прибился к селу и, поскольку он был грамотен, а народ весь находился на фронте, — поступил на должность сельсоветского секретаря. В этой должности он пробыл до сорок седьмого года, а потом вышел на пенсию.

Однако ему, как человеку, привыкшему всю жизнь выполнять пускай легкую, но все ж таки работу, без дела ходить показалось скучно. Тут как раз подвернулась работенка — глядеть за речным порядком. Ему выдали челночок, и он стал промерять глубину речки и ставить на своем участке сигнальные вешки с вениками — хвостами вверх и хвостами вниз.

Кроме того, директор расположенной возле села Ракитина опытно-селекционной станции поручил Михайле Иванычу для чего-то ежедневно записывать температуру воды и воздуха и посулился платить за это восемьдесят рублей в месяц. Конечно, Михайла Иваныч согласился с великой охотой, получил казенный градусник и стал усердно мерить температуру.

Какое-то время пребывал он как бы научным сотрудником, а это ему очень льстило. Но вскоре директора сняли, а новый температуру мерить не пожелал и сократил Михайла Иванычеву должность. Однако про градусник, наверно, забыли, он остался у старика, и тот (хоть ему за это уже ничего не платили) продолжал каждый день аккуратно мерить и записывать температуру.

Так, перебирая в неприязненной ночной тишине разные события своей жизни, Михайла Иваныч курил одну за одной махорочные елецкие сигаретки и плевал на пол, чего так не любила покойница и единственно против чего решительно восставала.

«Э, что там! — плюя, подумал Михайла Иваныч.—Теперь все равно, на что мне чистота!»

3.

Но ведь всякая болячка заживает, а горе, конечно, забывается. Помаленьку и Михайла Иваныч стал забывать свою старуху, наловчился управляться с козой, сам варил себе похлебку, сам стирал штаны и рубахи, словом, вошел, как говорят, в колею.

Все было бы ничего, но одно одолевало старика — вошь. Как будто и мылся, и белье менял каждую субботу, а ей, проклятой, конца-краю не было.

Гоняя в стадо козу, Михайла Иваныч встречался с сельскими бабами, точил с ними лясы и как-то пожаловался на свою беду. Бабы сказали, что это от тоски, что надо тоску унять. И Михайла Иваныч подумал, что, верно,

тоскливая стала его жизнь, одна суета, а интересу нет. И вот он надумал заняться чтением.

Он пошел в библиотеку и попросил книжку.

— Вам, дедушка, про что? — спросила его толстуха Нюська, библиотекарша.— Про жизнь или из фантазии?

— Давай из фантазии, — сказал Михайла Иваныч,— жизнь я, дочка, всю превзошел наскрозь...

С этого дня стало у него выгорать керосину ужас сколько. Не замечая, как летит время, засиживался он далеко за полночь и, бывало, даже засыпал над книжкой. Вместе с инженером Лосем побывал он на Марсе, с профессором Челленджером блуждал по диковинному допотопному миру, читая про человека-амфибию, возмущался подлостью капиталистических дельцов. И правильно ли говорили бабы, или получилось простое совпадение, только вошь у него пропала.

Так незаметно прошла зима с ее морозами и метелями, засверкала февральская капель, прошумело половодье, и в нежных розовых рассветах, в цветах черемухи, в звонких птичьих хорах пришла всю жизнь и для всякого возраста радостная весна.

Михайле Иванычу день стал короток: началась навигация, надо было неусыпно следить за фарватером. С утра до ночи мотался старик по реке, ставя и переставляя сигнальные вешки и бакены, нащупывая точный путь для свежевыкрашенных, нарядных пассажирских катеров и быстроходных моторных лодок.

Он попробовал в заливных местах поставить вентеря, и улов превзошел ожидания: караси, лещи и даже сомята лезли в его нехитрую снасть в таком количестве, что рыбу девать стало некуда. Он приладился продавать ее в чайную, и таким образом к его пенсии прибавился еще заработок от рыбы. Дела пошли отлично, он купил себе новые сапоги, брезентовый плащ, починил крышу на избе и так ублаготворился жизнью, что окончательно позабыл свою старуху. И мало того, что позабыл, но в голове его даже стала время от времени мелькать одна тайная и довольно чепуховая мыслишка.

Эта мыслишка пришла вдруг, как-то нечаянно, сама по себе. Михайла Иваныч ни с кем не поделился ею, он даже старался прогнать ее, заглушить и, верно, заглушил бы, если б не неожиданно приехавшая из Владивостока дочь.

Ее звали Олимпиадой. Это была очень энергичная и крикливая женщина. Она постоянно лезла не в свое дело, вечно кого-нибудь сватала или, наоборот, разводила и, хоть никто ее об этом не просил, любила давать всевозможные советы и наставления.

Олимпиаде перевалило уже за тридцать. Ее муж, моряк торгового флота, по целым месяцам находился в отлучке, детей у них не было, работать она, очевидно, не хотела и вот с безделья-то, получая от мужа хорошие деньги, сидела и выдумывала разную ерунду.

Она нагрянула вскоре после майских праздников, как снег на голову, и, не успев еще как следует оглядеться, сразу же приступила к своим пустым и ненужным хлопотам.

— Фу, какой у вас тут воздух тяжелый! — сморщив нос, сказала она. — Вы тут, папа, ужас какую грязь развели... Полюбуйтесь — в зеркало поглядеться нельзя, мухи засидели! Тут прибирать и прибирать!

Но за приборку не принялась, все осталось по-прежнему.

Старик не видел дочь около десяти лет, с тех пор как она укатила со своим моряком во Владивосток. Сейчас он глядел на нее и не понимал — рад он ей или нет, нравится она ему или не нравится. Что же до зеркальца, то оно было ему совершенно не нужно, он и в молодые-то годы сроду в него не гляделся, и мухи, верно, его засидели. Но то, что дочь не поплакала, не сходила на материну могилку, а сразу стала прихорашиваться перед зеркалом, ему пришлось не по душе. «Свистушка Липка, — презрительно подумал он о ней, — про покойницу и не вспомнила, чисто не мать померла, а корова сдохла... Ишь, губы-то накрашивает, трясогузка...»

А Олимпиада, точно угадав его мысли, вдруг обернулась и сказала:

— Это, конечно, жалко, что я маму не повидала, но что же сделать, сами знаете, ехать к вам сюда — не ближний край. Так что об этом и толковать нечего, дело прошлое. Как говорится, мертвым — мертвое, а живым — живое. Вам, папа, об себе подумать надо.

— Да что ж такое мне об себе думать, — удивился Михайла Иваныч. — Мне об себе думать нечего.

— Жениться вам надо, — вздохнула Олимпиада, — а то вы без женщины совсем запсеете. Вас тараканы съедят.

Старик смущенно засмеялся. Дочь нечаянно попала в точку: то смутное и тайное, что все чаще и чаще в последнее время мелькало в его голове, и была именно мысль о женитьбе.

4.

Вскоре все село знало, что Михайла Иваныч задумал жениться. И многие женщины, у которых время было в избытке, стали принимать живейшее участие в этой затее. Больше же всех суетилась и хлопотала, конечно, Олимпиада.

Чуть ли не каждый день в Михайла Иванычевой избе стали появляться знакомые и незнакомые гражданки. Они приходили будто бы невзначай — попить водицы или с просьбой перевезти через речку. Слово за словом завязывался разговор, сводившийся к одному: без бабы изба кривая, старушке, разумеется, царство небесное, а Михайла Иваныч еще мужчина хоть куда, — так за чем же дело стало?

И одни говорили туманно, притчами да поговорками, а другие прямо и откровенно предлагали себя в жены. Михайле Иванычу, конечно, было ясно, что все эти невесты интересуются не столько им самим, сколько его избой и пенсией. И хотя для своих семидесяти двух лет Михайла Иваныч был еще довольно свежим и бодрым человеком, он понимал, что жить ему осталось не так уж много, что бодрости его скоро наступит конец и придет дряхлая, беспомощная старость. На этот-то случай ему и требовалась жена, но, разумеется, не жена-любовница, а жена-нянька.

Так разумно рассуждал старик до тех пор, пока невесты не хлынули потоком. Когда же он увидел, как много всевозможных женщин (из которых иные были довольно еще молоды) желают сделаться его женами, то стал не только примериваться к их, так сказать, деловым качествам, но и поглядывать на наружность: на чистоту, приятность лица и на упитанность.

Безусловно, это было заблуждение, и в нем прежде всего была виновата Олимпиада.

— Вы, папа, — трещала она, — еще очень и очень видный мужчина, за вас всякая пойдет. Какой же вам, позвольте спросить, интерес навязывать себе на шею какую-то жлобиху кособокую, когда дело у нас с вами не к спеху

и вы можете выбрать себе если не первой молодости, то во всяком случае по вкусу...

Михайле Иванычу хотелось поначалу плюнуть на подобные разговорчики, крикнуть: «Замолчи, дура!» — но мало-помалу он к ним привык, его точно затуманило, и он во всем соглашался со своей недалекой дочерью.

При всей своей глупости и легкомыслии Олимпиада была очень опытна в разных пустяковых делах, и тут от ее глаза ничто не скрывалось. Например, она уличила одну из невест, пожилую, благообразную женщину, которая очень хорошо беседовала со стариком, в суждениях своих показывала ум и доброту, но почему-то, несмотря на июльскую жару, все кутала шею в черный шерстяной платок.

Олимпиада подсела к ней и до тех пор, притворяясь выпившей (такие смотрины без пол-литра не обходились), ластилась и обнимала невесту, пока не нащупала у ней под платком зоб. И хотя женщина эта пришлась по душе Михайле Иванычу своей кротостью и разумными речами, Олимпиада настояла на том, чтобы отец ее отверг.

Беспокойная и вздорная Липка прожила у отца до самой осени, и все лето у старика прошло в смотринах. Михайла Иваныч даже несколько ошалел от этого бестолкового занятия. Он дошел до того, что иной раз забывал измерить температуру воды и воздуха. Вешки же по рассеянности ставил не там, где надо, из-за чего однажды переполненный отдыхающими пассажирами катер сел на мель и водитель долго ругал старика всякими нехорошими словами.

Но вот, наконец, в начале октября, когда небо сделалось по-осеннему бледным, а речные травы, увядая, легли на дно, Олимпиада остановила свой выбор на одной, жившей в селе Горелом, женщине, сказала свое веское слово, и старик покорно согласился.

5.

Свадьбу играли на октябрьские праздники. Особенного, так сказать, из ряда вон выходящего, ничего не было, однако все справили не хуже, чем у людей: пили, кричали «горько!», разбили четыре стопочки и две чашки и пели песню:

Деньги — дело нажитое,
О них нечего тужить,
А любовь — дело другое,
Ею надо дорожить!

Вскоре после свадьбы Олимпиада подалась в свой дальний Владивосток, а Михайла Иваныч начал свою беспокойную, полную всяких непредвиденных событий жизнь.

Его новую подругу звали Дарьей Степановной. Она была одинока. С ее стороны на свадьбе гулял только один пожилой долговязый мужчина, которого она представила как своего родственника, но почему-то называла батюшкой. Гаврила Тихоныч (так звали долговязого) бодро хлопал стопку за стопкой, всякий раз, выпив, жмурился, точно кот, качал головой и приговаривал:

— Ох, братья! Винцо — мудрецо, благодать божия...

Сама же молодая не пила, а только пригубливала из стакана и так, молча и безразлично, просидела за столом весь вечер.

— Ну, ты, дед, и бабу отхватил! — посмеивались захмелевшие гости. — Краля! Право-слово — краля!

Рослая, полная, с очень белыми руками и таким же мучнисто-белым лицом, она, несмотря на свои сорок семь лет, была бы недурна, если б не какое-то сонное выражение узких, черных, слегка припухших глаз. Такое выражение бывает у только что разбуженных людей, когда глаза уже открылись, а разум еще спит.

Черное, наглухо застегнутое платье делало ее похожей на монашку, и сходство это еще больше усиливалось от ее манеры разговаривать, то и дело крестясь и вздыхая, преувеличенно скромно потупляя глаза.

Став полноправной хозяйкой, Дарья Степановна первым делом принялась наводить в избе порядок. Она отчистила от мушиных следов то самое зеркало, которым так возмущалась Олимпиада. Затем вымыла и протерла луком циферблат стареньких часов-ходиков, где, к удивлению Михайлы Иваныча, оказалась картинка «Кутузов в Филях». Управившись с этим, Дарья Степановна вынула из своего сундучка яркую, вероятно трофейную, немецкую литографию. На ней изображались идущие по ветхому мостику розовые, причесанные и завитые мальчик и девочка, а над ними, как бы оберегая их, парил такой же розовый, с такой же отличной перманентной завивкой ангел-хранитель. Мелкими сапожными гвоздиками Дарья

Степановна прибила литографию к стене возле зеркала и на этом закончила свои домашние хлопоты.

Михайла Иваныч никогда не вникал в хозяйственные и житейские дела по дому. Он порадовался на часовой циферблат, но так и не заметил, что наросшие за год клочья паутины остались висеть во всех углах избы. Да, пожалуй, если бы даже и заметил, так не обратил бы на это особого внимания: что ж такое,— паутина, подумаешь, беда какая! Старика неприятно поразило другое.

Утром, после свадебного пира, когда пришла пора гнать в стадо козу, выяснилось, что Дарья Степановна не умеет доить.

— Да как же так? — растерялся Михайла Иваныч. — Баба, а доить не можешь?

Дарья поглядела на него своими сонными черными глазами.

— А меня,— равнодушно сказала она,— к этому занятию батенька-покойник, царство им небесное, не приучали... Они желали отдать меня в гимназию, но тут случилась революция, и они вскорости померли, а гимназии позакрывались.

«Вот так номер!» — подумал ошеломленный Михайла Иваныч и, ни слова не говоря, пошел сам доить козу.

Выйдя во двор, он не сразу принялся за дело, а сел на дровосеку и закурил свою любимую елецкую сигаретку. Ответ жены озадачил его.

«В гимназию!— соображал он.— Да из каких же она будет?»

И тут только понял он, как затуманила его Олимпиада своей глупой болтовней, что ему при первой встрече с Дарьей за всякими пустяками и в голову не пришло поговорить о деле и разузнать хорошенько — кто она, какого поля ягода и годится ли ему в помощницы.

Пока он этак покуривал да рассуждал, а потом доил козу, пастух, конечно, не стал дожидаться и погнал стадо. Так что Михайле Иванычу пришлось его догонять. И когда он шел с козой, то по дороге ему встречались бабы и, откровенно насмехаясь, почти все задавали один и тот же вопрос:

— Что ж, молодая-то, спит, что ли, со вчерашнего?

«Ладно,— с досадой думал Михайла Иваныч,— вам, сорокам, только дела зубы скалить! Ну, не может доить и не может, эка, прости господи, беда какая! Научится...»

6.

Но Дарья Степановна не научилась. Да она и не желала научиться и совершенно откровенно презирала всю ту нехитрую хозяйственную работу, на которой держалось Михайла Иванычево, а теперь, следовательно, и ее благополучие.

Приближалась зима, приходилось, ничего не поделаешь, подумать о топке. Кругом был лес, а нарубить сушняку — дело пустячное. Раньше Михайла Иваныч со своей старухой в какую-нибудь неделю управлялись с этим: еще затемно утречком отправлялись они на лодке километра за два вверх по реке, к дремучему Чертову логу, рубили в два топора и, нагрузив на челнок мало что не воз дров, к обеду возвращались домой.

С Дарьей же Степановной этак ловко не получилось: во-первых, оказалось, что она в жизни не держала топора, а во-вторых, смерть как боялась воды и на лодке ехать решительно отказалась. Михайла Иваныч нахмурился, почесал затылок, но сказать ничего не сказал и поехал один.

Ну, само собой, две руки не то что четыре,— вернулся он к вечеру только. Подогнав лодку к причалу, недовольно покрутил головой. «Могла бы, мол, встренуть, краля!— раздраженно подумал Михайла Иваныч.— Что-что, а уж тут-то хоть подсобить могла бы...»

Он нарочно долго возился, привязывая лодку, все ожидая, что Дарья наконец разглядит его в окошко и выбежит встретить и помочь. Но она не показывалась.

— Дашонка! — позвал он ее. — Дарья Степановна!

Никто не отозвался ему. Он сердито плюнул, кое-как пошвырял с лодки дрова и, тяжело волоча весло, пошел к избе. На двери висел замок. «Может, на огороде чем занялась?»— мелькнула слабая догадка, и Михайла Иваныч пошел на огород. Там было пусто и по-осеннему печально. Рыжая, уже тронутая морозом картофельная ботва валялась как попало, точно кто ее, озорничая, раскидал; на красной вишневой заре черным частоколом торчали нелепые палки обезглавленных подсолнухов, среди которых одиноко бродила недоенная коза. «Женился, старый дурак!— шепотом выругался Михайла Иваныч.— Спасибо чертовой Липке!»

Дверь, выходящая из избы на огород, оказалась незапертой. Михайла Иваныч загнал козу, подоил ее и вошел

в избу. Голод одолевал его: он как на грех позабыл утром захватить с собой в лес хлеба и теперь первым делом кинулся к печке. Печь была холодна и пуста. Михайла Иваныч стал шарить по полкам, но и там, кроме старой заплесневелой корки, не нашел ничего. «Женился!» — снова горько усмехнулся старик и снова чертыхнул Олимпиаду.

Однако голод не унимался, и надо было что-то предпринимать. «Схожу в чайную,— решил Михайла Иваныч,— может, там какого супчику похлебаю...» И он полез в потайную печурку, где, завернутые в синий с белыми горошинами платочек, хранились его деньги, рублей четыреста с небольшим. Но ни платочка, ни денег в печурке не оказалось. Тогда он вспомнил, что намедни показывал Дарье свою похоронку, а она еще этак как-то безразлично сказала ему, что тут деньги держать нехорошо, что надо бы их переложить в сундук. Как ни был раздражен Михайла Иваныч, а сейчас даже порадовался про себя и похвалил Дарью: все-таки заботится баба, вот, пожалуйста, деньги прибрала к месту... Но радость его была кратковременной: на сундуке висел замок, а ключ, конечно, Дарья припрятала.

— Ах, нечистый дух! — с досадой крякнул Михайла Иваныч.— И где только ее, дьяволицу, носит! Ну, что теперь делать?

И он решился было идти в село, попросить у кого-нибудь взаймы хоть хлеба, что ли, но в это время на дворе послышались голоса, скрипнула дверь и в избу вошла Дарья. Михайла Иваныч хотел в сердцах обругать свою нерадивую супругу, но осекся, разглядев вдруг, что Дарья была не одна: из-за ее спины выглядывала длинная и нескладная фигура ее родственника Гаврилы Тихоныча.

— Здравствуй, здравствуй, брат,— выступая вперед, весело, сладко сказал Гаврила.— Вижу и догадываюсь: серчаешь... И прямо скажу, пожурил я Дашу: мало, говорю, об муже печешься! Но, брат! — вдруг восторженно как-то воскликнул он.— Снизойди же и ты до нее! Ибо не куда-нибудь ходила она, а божье дело,— слышишь, брат? — божье дело справляла!

Михайла Иваныч растерялся. Уже недели две прошло после свадьбы, он был уверен, что Гаврила уехал тогда же... а он — вот он!

— Да ты откуда взялся-то? — не очень ловко, но зато прямо спросил Михайла Иваныч.

— Ах, брат! — всплеснув руками, тоненьким смехом закатился Гаврила.— Ах, брат, как расчудесно вижу я сейчас душу твою! И много вижу я в ней цветов райских, и множество чую благоухания... Ты, брат, не злой... нет, ты далеко не злой человек, но... к чему ж такие твои мысли?

— Какие мысли? — оторопел Михайла Иваныч.

— А, допустим, такие: какой, мол, шут принес этого Гаврилу? Я, дескать, уморился, весь день хрип гнул, пришел ко двору — куска нету проглотить, жена где-то смылась, а тут еще и гость! Ну, что, брат, скажи — не прав я? Не прав?

Михайла Иваныч совсем стал в тупик. Ему даже и есть расхотелось, так неожиданно было появление Гаврилы и его речи. Он вопросительно поглядел на жену. Та сидела на краешке диванчика, скромно потупившись и сложа белые руки на коленях, точно в гости пришла.

— Ан и вышло, что прав! — снова закатился Гаврила.— Ну и ладно, и на этом покончим. А сейчас, брат дорогой, пущай у нас будет беседа и мир на всей земле, а в человецех благоволение!

С этими словами он обнял Михайлу Иваныча и трижды, со щеки на щеку, расцеловался с ним.

— Ну-ка, давай, давай, Даша,— ласково, точно к малому ребенку, затем обратился он к Дарье,— давай, сестричка, что у нас там с тобой припасено...

Дарья послушно достала из-под платка и развернула газетный сверток, в котором оказались бутылка «столичной», колбаса, две коробки бычков и снизка сдобных бубликов.

— Вот это — мое почтение! — захохотал Михайла Иваныч.— Ай да Дарья Степановна! Ну-ка, каждый бы день так-то, по мне в таком разе хоть и вовсе печь не топи, ну ее к шутам! Фактически!

— Тебе, брат, господь не жену — сокровище послал,— усаживаясь за стол, строго сказал Гаврила,— и ты этого не моги забывать, чувствуй...

После второй рюмки усталый и голодный Михайла Иваныч захмелел. Все то домашнее неустройство, что полчаса назад так возмущало его, показалось теперь такой мелочью, таким пустяком, о котором и вспоминать-то было смешно. С нескрываемым восхищением глядел он на молчаливую Дарью: значит, позаботилась она об нем, что

этакую закуску припасла! Да и Гаврила-то, на поверку выходит, гвоздь малый... Не иначе как он Дарью-то настрополил на угощение... Ах, пропасть, хороша, сладка «столичная», прямо-таки дух захватывает!

И старик, выпивая очередную стопочку, вежливо благодарил, говорил «будем здоровы», крякал, закусывал и с удовольствием слушал Гаврилины речи.

— Ропщешь! — умильно, склонив голову на бочок, не говорил — пел Гаврила. — Ропщешь, брат милый, что в трудах твоих не помощница тебе Даша? Нет, ты молчи, не воспоряй! — прикрикнул он.— Знаю, ропщешь! Коза, дескать, и так и дале, по хозяйству... Ах, брат, брат! Да ведь не единым же — слышишь? — не единым хлебом человек-то живет! Задам я тебе вопрос, учти, становой вопрос, наиглавнейший: что первее всего в жизни сей? Ну-ка, ну-ка, ответь! Ответь!

Михайле Иванычу было приятно, что в такой умный, в такой возвышенный даже разговор втягивает его Гаврила. Он всегда за выпивкой любил этакие туманные, «умственные», как он выражался, беседы. Но обычно он слушал больше, поддакивал, кивал головой или сокрушенно вздыхал, а тут — с ножом к горлу: ответь!

— Так ведь я что ж, — робея, сказал Михайла Иваныч,— прямо-таки сказать — темнота... Ежели, конечно, по науке...

— Ага, по науке! — воскликнул Гаврила. — Нет, ты мне без науки ответь: что человеку первее всего — его ли, человеческое, или еще что?

— Да уж, разумеется, человеческое,— простодушно сказал Михайла Иваныч.

— А божье? — вскочил Гаврила.— Божье-то как же?

— Насчет божьего я, Гаврила Тихоныч, фактически не спец,— улыбнулся Михайла Иваныч.— Смолоду, знаешь, откачнуло. Мне один проезжий человек про бога объяснил... Я, брат, о боге-то и думать позабыл, еж те в корень!

— Ай-яй-яй! — покачал головой Гаврила.

— Знаешь, и в мыслях как-то не было,— продолжал старик, — бог, мол, или что, какая там в шутах лихорадка... химия, предположим, кислород разный...

— Кислород! — всплеснул руками Гаврила.

— Да нет, ты погоди, чего скажу-то... Это я, бывало, так-то: кислород да кислород! А как к старости пришло,

веришь ли, нет ли, иным часом стукнет да и стукнет в мыслю: а ну как там что есть?

— Ага! — торжествующе сказал Гаврила. — Не вовсе, выходит, закостенел!

— Господи! — охнула Дарья. — Да просвети ж ты раба своего! Батюшка! — с какой-то даже мольбой потянулась она к Гавриле. — Уж скажи ж ты ему словечушко свое золотое!

Но Гаврилу нечего было просить — его точно прорвало: он говорил, говорил, пел даже, сложив ладошки, устремлял в потолок свои бисерные глазки и опять говорил, говорил...

Но уже не все доходило до сознания Михайлы Иваныча, кое-что из Гаврилиных разговоров иной раз уплывало, дребезжа, куда-то вдаль, а потом вдруг приближалось и даже как-то ненатурально громко и явственно звучало в ушах.

— Свет! — восклицал Гаврила. — Свет, брат милый, принесла тебе Даша! Ведь ты что? Ты досе во тьме блукал, какие твои были интересы? Козу подоить, вентеришки проверить да вешки понатыкать на речке. А теперчи? Теперчи свет озарил твою хижину... и кто все это содеял? Все она, все Даша, сестра наша милая, любимая! Глянь, глянь на нее, видишь — над головкой-то над маковочкой-то самой? Видишь?

— А чего над маковкой? — плохо ворочая языком, сонно спросил Михайла Иваныч. — Ни шута нету там, над маковкой...

— Слепец! Слепец! — всплеснул руками Гаврила. — Да как же не видишь? Брат милый, бесы тебе глаза замазали... Неужто ж венчика-то святого не видишь? Ах, как же сияет он нынче, Даша, у тебя! Как дивно сияет! Сестрица ты моя любимая!

И Гаврила, взвизгнув от восторга, подскочил на лавке. Михайла Иваныч снова глянул на Дарью и обомлел: ему показалось, что над ее головой, точно, призрачным маревом дрожит сияние... Но тут хмель взял свое, и старик, опустив голову на стол, задремал.

7.

Проснулся Михайла Иваныч в темноте, но не на печке, где он спал обычно, а на деревянной, покрытой лоскутовым одеялом кровати. Жажда томила его, язык одере-

венел, распух. В голове стучали пудовые кувалды. «Вроде бы и выпил немного, а вот поди ж ты...» — вяло подумал он и слабым голосом позвал жену. Та не отозвалась. Он ощупал кровать — на кровати ее не было. Кряхтя и сплевывая, поднялся старик и тут только заметил, что спал не раздевшись. «Да как же я лег? Что-то и не вспомню... Вот вдарила, проклятая, в голову!»

Вода в ведре была теплая, пахла селедкой. Михайла Иваныч зажег спичку, огляделся. Дарьи ни на печке, ни на диванчике не оказалось.

Михайла Иваныч закурил, задумался. Вспомнил странные, восторженные речи Гаврилы, Дарьину улыбку, венчик над головой... «Что ж она, святая, что ли? — с усмешкой спросил он сам себя. — Но опять-таки, где ж это она таскается по ночам?» «Свет принесла! — припомнились ему слова Гаврилы. — Чудеса!» Все было мудрено очень, непонятно.

Этак, покуривая да поплевывая, лежал старик, слушал, как тикают ходики, как в сенцах спросонок коза стучит копытцем, ворочается. Ветер поднялся, засвистел жалобно в трубе, нагнал сон. И только, запутавшись в мыслях своих, стал было Михайла Иваныч задремывать, как острая догадка обожгла его безжалостно: а не обманывают ли?

Всю жизнь он был доверчив к людям, сколько раз доверчивость эта под шишки его подводила, сколько прямых убытков терпел из-за нее! В самом деле, взять хоть того же Гаврилу: кто он такой, Гаврила этот? На лбу у него, что ли, написано, что родственник он Дарье? А ну как не родственник? Ну как — полюбовник?

Мысль эта больно резанула Михайлу Иваныча, он привскочил даже на скрипучей кровати. Догадка все ярче разгоралась в затуманенной его голове, а услужливая память подсовывала одно сомнительней и пакостней другого... Тогда на свадьбе, например, Гавриле жарко сделалось в избе, пошел он проветриться в сенцы, а Дашонка — следом за ним! Тотчас, как гости разошлись, стал Гаврила собираться восвояси, а она все удерживала его. Он же, прощаясь, очень уж усердно, раз до пяти, целовал ее... вроде бы по-братски, да чума его знает — по-братски ли? А потом, как легла она на кровать, а он, Михайла Иваныч то есть, задув лампу, хотел было присоседиться под бочок к ней (муж ведь, не кто-нибудь!), что она тогда

сказала, как повела себя? «Бросьте,— сказала,— Михайла Иваныч, глупости, не молоденькие, можно и без этого обойтись, ну вас совсем!» И решительно отвергла его заигрыванье, и как он с той ночи определился спать на печке, а она на кровати, врозь, так и пошел этот порядок по сей день. Да, наконец, нынче-то? Как это он давеча сказал? «Давай-ка, говорит, что там у нас — у н а с! — припасено!» А дальше что получилось? Напоили и смылись, и вот, пожалуйста, он тут лежит один-одинешенек, напиться подать некому, а она? Венчик, вишь, у ней над маковкой! Где она ночью таскается?

Какое-то новое, незнакомое, ни разу не испытанное чувство завозилось в груди Михайлы Иваныча. Как гадюка вползло оно, трепещущее жало ревности вонзило в сердце... Но так и не познал Михайла Иваныч всей боли этого чувства, потому что новая мысль заглушила его, выдернула змеиное жало и поставила перед бедным обманутым мужем новый вопрос: а для чего, позвольте спросить, с какой целью это они делают? И ответ явился прямой и единственный: чтобы обобрать! Воспользоваться его доверчивостью, отнять избу, пенсию, одним словом, в дураках оставить! Что ж, он, пожалуй, и сам виноват, сам дал намек: на свадебном обеде посулился избу на Дарью отписать, сам посулился, никто его за язык не тянул... Ну вот тебе и пожалуйста!

Обидно стало Михайле Иванычу в ночной, одинокой темноте. С нежностью и любовью вспомнил он покойницу Клашу, всю преданность ее, всю безответность... Жалко сделалось старику и ее, а еще больше — себя, слезы навернулись, он всхлипнул да так с мокрыми глазами и заснул.

8.

Дарья пришла утром, когда Михайла Иваныч, управившись с козой, сидел в неподметенной избе и, собираясь завтракать, размачивал в молоке вчерашние бублики. Сердито, искоса глянув на жену, он молча продолжал крошить в чашку бублик. Однако даже мельком успел он разглядеть ту удивительную перемену, которая за ночь произошла с Дарьей: никогда не улыбавшаяся Дарья улыбалась. Улыбка эта у нее, правда, была какая-то чудная — точно она глядела сквозь Михайлу Иваныча и

что-то видела там, за ним, и тому, что она видела, улыбалась. Михайла Иваныч оглянулся даже: чему это она? Но нет, ничего за ним, кроме обтертой до лоска спинки деревянного дивана, не было.

— Не серчай, Миша,— тихим, чуть вздрагивающим голосом сказала Дарья,— радость у меня нынче великая...

Она в первый раз назвала его по имени, как близкого человека, как родного. Но то, что она назвала его так, не только не растрогало и не умилило старика, а, наоборот, заставило сразу насторожиться. Все передуманное ночью, тесня одно другим, вдруг разом поднялось в груди, подозрения и догадки столпились неотвязной мошкарой, а пуще всего — дрянная мысль: не обобрать ли хотят?

— Ладно, — угрюмо сказал Михайла Иваныч, — так не так, перетакивать не будем... Я там вчерась дровишки на берегу кинул, пошла бы перетаскала. С этим-то, мол, хоть небось справишься, — помолчав, не глядя на жену, раздраженно добавил он.

Улыбка сошла с Дарьиных губ. Долгим взглядом поглядела она на Михайлу Иваныча, вздохнула и вышла.

«Ишь ты, радость у нее! — нехорошо усмехнулся старик. — Чему-то радоваться нашла!»

Сердито сопя, похлебал он молочную тюрю, встал, «благодарю тебя, господи» сказал, рыгнув, покрестившись на черные образа, и выглянул в окошко,— как, мол, там барыня управляется...

И не сразу разглядел ее, пошарил глазами по берегу, пока отыскал, а отыскавши, плюнул с досадой: Дарья преспокойно сидела на куче дров и мечтательно глядела куда-то за речку.

Молча подошел к ней Михайла Иваныч, молча присел на кривое, узловатое бревнышко. Дарья, похоже, не заметила его. Он вызывающе покашлял. Дарья мельком, как на пустое место, глянула на мужа и снова воззрилась в заречье. Так сколько-то времени сидели они, молчали. Наконец Михайла Иваныч не выдержал, встал, поплевал на руки и, решительно ухватив кривое бревно, поволок его ко двору. Пройдя с полдороги, он обернулся. Дарья сидела не шевелясь. Старик выругался и потащился дальше. Он сделал один конец, другой, а Дарья все сидела. Зло его взяло, и уже безо всякой осторожности, совсем даже бесцеремонно выдернул он из-под Дарьи

бревно, на котором та сидела. Тихонько охнув, вскочила она и с непритворным испугом поглядела на старика.

— Расселась! — нисколько не скрывая своего раздражения, буркнул Михайла Иваныч. — Совесть-то в тебе, чертова труперда, есть ай нету? Вот, прости, господи, мое согрешение,— чуть ли не со слезами в голосе заорал он,— навязалась на мою шею, блажная! Ну кто ты есть! Нет, ты ответь мне за ради бога, кто ты такая есть?

И вдруг Дарья заплакала и, сложив на груди ладошками вместе руки, упала на колени.

— Миша! — всхлипнула она.— Убей! Убей меня, Миша!

Весь боевой, петушиный пыл враз улетучился у старика, точно его и не бывало.

— Да ты что? — испуганно и воровато оглядываясь, залепетал он. — Встань! Встань, говорю! Не дай бог увидит кто... срамота!

Михайла Иваныч схватил Дарью под мышки, приподнял, поставил на ноги и заботливо отряхнул прилипшие к черному платью песок и мелкие раздавленные ракушки. Усадив ее снова на дрова, он еще раз тревожно огляделся по сторонам: не видел ли кто? Но нет, никого не было на реке, пустынный песчаный берег лениво полизывала холодная, синеватая, сверкающая на солнце ослепительными кружочками вода.

— Что ты? Что ты? — растерянно приговаривал Михайла Иваныч.— Да что ж я тебе враг, что ли? Экая глупая, фактически глупая! Ну чего это ты, а? Чего?

— Ах, Миша! — прошептала Дарья. — Если б знал ты, голубь мой, радость какая была у меня вот здесь,— она показала на грудь, — какая радость! Какая благодать посетила меня... а ты вдруг так... Нет! Лучше уж убей меня! Убей!

— Так ты скажи! — крикнул Михайла Иваныч.— Ты расскажи мне, а то все в молчанку да в молчанку! Я-то что ж, по-твоему, пенек осиновый, что ли? У меня, брат, даже и мысли всякие пошли... по ночам ходишь где-то, и опять-таки Гаврила этот... Ведь на кого ни доведись, за сердце возьмет!

— Ах, милый ты мой! — вдруг тихо засмеялась Дарья. — Братик ты мой желанненький! — Нежно обняв старика за шею, она притянула его к себе. — Вот, Миша, и кончилась ночь твоя, рассвет над тобой показался... Ви-

дишь? Ой, нет, все еще, верно, бесы у тебя в глазах лапками щекотят... А мы их прогоним... прогоним!— взвизгнула Дарья. — Только, братик, успокой ты меня! Вот сюда... вот сюда губками приложись...

Она торопливо расстегнула две пуговки на вороте своего монашеского платья — чуть пониже горла.

— Вот сюда, к душке моей приложись! Вот... Ты, Миша, братик мой, не меня, не плоть мою... ты душку мою целуешь...

«Да что она, очумела, что ли?» — совсем сбитый с толку подумал Михайла Иваныч. И в растерянности чмокнул Дарьину «душку».

— Ну вот, ну вот... — закрыв глаза и счастливо улыбаясь, прерывисто вздохнула Дарья. — Вот теперь и соединил нас господь... И архангел его, Гавриил, радуется... Он и поклон наказал тебе передать и братское лобызание... Вот ты приложился к душке-то к моей, а он-то, Гаврила-то наш любезный, он-то возвеселился!

«Ну,— махнул рукой Михайла Иваныч,— нето я ума решился, нето подсунула-таки мне Липка полоумную бабу...»

— Это какой же архангел? — осторожно спросил он.

— Ах ты, слепенький, слепенький! — покачала головой Дарья.— А вспомни-ка, братик, с кем ты вчерась вечерок-то провел? Кто тебя посетил?

— Ну, известно кто, Гаврилу Тихоныча ты привела, помню... Так он-то тут при чем, скажи на милость?

— У-у, вы, окаянные! — глядя куда-то поверх Михайла Иванычевой головы, Дарья захлопала в ладоши. — Кши! Кши! Вон они, бесы-то, из глаз твоих, чисто осиный рой, полетели! Кши! Вот я вас! — замахала она руками.— Прочь отсюдова, негодные! Прочь! Видишь, Миша, сколько их у тебя в глазах ютилось? Ух, сколько! Вот теперь я и разговорчива стану, как ты на меня чистыми, святыми глазками поглядишь... Ах, боже мой, да как же радостно мне!

Дарья вскочила и, мелко-мелко перебирая ногами, закружилась по берегу.

— Ты, Миша, слеп был, — тяжело переводя дыхание, внезапно остановилась она.— Ты был слепенький, бесы тебя одолели... и я тогда — помнишь? — я тогда воды боялась... А теперь — гляди! Я сейчас по воде, как Христос, пойду — и ничего! Ну-кась, господи благослови!

И она с пронзительным визгом стремительно кинулась в воду.

«Потопнет, дура! — ахнул Михайла Иваныч. — Ведь яма же...»

— Яма! — не своим голосом завопил он, опрометью кинулся за Дарьей, схватил ее за руки и, как она ни вырывалась, как ни отбивалась в каком-то исступленном припадке — даже розовая пена на губах у нее выступила.— все-таки осилил ее и, почти на руках, приволок в избу.

Когда положил он Дарью на еще не прибранную кровать, похоже было, что припадок утих, только бледные до синевы губы еще подергивались да дыханье сделалось нехорошо. прерывисто. Бледность же лица была так страшна, что Михайле Иванычу представилось: да уж не кончается ли? — и он, оробев, зачерпнул воды и вылил порядочный ковш на голову Дарье. И та, судорожно глотнув, открыла глаза, застонала и, отвернувшись к стене, беззвучно заплакала.

Михайла Иваныч, сообразив, что стон и плач ее не имеют особой причины, а как бы завершают болезненный припадок, не стал ни спрашивать ее, ни утешать. Да кроме того, он настолько был озадачен и потрясен всем случившимся, что ему самому не помешало бы слово разумного и внимательного утешения.

В самом деле, было от чего потеряться: за всю его долгую жизнь он ни разу не попадал в такое странное и сложное положение. Он, конечно, слыхал о припадочных, а раньше, еще в молодости, попав однажды в Воронеж на обнесение мощей угодника Митрофания, сам видел двух кликуш, с ужасом глядел, как бились и корчились они, слышал, какими звериными голосами кричали... Но это были чужие, и он — в стороне, это его нисколько не касалось, а ведь тут не кто-нибудь, а жена, и кто ее знает, случайный ли припадок или это с ней часто приключается...

Первая мысль мелькнула: сбегать за докторшей. Но показалось совестно перед людьми,— вот, скажут, женился, отхватил кралечку! Да к тому же как будто и успокоилась, мало-помалу и плач утих, дышать стала ровней и как бы заснула она. Однако Дарья не спала. С трудом приподнявшись, она села на кровати и, поглядев на старика, улыбнулась. Улыбка жалкая вышла, даже детская

какая-то, и Михайла Иваныч в эту минуту от всей души пожалел жену.

— Ну, как? — спросил он ласково. — Ничего, Даша? Полегчало?

— Ничего, — трудно выговаривая, ответила она, — прошло...

Вот и весь разговор получился у них, и долго они потом молчали, но значительно было то, что почти за две недели в первый раз вышло это у них без отчуждения, без задней мысли, хорошо, от сердца к сердцу, по-родственному.

И, наверно, потому, что все то, что Дарья говорила на реке и как она там поступала, показалось Михайле Иванычу необыкновенным и как бы выше его понимания,— чувство, смешанное из страха и уважения, зародилось в нем. «Ведь это что! Как Христос, по воде... И пошла!» И живо представились яркие взрывы брызг и Дарья, в ее порывистом движении, уже по пояс в синей ледяной воде... Конечно, очень неясными, прямо-таки полоумными были речи ее об архангеле, о бесах, но это сейчас оказывалось не главным. Главное — была хорошая душевная жалость к Дарье и то новое чувство, которое Михайла Иваныч ощутил в себе, — страх и уважение.

Между тем Дарья встала, медленно, тяжело передвигая ноги, подошла к столу, смахнула крошки, оставшиеся после завтрака мужа, и тихо, скромненько присела на диванчик.

— Прости меня, Миша,— очень как-то хорошо и задушевно сказала она,— верно, напугался ты... да не могла я от радости с собой совладать... Я ведь что давеча хотела-то, как пришла... я ведь все рассказать тебе хотела... да вишь ты, как получилось-то...

— Ну, чего поминать про это,— примирительно сказал Михайла Иваныч,— я ж ведь тоже не какой-нибудь баран бесчувственный... Только скажи ты мне, Дашонка, за ради бога, без утайки: про какую ты все радость поминаешь? Прямо я тебе скажу, непонятный мне этот факт!

— Про радость-то? — улыбнулась Дарья. — Ах ты, милый мой братик сердечный! Все тебе сей же час объясню, все как на карточках разложу перед тобой! Я ведь, Миша, сразу увидела, что ты отвернулся от меня, прямо как ночью еще тогда осерчал, что я тебя к себе не допустила. Да как же можно, милый, этак, чтоб ложе святым

духом освящено не было? Это — грех великий, незамолимый, радость бесам только, забава для них! А потом ты говоришь: козу доить, — а я не умею... Ах, боже мой, вот, миленький братик, что она, коза-то! Животная простая, а не хуже стены каменной, неприступной стала между нами. Ты же слепенький был, кривой: козье разглядел, а божье — нету! Я тебе и сказать не могу, как скорбела я все время об тебе, а все терпела, веровала, что прозреешь... а почему? Ох, сладкий ты мой! Было мне приказанье, чтоб глазенки тебе открыть! Сказано мне, Миша, было: «Пойди, говорит, Дарья, протри ему глаза!» Уж коли по всей по правде, так у меня и в мыслях не было замуж за тебя идти, я и пошла-то за тебя по приказанью...

— Это кто ж приказал-то? — удивился Михайла Иваныч.

— Архангел наш дивный велел: иди, говорит, не бойся, не на что-нибудь, на божье дело посылаю! И так все по-его и вышло! — радостно засмеялась Дарья.

— Так неужли ж Гаврила Тихоныч?

— Он! Он! Кто ж еще-то у нас? Он для нас один свет в окне, пастушок наш любезный, радостный! Да ты не сбивай меня, ты слушай... С чего ж мне так тоскливо сделалось тогда, как он к себе в Горелое ушел, а я у тебя одна-одинешенька осталась? А с того, радость ты моя, что уж не чаяла я вскорости увидеть его, сладчайший голосок его услыхать... Он ведь тогда — помнишь? — прямо из-за стола ушел, бросил меня, горемычную сиротинку... «На божье дело, говорит, оставайся, а меня не жди...» Я ему: батюшка, я, мол, к тебе прибегу когда, тут недалеко... А он не велел. «И думать, говорит, не моги! Раз, говорит, я тебя поставил на подвиг, так ты, говорит, и стой!» И так горько мне тогда все показалось, так безутешно, что плакать бы да плакать во тьме ночной, ан ты тут лезешь на кровать-то! Господи! Вот уж подлинно, бес тобой в тот час руководил! Ну, ладно про то... Ушел он, батюшка, а я хожу как вдовица неутешная без супруга...

При последних словах Михайла Иваныч крякнул и головой покачал.

— Ах ты ж господи! — заметив это, воскликнула Дарья. — Опять ты про плотское! Забудь, выкинь из головы! Ведь тут духовное супружество понимать надо, а

ты... Ну да ладно... об чем это я? Да, вот хожу, значит, печалуюсь и об разлуке с ним, с милым моим, с архангелом нашим, а еще пуще, что вижу: к земной суете ты прирос, никакой тягой не оторвешь! И так пошло у нас: при тебе хожу бессловесно, креплюсь, а только ты со двора — с козой там или за дровишками — у меня слезки-то кап-кап! Да вот так и плачу-заливаюсь до бесконечности... Но вот вчерась радость вдруг пришла... ей-господи! — Дарья встала, перекрестилась и положила земной поклон. — Уехал ты вчерась, — снова усевшись, продолжала она, — уехал, след простыл... А день не хуже как нынче — ясный, холодный, речка чисто новая жесть на солнышке... Вот села я на бережочке, этак подперлась ручкой да вдаль, на тот бок, гляжу. Грустно так, тишина, безлюдье, только за бугром, там, где строют чего-то, машина все ревет, все грохочет, аж страшно сделалось, чисто зверь какой стозевный за бугром-то... Вот так, голубенок, сижу я час и другой, весь день, почитай, сижу, слезки в глазах, плачу, значит, раба божья, и вдруг над самой, ну, поверишь ли, над самой головой — шум, словно от крыльев плесканье этакое... Глянула — батюшки! — журавли! Да низко так, ну, прямо чуть за избу не цепляют, — над головой-то у меня, да через речку, да в лесок, да там, стало быть, и сели. И вот, Миша, тогда не поняла я, не вразумил меня господь, а сейчас вижу ясно: знак это мне был, ангелы божьи то пролетели! Сокрылись они в лесочке, сели, значит, а я как уставилась, так все туда гляжу и гляжу. И вижу вдруг — боже мой! боже мой! — вижу: выходит из лесу дружок мой миленький, Гаврилушка! Вот он идет, вот идет, в одной ручке — прутик, а другой мне этак машет: дескать, вот он я! Вот он! А я, дура, чисто жена Лотова, столбом стою: ни голоса, ни движения, только одна думка в голове: батюшки, его ж перевезть надо, а кто перевезет! И только я, глупая, подумала этак — глядь, а он, сударик, сладенький мой, ножками-то топ, топ, да по воде, яко по суше, так всю реченьку-то и перешел! Ей-господи! — снова крестясь, воскликнула Дарья. — Яко Христос по водам, так и он!

Михайла Иваныч усмехнулся.

— Смейся, смейся! — гневно крикнула Дарья. — Над Христом, думаешь, не смеялись? Ох, да еще как смеялись-то! Ну-кась, говорят, коли ты сын божий, соскочи-кась, говорят, со креста! Было ведь, а? Было? А он, ба-

тюшка наш, взял да и вознесся! И в ту пору ж тоже — какие видели, а какие и нет: по вере, стало быть...

— Ну, а радость-то,— перебил Дарью старик,— про радость ты рассказать сулилась...

— Да вот она и радость, ты, знай, слушай! Как перешел он, значится, речку — да прямо ко мне. Радуйся, говорит, сестра, меня, говорит, вчерась господь благословил, трижды в ночь видение было мне. Все трое пришли в темноте ночной, всю округу наскрозь озарили — там что сияния было, что свету нестерпимого! Отец-то, батюшка, бог, седенький такой старичок, в ряске холщовой, а Христос-то, говорит, босичком, разуткой, значится, и ножки гвоздем пробитые, ягночка на ручках держит... А дух-то, говорит, голубенок, так и вьется, так и трепещет, и вот от него-то и сияние такое, что куды, говорит, тебе электричество! И вот пришли, говорит, и все в ночь-полночь в Горелой повскакали с постелей, думали, пожар — такая светлота, такая яснота сделалась! И этак все трое к лежаночке, говорит, к моей неслышно приступили да и говорят: «Встань, говорят, ангельская твоя душка, иди-кось, говорят, в райцентр, в Ракитину село, там, дескать, земля твоя Ханаанская, там, говорят, и духов храм возводи!» И этак, милый братик, до трех разов, подумай-ка! Понял теперь, радость-то какая? Гаврилушка-то у нас в Ракитной теперчи пребудет, и мы с тобой, Миша миленький, еще и на духов храм, дай срок, полюбуемся!

— А это какой же храм-то? — с любопытством спросил Михайла Иваныч.

— Храм, Миша, воздушный, храм бесстенный, он, как из стекла, весь из духа, значится... И в нем, сладенький ты мой, может, вся Расея соберется!

И Дарья опять засмеялась тихонько. Словно девочка, словно и не под пятьдесят лет ей, вскочив, плавно закружилась по избе. Михайла Иваныч с опаской поглядывал: не грохнется ли, как давеча. Но нет, покружилась, села рядом, голову ему на плечо положила.

— Чудно! — покачал головой Михайла Иваныч.— Ну, а скажи ты мне все ж таки, куда это вы смылись ночью-то?

— Да неужто ж я до сей поры тебе не сказала? Ах, дура я, дура беспросветная! Батюшкину келейку мыть, прибирать ходила я, вон куда. Ты ведь за столом прямо заснул, это мы тебя с батюшкой на кроватку перетащили.

Он, Гаврюшенька, ангелок-то наш, благословил тебя, а мне велел потрудиться, келейку ему прибрать. Знаешь, в больничном саду кильдимчик такой махонький? В нем, сказывают, прачешная была, что ли. Он, голубенок наш, там пока и приютился.

— Да как же — в больнице? — удивился Михайла Иваныч.— Стало быть, докторша ему дозволила?

— Ну, видно, уж все до крошечки тебе открою,— усмехнулась Дарья.— Нашей веры она, докторша-то, свой человек... Уразумел ай нет?

— Вон что,— задумчиво сказал Михайла Иваныч,— значит, вера у вас такая своя? Это, к примеру, все равно как баптисты, что ли?

— Странники мы, братик любезный, странники божьи, вот и вся наша вера. Христос странствовал и нам велел. Как он, так и мы.

— Ну, а скажи, что ж вы — молитесь, или как? Служба, мол, у вас, или попы там...

— А зачем нам попы? Ведь они кто? Во храме торгующие, вроде спекулянтщиков. Их Христос поганой веревкой бил, попов-то, из храма изгонял, читал, небось? Мы, Миша, соберемся, беседуем душевно, Евангелие Христово читаем, песни дивные поем, и радость господня к нам сходит... И уж веселимся мы тогда, яко дети божьи! Ах, чудесно, хорошо!

Видно, Дарье так приятно было вспоминать про веселье, что она подвзвизгнула даже при последнем слове.

— Ну и ну! — вздохнул Михайла Иваныч.— Но опять вопрос: ведь как же это, Даша, получается? Вон ты давеча сказала: как Христос, так и мы. Я тут что-то, фактически, не разберусь. Ну, странствуете, ладно, это одна статья, а вот насчет водочки как понимать? На свадьбе-то, помнишь небось, Гаврила-то как насадился? Альни позеленел весь! Я ж ведь сам его под ручку тогда по бережку проваживал. Да и в Горелое он еще не дюже крепкими ногами пошел...

— А в Кане Галилейской-то! — воскликнула Дарья.— В Кане-то, забыл? Там Христос наш спаситель с пречистой матушкой на свадбе гуляли. Забыл? Винца не хватило, туда-сюда, где ночью достанешь? Так он, батюшка, из водички чудо сотворил — винцо исделал! Вспомни-ка!

— Ну, так ведь чего ж равнять,— вяло, видимо со-

мневаясь в своей правоте, промямлил Михайла Иваныч. И вдруг прислушался.— Постой, чуть ли не кричит кто... Глянь-ка, Даша, в окошко.

Дарья подошла к окну.

— Человек какой-то,— сказала она,— на том боку. Видно, перевезть зовет.

Михайла Иваныч надел картуз и, захватив весло, пошел к лодке.

9.

Человек, стоявший на том берегу, оказался священником из соседнего села Горелого. Он частенько захаживал в Ракитино, и Михайле Иванычу не раз случалось его перевозить. В Ракитине не было церкви, и отец Митрофан не считал за труд раза два в месяц наведываться кое к кому из ракитинцев. Правда, все меньше и меньше народу нуждалось в нем, но десятка полтора дворов все-таки еще придерживались церкви. Отец Митрофан тут крестил, служил панихиды, молебны, и какие-то доходишки помаленьку текли из Ракитина в глубокий карман его бобрикового полупальто.

Этот еще не старый человек в попы подался из райпотребсоюзовских счетоводов. Ни рясы, ни подрясника он не носил, волосы, как это делали другие священники, не запускал до плеч, а подстригал в меру и в своей широкополой фетровой шляпе и высоких хромовых сапогах был очень похож на знаменитого художника Шишкина, каким его изобразил на портрете Крамской.

— Михайле Иванычу! — весело помахал он шляпой.— Как господь милует? Слыхал, слыхал,— подмигнул он, садясь в лодку,— что уже не вдовец ты безутешный... Что ж, это дело доброе, это ничего...

— Да вошь без бабы заела! — пошутил Михайла Иваныч.

Отец Митрофан рассмеялся.

— Вошь, говоришь? Это, брат, верно! В крестьянском обиходе без бабы нельзя. Но вот, друг,— отец Митрофан нахмурился и значительно поглядел на старика,— нехорошо, что во храме не узаконил бракосочетание. Да и то, скажу, опрометчиво поступил, что незнаемую женщину избрал в супруги: она ведь у нас, в Горелом-то, без году неделю жила. Небось и из местных нашлись бы.

— Чего доброго! — Михайла Иваныч самодовольно улыбнулся. — Отбою, батюшка, от невест не было!

— Ну вот, ну вот, а ты вон куда кинулся. Нешто это дело — незнакомого человека в дом пускать?

— Да почему ж незнакомого? Была незнакомая, а теперь — знакомая.

— И что ж, — прищурился отец Митрофан, — так ты ее сразу и распознал? И можешь ее автобиографию описать?

— Фу ты, боже мой! — пожал плечами Михайла Иваныч с досадой. — Да вам-то, батюшка, нешто не все равно?

— Все равно, да не одно, — строго сказал отец Митрофан. — Слух есть, понимаешь, будто баба-то твоя того... с червоточинкой, что ли...

— Это как же вас понимать? — обиженно насторожился Михайла Иваныч. — С какой, то есть, такой червоточинкой?

Зашуршав днищем по песку, лодка ткнулась носом в берег. Но старик не спешил выходить из нее. Опершись на весло, он стоял, ожидая ответа. Отец Митрофан оглянулся и тихо, но очень отчетливо сказал:

— Сектантка. И злостная сектантка, — внушительно добавил он. — Уж кому-кому, а нам это известно. И очень даже.

— Что ж это вы так дюже строго? Нешто они, пущай хоть и сектанты, не люди?

— Овцы заблудшие, вот они кто! — раздраженно сказал батюшка.— И это, заметь, еще в лучшем случае — овцы, а то и такие козлища, что нос от смраду зажмешь. Ты, может, конечно, и не в курсе, но, поверь, уж я-то знаю.

Досадно стало Михайле Иванычу, что поп корит его жену. «Ишь ты, — усмехнулся он, — козлища... А ведь никому не секрет, что ты, черт гладкий, тоже с воньцой: от живой жены с Полинкой-продавщицей живешь...»

— А я, батюшка, так думаю,— сдержанно сказал он, — что перед богом все равны — сектант, или, положим, турка там какой... Да и то сказать, ведь и из нашего брата, из православных, тоже немалый косяк козлов-то наберется: один пьет без просыпу, другой от живой жены по проулкам к барышням бегает...

Отец Митрофан глянул, точно выстрелил, молча вы-

лез из лодки и, «спасибо» старику не сказав, пошел в гору, к селу.

«Накося! — весело поглядел ему вслед старик. — Как я тебя, толстомясого, поддел!»

Он примкнул лодку, вычерпал просочившуюся в корму воду, но не сразу пошел в избу. Раздумье его охватило. Река звенела в тишине на перекате, только вода уже не как давеча, не синяя была, не веселая, в белых солнечных кружочках, а сизо-черная, мрачная. И небо изменилось — куда делась его прозрачная осенняя голубизна,— оно стало низким, тяжелым, белые шапки снеговых туч зловеще встали над лесом. «К снегу, — подумал Михайла Иваныч,— обязательно к снегу... Козлища! — снова вспомнил он. — Ишь как осерчал, аж весь загорелся! Ну, сектанты и пущай сектанты... ай они ему чем досадили?»

Он Дарьины слова вспомнил насчет попов-спекулянтщиков, головой покачал: «Они, значит, попов костерят, а энти их поливают! Чудеса, господи твоя воля!»

10.

Медленно побрел Михайла Иваныч к дому, но опять-таки не вошел в избу, а сел на лавочке у двери. Одна мысль осенила его, прямо как молния сверкнула.

Вот только что над его головой схватились две веры — Дарьина и попова. Послушать одного — те нехороши, послушать другого — эти незавидны. А правда-то где же?

Лет сорок не думал Михайла Иваныч о боге, не приходилось как-то об нем всерьез размышлять. Он, правда, не был безбожником, как многие, из избы икон не выкидывал, по церковным праздникам никогда не забывал засветить лампадку... ну, и прочая там мелочь. Однако же нельзя сказать, что вера его была крепка. Какая же это вера? Скорей привычка с малолетства — после еды, глядя в передний угол, помахать рукой, сказать даже громко «благодарю тебя, господи», а дальше просто так, губами пошлепать, вроде бы молитву творит, а молитвы-то он, кроме «отче наш», никакой и не знал. И то, что вчера Гавриле сказал, будто бы под старость задумываться начал, — пустое было, так, под хмельком, поддерживая беседу, сболтнул.

Но вот теперь объявилась какая-то иная вера—Дарьина. Что ж у них, бог, что ли, другой? Нет, бог тот же.

Значит, разговаривают они с богом по-другому, вот что! Не как, значит, в церкви. Он, правда, давно не хаживал туда: в Ракитине еще до войны закрыли, а в Горелое — не вот тебе под боком, километров семь, а то и все восемь наберется — не находишься. Да и церковный обиход — возгласы священника, дьячковская трескотня, грозный рев или жалобные стенания хора — обиход этот всегда был ему не очень-то понятен: слова какие-то, хоть пускай и торжественные, а смутные. Изо всей службы только разве и расчухаешь, что «господи, помилуй» да «подай, господи». И все-таки эта непонятность и эта торжественность, может быть, как-то даже и нравились прежде. Но однажды, это было задолго до революции, случайно разговорился Михайла Иваныч на станции с одним проезжим мещанином, и тот ему такую штуку брякнул, что у молодого Михайлы Иваныча, или, как его тогда все звали, Мишаки, прямо голова закружилась. А дело было так.

На станции у них каждую субботу и под праздники служили всенощную. Священник в Горелом был большой любитель хорового пения. Из десятка железнодорожных служащих составил хор, и ладно, хорошо получалось. Мишака и сам певал в этом хоре. И все проезжающие, какие сидели на станции в ожидании поезда, все шли в залу третьего класса, где висела в углу большая в дорогих ризах икона божьей матери «троеручицы», и там с охотой молились, потому что в вокзальной скуке это было чем-то даже вроде развлечения. Но вот раз во время всенощной, когда священник уже начал «благословен бог наш», один из проезжающих, невидный из себя мещанинишка, в потертой поддевке и с плохоньким чемоданишком в руке, взял да и вышел из залы. И пока шла служба, так и просидел на платформе под фонарем. Михайла Иваныч подошел к мещанину и спросил, почему тот не захотел стоять всенощную. Мещанин неохотно сказал:

— Так.

Видно, он опасался незнакомого человека. Но вскоре, разглядев, что Мишака — простой и безвредный малый, разговорился и сказал, что никогда не бывает на церковных богослужениях, потому что это не вера, а балаган.

— Это как же так? — спросил озадаченный Мишака.

— А очень просто,— усмехнулся мещанин,— я тебе это сейчас объясню. Ты зачем в церковь ходишь?

— Богу молиться, — простодушно сказал Мишака.

—То есть, значит, об чем-нибудь просишь бога или благодаришь его за что-то?

— Ну конечно.

— А позволь спросить, ты что же, всякий раз об одном и том же просишь? Или, допустим, благодаришь— все за одно?

— Как можно! Все по разному, что придется...

— Ну, вот тут-то и заковыка,— сказал мещанин.— Ты об разном, а попы все одно и то же дерут.

— Чтой-то я вас не пойму, — признался Мишака.— Как, то есть, одно и то же?

— А так. Молитвы-то у них одинаковые на каждую службу?

— Стало быть, так,— согласился Мишака.

— Ну вот, голова, теперь и рассуди, — сказал мещанин, — ты, значит, господу богу про Фому, а попы — про Ерему. Так ай нет?

И видя Мишакино смущение, рассмеялся и пошел к подходящему поезду, сел в вагон, да и поехал, куда ему надо, а Мишака недели две все ходил, раздумывал. Постом же, как говел, признался в этом своем недоумении священнику, и тот очень осерчал, велел выкинуть из головы подобные бредни.

С той далекой поры не вспоминал Михайла Иваныч про этот случай, но нынче, после разговора с отцом Митрофаном, вдруг вспомнил. И, как мы уже сказали, мысль у него блеснула в разгадке — кто же прав: попы или сектанты? И те, и другие почем зря ругают друг друга, стало быть, борются. И тут приходится рассудить так: церковь — это как учреждение, как контора, скажем, да и попы — что твои бюрократы, без души, в общем... А вспомнить Дарью, как горячо говорила она, каким восторгом голос ее звучал, да как глаза горели! Э, тут, брат, кажись, иная статья, тут — душа!

И когда Михайла Иваныч дошел до этой мысли, то стало ему прямо-таки невтерпеж любопытно: что это за храм духовный? И положил он себе непременно, как только удобный случай подвернется, пойти вместе с Дарьей к знакомцу своему Гавриле Тихонычу да и поглядеть, что они там делают, так сказать, по-русски, своими руками пощупать.

С этим решением он и вошел в избу.

— Что это долго-то? — спросила Дарья.

— Да так, посидел, на погодку полюбовался: то солнышко светило, а то — глянь-кось, вон из лесу-то какая страсть прет — снег будет.

— А я тебе, Миша, главное так и не сказала! — улыбнулась Дарья. — Гаврилушка велел кланяться тебе да просить нынче к нему на вечерок. Пойдем, братик милый?

— О? — удивился Михайла Иваныч. — Чего ж не пойти, пойдем! «Чисто мысли мои угадала! — подумал он. — Ну что ж, поглядим, значит, пощупаем...»

---

2. «АРХАНГЕЛ»



Весь — ложь и зло...
Петрарка. Сонет 10.

1.

Михайла Иваныч хоть и ершился давеча перед попом, что знает, кто такая Дарья и откуда она взялась в ихней местности, но, по правде говоря, не ведал об ней ничегошеньки. Вот тут-то, прежде чем дальше идти по тропинкам жизни наших героев и следить за их судьбами, не мешало бы нам кое с кем из них познакомиться поближе.

На самой границе Великороссии с Украиной стояло большое село Старое Ямище. Испокон веков, до самых тех времен, как построили железную дорогу, все село в ямщиках гоняло, да и само название его говорило об этом. Лошадей держали по пять, а то и по десять троек, богато жили на вольном черноземье, без помещичьей кабалы, без рабства и унижения, потому что были крестьянами государственными.

Стояло Ямище при большой дороге на Киев. Круглый год мчались по бойкому шляху лихие ямщицкие тройки, фельдъегерские тележки вихрем проносились, обдавая грязью и пылью жмущихся к обочинам пешеходов, дилижансы важно проплывали, запряженные четверками разномастных лошадок, с сердитыми кучерами, с кондукторами, трубящими в витой рожок. А то и скорбные простые телеги не спеша, переваливаясь с боку на бок, трусили, сопровождаемые конвоем... За лишнее слово, за то, что поперечил в чем начальству, везли удалую голову от родного синего неба, от тихих вод, от ясных зорь, везли на север считать верстовые столбы, в далекую страшную Сибирь...

День и ночь кипела жизнь на дороге, бесконечной вереницей в ту и другую сторону тянулись люди, но всего больше шло богомольцев. С торбочками за плечами, погромыхивая привязанными к сумкам жестяными чайниками, большой артелью или по двое, по трое и в одиночку мерным шагом брели они к лавре и из лавры. В богатом селе становились на ночевку, ходили под окнами, побирались, пели умилительные псальмы, а не то, бывало, и ругались, дрались даже, поворовывали что плохо лежало. Всякое случалось тут в старину, да и как было не случаться, коли шлях на всю Россию славился своей величиной и нигде, ни на каких дорогах не кипело столько народу, как на этой.

Помянули мы о том, что богато жили в Старом Ямище, но, пожалуй, всех богаче были Иноземцевы. До трех десятков лошадей держал старик Максим Иноземцев; еще в восьмидесятых годах прошлого столетия скакали по шляху иноземцевские тройки. Двор их стоял несколько на отшибе от села, у веселого смешанного леса, называвшегося по имени старика Иноземцева Максимовой Балкой. На просторных варках, по колено в пшеничной соломе ходили звероподобные жеребцы. Заливистое ржание и

визг дерущихся лошадей далеко были слышны по округе. Каменный, с деревянными пристройками, дом одной стороной своей глядел в большой фруктовый сад.

Максим, когда еще молодой был, начинал с малого: ездил от хозяина и на своей шкуре испытал всю тяготу зависимой жизни. Но, как это в старое время часто случалось у ямщиков, вдруг разбогател и стал на ноги. Едва ли, конечно, было честным это иноземцевское богатство, да ведь не пойманный — не вор, и кто ж его знает, откуда взялось оно. Разве темная осенняя ночь да бродяга-ветер, со свистом пронесшийся в ненастную предрассветную пору над степью...

Но вот построили чугунку, пошли поезда на Киев — и захирело Старое Ямище. Стали ямщики землю пахать и только. Мало-помалу лишилось село прежней славы и уже ничем не отличалось от соседних сел, разве тем лишь, что по-прежнему было оно чисто русским, ибо ямищенцы с украинцами упорно, как деды и прадеды их, не роднились.

Однако один двор на селе оставался в прежней силе и богатстве, и двор этот был Иноземцевых. Но уже не вороными орловскими жеребцами славен был Максим, а хлебной торговлей, которую он, порешив свое ямское хозяйство, повел широко и смело. Чуть ли не весь уезд держал в руках Иноземцев, ни одно пшеничное зернышко не миновало его амбаров: с пяти волостей везли ему хлеб мужики и именно его предпочитали другим хлеботорговцам, потому что хоть и прижимист он был, зато дело вел начистоту, без обмана.

В семидесятых годах жена родила ему двойню, двух мальчиков — Степана и Игната, и это стало ему великой радостью. Подумывал старик сделать сыновей господами, отдать их в ученье в гимназию и даже в Харьковский университет. И, наверно, так оно и было бы, да неожиданная смерть Максима (он попал под поезд) разрушила его планы: вдова не знала мужниных намерений, да и дети сами, видно, не очень-то стремились к наукам. Степан оказался жадным до богатства и, войдя в года, стал приумножать доставшееся от отца, а Игнату вовсе ни до чего не было дела. Красивый и хрупкий, как девушка, он все больше занимался пустяками: любил до страсти чистописание и, верно, писал отлично, не хуже чем в прописях, с великим трудолюбием переписывая что попало: каталог фирмы сельскохозяйственных орудий, церковный журнал

«Русский Паломник», оборотную сторону календарных листков. Даже целый роман господина Боборыкина из «Нивы» переписал. Однако вникал ли он в переписываемое? Вряд ли. Ему доставлял удовольствие самый процесс письма — и только.

В конце прошлого века, когда появились велосипеды, завел себе этакую диковинную машину с огромным передним и крохотным задним колесом и, давя кур, ожесточая деревенских собак, целыми днями гонял по всей округе. Однако при всем этом иной раз выказывал он замечательный острый ум и сообразительность, и брат Степан Максимыч, приглядываясь к нему, никак не мог понять — блажной Игнат или так, напускает на себя блажь, придуривается.

Сам же Степан стяжательствовал с великим увлечением. Кроме отцовских дел, он еще завел и лавки: одну — с красным товаром, а другую — бакалейную — и очень рьяно принялся выколачивать рубли. Ему мало показалось двух лавок в своем селе, он открыл еще и в соседнем и всюду повесил вывески: «Братья Иноземцевы». Степан не терял надежды, что Игнату надоест, как он говорил, «придуриваться» и что со временем брат станет ему помощником. И это, может, так и случилось бы, если б в Игнатовой жизни не произошло событие, повернувшее по-иному его судьбу.

2.

Построили чугунку — и киевский шлях запустел. Голенастый, жиловатый чернобыльник и колючий с малиновыми шапками татарник наступали на него из степи. От прежнего многолюдства ничего не осталось. Но, как и в давние времена, брели по шляху богомольцы, странники, бродячие монахи. По-прежнему неторопливым шагом тянулись они, по-прежнему приворовывали они по мелочам, по-прежнему становились ночевать в Старом Ямище, где, как и встарь, почитали их и привечали.

И вот однажды пришел к иноземцевскому двору рослый, черный, мослаковатый какой-то монах не монах, но в скуфейке, и попросился переночевать. Тогда у Иноземцевых еще все оставалось как при старике: хозяева и работники с приказчиками жили в одном доме и за стол садились все вместе. Человек по тридцать сиживало за столом, и вот в этакой-то многолюдной беседе оказался и пришлый странник.

Он назвался божьим слугой Епифанием, и все так поняли, что он монах, но когда кто-то полюбопытствовал, в каком монастыре он спасается, Епифаний сказал:

— Монастырь мой, братья, бесстенен и даже невидим. Это святого духа монастырь, я иду — и монастырек мой со мной ходит. Иду же я непрестанно, странствую, яко Христос наш батюшка на месте не сидел...

Все удивились его речам, но через минуту удивление сменилось смущением, ибо начал Епифаний бесстрашно и злобно лаять попов, монахов и даже самое церковь. Работникам показалось это чудно, и они стали смеяться над Епифанием, а один, возмутившись, схватил его за бороду, чтобы прибить. Тогда старик, который был у работников за старшого, прикрикнул на возмутившегося и велел ему оставить странника, потому что тот, наверно, юродивый, а у юродствующих, что бы они ни говорили и ни делали,— все свято.

Игнат очень внимательно слушал дикие странниковы речи и, видно, сильно занялся им. И он спросил странника, почему тот отвергает церковь.

— А ты Апокалипс читал? — дерзко из-под косматых бровей глянул на него Епифаний...

Игнат сказал, что нет, мол, не приходилось.

— Тогда что с тобой и толковать! — грубо резанул Епифаний, но потом, помолчав немного, объяснил:

— Ивану Богослову на острову на одном, прах его возьми, забыл, как называется, видение было: села на облак приститутка и сидит, паскуда! Но главное, заметь, у ней, у стервы, в руке — чаша, из какой причащаются... А? Понял? Вот он, Иван-то, и давай гадать, что это за видение такое, а тут в тот момент ангел божий случись, он, конечно, все про все Ивану пояснил: блудница эта — церква, а к ней дураки ходят, чтоб их там попы обирали... Исус же наш батюшка Христос, он, ты думаешь, в церкву ходил? А?

Игнат замялся, видно не зная хорошенько.

— Нет, ты мне скажи,— дико заорал Епифаний,— ходил ай нет?

Страшно сделалось Игнату. В словах странника было или безумное кощунство, или величайшая истина. Ибо (хоть у него доселе и мысли не было отвергать церковь) видя нехорошую, развратную и пьяную жизнь сельского духовенства, он иной раз недоумевал: как могут этакие

люди стоять перед престолом, перед богом? И за что же церковь святой называется, коли священники ее столь погрязли во грехе и мерзости? Все, конечно, так, но Епифаньевы речи были непривычны и по непривычности своей — страшны.

Игнату загорелось выведать от странника все, душевно поговорить с ним. Когда на другой день тот собрался уходить, Игнат стал уговаривать его пожить у них еще хоть денек. Епифаний поломался для виду, но остался и прожил сначала один день, потом — другой, а там и неделю. Он ходил по селу, ругал попов, но не открыто, конечно, на улице, а по избам. Его охотно слушали и, вспоминая своего попа-мздоимца, пьяницу и развратника, вздыхали и соглашались.

В конце концов сладкая и сытая жизнь так понравилась Епифанию, что, сказав, будто ему было видение и голос божий повелел ему пребывать в Ямище, он остался жить у Иноземцевых. Игнат срубил ему хорошую келью, в которой стали собираться отвергавшие церковь люди. Собрания эти проходили втайне, по ночам, и, что там делалось за плотно закрытыми ставнями, никто не знал. Однако по селу про эти собрания ходили нехорошие слухи.

Приверженцы же Епифания почитали его как духа святого. Он даже так и называть себя велел. Ему довольно часто являлись видения, с богом он беседовал запросто. И в зависимости от того, что господь приказывал ему в этих видениях, были и его проповеди. Он то запрещал отдавать детей в школу, то заклинал не ходить в баню, то, предсказывая близкий конец света, приказывал надевать чистые рубахи и поститься. Словом, его причудам не было предела, но слушались его беспрекословно, и вера в Епифаньеву святость была незыблема.

Наконец он призвал всю свою братию идти собирать на построение «духова храма». Тут он опять-таки привел в пример Христа, который «не сидел на месте», но предупредил, чтобы сборщики опасались полиции, а уж ежели попадется кто, так не сказывал бы, кто такой, откуда и что за храм духов, а одно бы твердил: «мы-де странники божьи, да и все тут».

И многие, бросая семью и хозяйство, уходили, и иные пропадали, а иные через какое-то время возвращались с пожертвованиями, принося хорошие сборы. Деньги

отдавались Епифанию, но куда он их определял, кроме него самого, никому известно не было.

И, несмотря на то, что сам-то он никуда не ходил крепко сидел в келье; что лет через пять после своего появления в Ямище он построил себе отличный, с мезонином, дом и завел сначала одну, а потом целых трех любовниц, которых называл святой троицей; что многие понимали, куда идут собранные на «духов храм» денежки; что все нелепее и сумасбродней делались его причуды; что он пристрастился к вину и стал до того зашибать, что в конце концов даже и помер с перепоя, — несмотря на все это, святость его оставалась непреложной и чуть ли не полсела перестало ходить в церковь, собирались в известных домах и молились по-своему.

Самым же преданным учеником Епифания был Игнат Иноземцев. Он рабски подчинялся «старцу», в уничижении своем говорил, что он «дерьмо под ногами старца» и что за радость великую считает быть попранным ногой «батюшки святого духа». И тот, разумеется, попирал его: он не велел Игнату жениться, и тот не женился, велел отделиться от брата, а деньги и имущество, полученные при разделе, отдать на «духов храм», и Игнат отделился и отдал Епифанию все свое добро.

Завладев Игнатовым капиталом, «старец» и его послал собирать на храм. Игнат смиренно пошел, но не возвратился. Убили ли его недобрые люди, потонул ли он, или где, безвестный, слег в тяжелой болезни и помер — так и осталось неразгаданным.

Все описанное произошло как раз накануне первой мировой войны. Когда грянула она, когда по деревням заголосили бабы, провожая на фронт мужей и сыновей, в Старом Ямище стало твориться невообразимое. По рукам пошла тайная, найденная в каком-то колодце грамотка, в которой говорилось, что кто возьмет в руки оружие, того постигнет божья кара и что надо, раз уж такое дело, покориться немцу, но никак не воевать. Смятение вышло ужасное. А дело-то было в том, что покойный «старец» в числе различных своих заветов велел отказываться от солдатчины, и некоторые действительно отказывались, за что и попадали не на фронт, а на каторгу.

Не было дома в Старом Ямище, где не поселилось бы горе, не было избы, над которой не нависла бы грозная туча лишений и бедствий. И лишь Степан Иноземцев

благоденствовал по-прежнему и по-прежнему вышибал рубли. Во все время владычества Епифания он оставался в стороне и хоть не осуждал «божьих странников», но и не склонялся к их вере. Да ему и вообще-то было наплевать на любую веру: его богом был барыш, барышу он только и поклонялся.

Степан жалел своего непутевого брата, но не осуждал. «Каждый по-своему с ума сходит»,— любил он говаривать и ко всему, что не касалось его денежных интересов, был презрительно-равнодушен. Его огорчало лишь бесплодие жены. Она не рожала ему детей, которые нужны были ему как для радости в доме, так и для помощи в его торговых делах и для продолжения этих дел.

В девятьсот пятом году мужики спалили его хлебные склады и померла жена. Степан, впрочем, о хлебе больше горевал, чем о жене, он на нее, как на пустое место, смотрел. Да кроме того, ее смерть возместилась неожиданным прибавлением в семье, и прибавлением очень счастливым. Случилось так, что одного из Степановых работников, каким-то образом оказавшегося причастным к поджогу, сослали в Сибирь. Степан довольно равнодушно отнесся к этому: виноват Тишка, значит, отвечай. Но у вдовца-работника остался десятилетний малый Гаврюшка, и Степан, жалея парнишку и видя в нем живость и смышленость, решил приблизить его к себе.

3.

Мальчик словно и в самом деле принес с собою в дом удачу и счастье. Удачлив Степан оказался в новом для него деле с махоркой. Порядочную часть своих земель (это еще отцом было заведено) он засевал табаком, который поставлял на известную в те времена фабрику Заусайлова. Видя, какие этот Заусайлов гребет на махорке деньжища, Степан решил сам стать фабрикантом. Три года после смерти жены возился он с постройкой фабрики. Наконец, в девятьсот восьмом за сельскими огородами выросли два красных кирпичных корпуса с длинной, точно гигантский гвоздь, железной трубой, с высоким деревянным забором и воротами, над которыми по проволочному полотну было выложено золотыми буквами:

ТАБАЧНАЯ ФАБРИКА
С. М. ИНОЗЕМЦЕВА

(к тому времени фирмы «Братья Иноземцевы» уже не существовало: отделившийся Игнат жил сам по себе, находясь при Епифании чем-то вроде послушника).

Попы отслужили молебен, хлопнули пробки цимлянской шипучки, и приглашенные гости сели за стол. Однако приказчикам и рабочему люду столы накрывались отдельно, в работницкой избе: фабриканту Иноземцеву уже не с руки было сидеть с простым народом запанибрата.

На махорке Степан разбогател по-настоящему и через два-три года ходил в первой гильдии. «Степана Максимыча нонче в полмиллиона не уложишь!» — с завистью говорили про него его вчерашние товарищи — лавочники, прасолы, мелкие лесопромышленники. «Шибко дюже в гору полез, — посмеивались другие, — как бы шею не сломил!»

Нет, Степан не сломил шеи, но и радости особой от своих успехов не чувствовал. Он задумываться стал: для кого старается? Один, как крест при дороге, время не ждет, уходит, реку жизни, считай, до середки переплыл, уже тот, другой, берег завиднелся, а главного — любви, привязанности, нежности к кому-то — этого-то и не было. И вот стала его грызть тоска. Пей он водку — ему бы много легче было, да он не любил вино и презирал пьяниц. Ох, тяжко было Степану сам-друг со своей тоской! Такие люди, запутавшись в докучливых мыслях, случается, что и жизни себя решают.

Возможно, что и Степан до намыленного обрывка додумался бы, если б какая-то дальняя Гаврюшкина тетка не вспомнила про мальчонку-сиротину и не послала ему со своей меньшенькой гостинчика. И, пока востроглазый Гаврюшка уплетал за обе щеки теткины пампушечки, Степан молча глядел из-под смоляных бровей на скромницу Машеньку и думал: «Молода, в дочери годится... Ну, да видно, сам господь мне ее послал. Сваху зашлю, не отстану, моя будет!»

Гаврюшкина тетка жила верст за двадцать от Ямища. Она ахнула, да у ней просто язык отнялся, когда неделю спустя к ее разгороженному убогому двору подкатила щегольская лакированная коляска и толстая, расфуфыренная, известная в богатом купеческом мире сваха, войдя в избу и помолившись на закопченные образа, повела складную, неспешную речь о богатом купце и девичьем товаре.

Страшно было отдавать Машеньку в чужой богатый дом к своенравному и уже немолодому вдовцу, но ведь честь-то какая, подумать только!

Без малого неделю свадебная гульба дымилась в большом иноземцевском доме. Испуганным зверьком поглядывала молодая на мужа, на захмелевших, распоясавшихся гостей и с нетерпением ждала, когда же все это кончится... Наконец «это» кончилось, наступили будни. И вдруг с удивлением поняла Маша, что напрасно она боялась, что не только не суров и не грозен оказался ее Степан Максимыч, но ласков, нежен и как бы даже несколько робок с нею. И она по-своему, по-женски догадалась, почему он такой: любит.

4.

Счастливо, но недолго пожил Степан с молодой женой: трудными родами скончалась Маша, оставив мужу слабенькую, хилую дочку. И до того жалка, плоха была девчушка, что поскорей окрестили ее, назвали Дарьей, да уж и хоронить приготовились было...

Верно, месяца два висела Дашонкина жизнь на волоске, что называется, а потом словно бы чудо какое совершилось — стала расти, ботеть, как на дрожжах, вовремя пошла, вовремя заговорила и такой певуньей, такой красоткой сделалась к семи годам, что отец на нее наглядеться, нарадоваться не мог. Степан научил Дашонку грамоте и письму. У него была мечта отдать ее в гимназию, сделать дочь благородной барышней.

Семнадцатый год, однако, спутал Степановы карты: прахом пошло все нажитое богатство, болезнь привязалась, стало холодеть в груди, замирать сердце. И летом восемнадцатого года Дашонка осталась сиротой.

Помер Степан ночью, никто и глаза ему не закрыл. Но, видно, чуял последние дни, что уже не жилец он: недели за полторы до смерти позвал Гаврюшку (тому тогда двадцать четвертый год пошел) и, трудно, хрипло дыша, хватаясь за грудь, сказал:

— Помру, видно. Слушай, что говорить буду...

— Ну что вы, папинка! — воскликнул Гаврила.— Небось, поживете еще, ишь чего удумали!

— Не лотоши, — покачал головой Степан, — знаю, что говорю... Сядь.

Гаврила осекся, присел на краешке стула.

— Так вот, — продолжал Степан, — чего сейчас в Расее творится, это к своему концу придет... Коммунию, не миновать, придушат. И все мое добро возвернется. Так?

— Так, так, — закивал Гаврила, — это уж будьте спокойны.

— Конечно, может, и по-другому кривая вывезет, — невесело усмехнулся Степан, — но, думаю, не должно бы. Наследница после меня одна — Дашонка, а ей и всего-то девятый годок пошел... Ты же, значит, вроде бы теперь мне за сына... и велю я тебе, Гаврюша, береги ты ее, Дашку-то, — Степан всхлипнул, — ведь у ней, кроме тебя... никого...

— Господи! — вскочил Гаврила. — Да что же это вы такое говорите, папинка! Да неужто ж не понимаю я... ах ты боже мой!

— Ну, вот так-то — утирая набежавшую слезу, сказал Степан. — Заневестится Дашонка — женись. Будешь моими делами ворочать, руки у тебя надежные. Главное — обождать, перебиться надо, пока «товарищам» шеи не посворачивают...

Вот и стал Гаврила ждать, когда «в Расее все к своему концу придет». Втроем, с Дашонкой и кухаркой Спиридонихой, скудно жили они в маленькой, тесной хатенке, во «флигарьке», как называл ее Степан, на краю большого иноземцевского сада, в овраге. В большом доме разместился сельсовет, комитет бедноты. Заглянул как-то Гаврила туда и ахнул: боже мой! Все захаркано, заплевано, затоптано, в комнатах сломаны переборки, обои клочьями висят... «Один ремонт во что влетит!» — сокрушенно подумал Гаврила.

На фабрику еще тошнее было глядеть: лопухами, крапивой зарос широкий двор, с вывески золотые буквы посшибали, в корпусах стекла повыбиты, сычи завелись, страшно, жалобно кричат осенними ночами...

Гаврила жил тихо, затаясь, старался властям глаза не мозолить. Да его и не трогали. Знали, правда, что не батрачил он у Степана, а как бы воспитанником был, приемышем, но ведь кровь-то, кровь не кулацкая, своя, отец-то за правду, за мир пострадал, вон ведь что...

Однако и на скудную жизнь требовались деньги. Хозяйства Гаврила не держал никакого — ему Степан не

велел: «Не связывайся, не то время!» И передал замшевый табачный кисет, в котором позвякивали двадцать пять золотых николаевских десяток. «Хватит пока что, а там, глядишь, и обернется», — сказал Степан и, притянув к себе Гаврилу, что-то шепнул на ухо.

Но прошел год, другой, третий... а ничего, между прочим, не оборачивалось. «Сколько ж еще ждать-то? — недоумевал Гаврила. — Что-то делать надо... Но что?» Думал, думал — ничего путного не придумывалось, пока случай не натолкнул.

Тут опять придется вспомнить про полоумного монаха Епифания. Спиридониха, когда еще служила в кухарках у Иноземцевых, повадилась бегать на непутевые Епифаньевы моления и, видно, чем-то так угодила старцу, что тот приблизил ее к себе и сделал одной из трех «богородиц». Но помер старец, без вести пропал Игнат, а там началась война, весенней грозой прогремела великая революция,— и разбрелись кто куда епифаньевские «странники», распался «духов храм». Из «богородиц» одна Спиридониха уцелела в Ямище, да и та сейчас жила тихохонько, прижукла... Людям было не до богородиц.

5.

Как-то раз непогожим осенним вечером в окно «флигарька» тихонько постучались. «Кого это шут носит!» — сказал Гаврила и пошел открывать. Спиридониха с Дашонкой слышали, как он с кем-то переговаривался в сенцах через дверь, видимо, спрашивал, и чей-то сипловатый, простуженный голос отвечал ему.

— Не то кто ночевать просится? — прислушалась Спиридониха и сердито закричала в окошко:

— Проходи, проходи! Самим повернуться негде!

Но Гаврила уже гремел засовом, впуская прохожего в избу. Едва переступив порог, тот рухнул на колени; разметав грязные седые волосы, припал головой к щелястому, притоптанному полу, да так и остался недвижим, только спина со сползшей набок сумкой чуть вздрагивала. Испуганная Дашонка вскрикнула, прижалась к Спиридонихе; та молча, вопросительно глядела на Гаврилу, а он стоял у двери и, отведя в сторону глаза, криво, ненатурально улыбался.

Наконец прохожий поднялся. Слезы текли по его серым, землистым щекам; жалкие пряди волос прилипли к мокрому лбу; жиденькая монгольская бороденка тряслась, прыгала, как живая. Рваный кургузый подрясник, расшлепанные лаптишки — все было жалко, убого в этом тщедушном, видно очень больном, человеке, и лишь глубоко затаившиеся в черных ямах глаза горели, как уголья.

— Игнат! — всплеснув руками, вскрикнула Спиридониха. — Да не то ты?

— Я, мати, я, странник Исусов, — хрипло прошептал прохожий и точно залаял, закашлялся, согнулся дугой, обеими руками ухватился за живот.

— Господи, батюшка! — охнула Спиридониха. — Да где ж тебя досе носило, горемышного? Ведь по твоей по душеньке уж и сколько Степаном-то Максимычем сорокоустов отслужено, сколько просвирок повынуто! Ах-и, милые!

— Постелй, ма́ти! — клокоча горлом, сказал Игнат.— Помирать буду...

Немного осталось в Ямище епифаньевцев, но все-таки человек десять собрались на другой день возле умирающего Игната, да и не с пустыми руками, конечно, всякий что-нибудь да принес: ковригу хлеба, куренка, меду горшочек — пустяки, разумеется, но в те годы это дороже всяких денег было.

Игнат лежал на лавке — костлявый, задыхающийся, весь как стеклянный, как бы уже и не живой, с гладко причесанными грязно-седыми, длинными, как у попа, волосами, с хрящеватым, по-мертвецки заострившимся носом, с горящими, устремленными в потолок глазами. Тонкие, с длинными пальцами, нерабочие руки были сложены у него на груди.

Собравшиеся молча крестились, вздыхали. Молчал и Игнат. В тишине слышно было, как булькала, переливалась болезнь в тощей его груди. Наконец дрогнула жиденькая бороденка, зашевелились руки, и с трудом, видно превозмогая тяжкую боль, Игнат заговорил.

Темна, безумна была его речь. Видно, временами сознание вовсе покидало его, он бредил, вскрикивая. Говорил, что скоро «трехголовый турка, мусульман придет на куриных лапах в Расею, и станет крестить всех в свою мухаметскую веру, и кал свой жрать заставит... А после всех

слабодушных огнем спалит. А какие покрепше, те спасутся, тем благовещенье будет через архангела, и станет им сей архангел яко дух, яко живот, яко крепость и избавление...»

— Тут он, батюшка... — прохрипел Игнат. — Возля вас... в тайне... Но время придет — назовется...

Люди слушали, плакали, а Гаврила, стоя в сторонке, зорко, опасливо поглядывал на Игната: а ну как выживет? Как ни поверни, а ведь он, полоумный, все ж таки наследник-то... Блаженный, блаженный, что и говорить, а в случае ежели прогорит Советская власть да по-старому все обернется, вот возьмет да и предъявит глупой Игнатка права — и будь здоров, Гаврила Тихоныч, катись, откуда пришел, к такой-то матери...

Еще Гаврила и на епифаньевцев с любопытством поглядывал: что за люди? На какого шута им этот бродяга Игнатка, да хоть бы и тот же Епифаний сдались? Он очень хорошо помнил Епифания: бешеный кобель, пьянчуга... а дом какой отгрохал! А деньжищи огребал какие!

Нет, никак не мог Гаврила понять, что заставило Игната в свое время отдать шальному монаху весь свой капитал, из-за чего приверженцы волокли ему последний целковый? «Духов храм»! Слыхали про него, как же! Он, Епифаний-то и себя велел святым духом величать... Помнил, очень даже хорошо помнил Гаврила шумные гулянки в Епифаньевом доме, рев граммофона из распахнутых окон, пьяные песни «богородиц» — нахальных мордастых баб... Это Спиридониха сейчас притихла, а прежде, при Епифании, тоже такая паскуда была!

И так задумался, так замечтался Гаврила, что когда уж бабы заголосили, пришел в себя. Видит — вытянулся Игнат, задрал голову, кадык торчит, адамово яблоко, в окостенелые руки уже вложена тоненькая восковая свечка. И Спиридониха что-то сердито говорит Гавриле, а что — никак он в толк не возьмет, и не вдруг понял, что велит ему Спиридониха идти гроб сколачивать.

Вот так второй раз был оплакан горемычный Игнат. Тайно похоронили его ночью на краю иноземцевского сада, в логу, под старым ясенем, тайно потому, что побаивался Гаврила, как бы не прицепились власти: что, мол, за человек, да откуда он взялся, да как это, по какой причине помер. И чтобы незаметной была могила, крест не в зем-

лю вкопали, а высоко над могилой спрятали — в густых ветвях могучего ясеня.

Спиридониха, разумеется, сразу же обшарила Игнатов мешок, думала, может, у него деньжонки припрятаны, но ничего, кроме чистой рубахи и куска грубого, небеленого холста, не нашла. Была еще в мешке растрепанная, густо исписанная тетрадка в клеенчатой обложке. Спиридониха повертела, повертела ее в руках да и бросила к печке, как вещь пустую и ненужную. Гаврила поднял тетрадку, полистал: безделица, какие-то стишки. Но поразила красота четкого и круглого, как прописи, почерка. И Гаврила прибрал тетрадку в свой сундучок.

Появление в Ямище Игната, его смерть, его туманные, зловещие откровения — все это как-то всколыхнуло епифаньевцев, за два-три послереволюционных года уже почти позабывших про прежнее свое привержение «святому духу». Это оказалось как искра в соломе, и хоть слабенький, а затлел-таки огонек. Сначала приходили к Спиридонихе помянуть «блаженного Игнатия», а потом каждую субботу стали собираться.

В такие вечера Спиридониха накрывала стол чистой скатертью, достав из сундучка черную толстую книгу, не клала, а ставила ее торчмя посредине стола и зажигала перед ней прилепленную к чайному блюдцу восковую свечу. Книга эта была Библия. Прежде, бывало, кто-нибудь читал из нее вслух, но теперь она так, без толку, подавалась: грамотеев не было. Собравшись, вели неспешную беседу епифаньевцы, вспоминали старое время, пели какие-то не похожие на церковные песни, затем ложками из большой деревянной чашки, «яко в Кане Галилейской», хлебали вонючий самогон.

Гаврила не чурался таких сборищ, «божьих вечерушек», как это у них называлось. Он сидел, слушал, наблюдал. И чудно́, и дивно все ему казалось, и никак он, воспитанный Степаном в духе барыша, торгашеского расчета и здравого смысла, никак не мог понять, что за корысть людям этак впустую тратить время, да и не только время: каждый из приходящих что-нибудь да приносил Спиридонихе — холст, десяток яичек, пшеничную лепешку...

Не раз и не два возвращался Гаврила в мыслях к епифаньевцам, пытался разобраться — что и как, подолгу раздумывал, да так ни до чего и не додумался, кроме одного: по нынешним временам, когда настоящего дела нету,

и из этой блажи, пожалуй, можно дельце сварганить. Первая вещь — какая-никакая, а все выгода — харчишки; а второе — кто знает, сколько еще ждать перемены? Не спокойней, не надежней ли на это время за божьим делом схорониться?

Так мало-помалу зародилась дерзкая мысль: «Старец, конечно, жучок был хороший... да я-то, что ж, неужели дурей его? Дело, что и говорить, смеху достойно, тут вся торговая выучка насмарку идет... Ну да ведь и время какое!»

И вот как-то раз — дело было на святках — собрались «божьи люди», поговорили тихонько, вспомнили Игнатовы пророчества, стих спели, но как-то вяло, скучно все получилось, да еще как на грех Спиридониха расхворалась, лежала на печке, охала, не принимала участия в вечерушке. И сделалась вдруг в избе тишина, только сипуга за стеной посвистывала, кидалась в крохотное оконце снегом, гремела печными вьюшками.

— Эх, братья! — вздохнул кто-то. — Так-то бы славно, братья, от святого писания чего почитать, как Игнаша-голубчик бывало читывал... слезно, хорошо!..

— Без писания — что мы? Конь неподкованный: осклизнулся, упал...

«Эко диво — Игнаша! — подумал Гаврила. — Да я вам сейчас не хуже Игнаши оттачаю!»

Решительно подошел он к столу, взял книгу, обеими руками высоко поднял ее над собой. Он видел, что так это делал священник в церкви. Затем поцеловал пропахнувший мышами и воском черный переплет, раскрыл наудачу и голосом громким, как рыдание, закричал:

«Тогда сделалась тьма... завеса в храме раздралась надвое, сверху до низу! И земля! Потряслась! И камни расселись! И гробы отверзлись! И многие тела усопших воскресли! И, выйдя из гробов, явились многим!..»

Гаврила услышал, как кто-то тяжело вздохнул у него за спиной, потом всхлипнул кто-то, подавив рыдание. «Ишь ты, — подумал он, — еще и Игнатке очка дам!» И вдруг, читая дальше, почувствовал, как грудь расперло от неведомого восторга, голос стал прерываться, слезы застлали глаза... И сделалось ему и радостно и печально вместе, и то, как скорбел, как мучился Христос, Гаврила применил вдруг к себе, ему стало жалко не то Христа, не то себя, и он заплакал без притворства.

6.

После этого на вечерушках самой главной частью стало Гаврилино чтение. Затем он научил епифаньевцев новым песням (тут пошла в ход Игнатова тетрадка); решительно отстранив Спиридониху, стал как бы во главе «божьих людей», а вскоре объявил им, что архангел, про которого, помирая, кричал Игнат, это он самый и есть. Ему с восторгом поверили, и архангельский чин утвердился за ним на многие лета.

По правде говоря, Гаврила и сам не ожидал такого поворота в своей судьбе и сначала думал, что вся эта епифаньевщина — молитвы, песни, уставное пьянство, его собственное архангельство, наконец, — все это временно, пока, в ожидании переворота. А там, когда «все на свое место станет», женитьба на Дарье, богатое иноземцевское дело и путь к еще большему богатству...

Так кончилась война, разруха, пришла новая экономическая политика. Это, конечно, было не то, чего Гаврила ждал, но уже кое-что, уже показалось возможным покинуть подполье, приняться за настоящее дело.

Темной ночью пошел Гаврила в ложок и, приподняв вросший в землю старый мельничный жернов, стал копать. На небольшой, в пол-аршина, глубине лопата стукнула о металл. Осторожно окопав, Гаврила вытащил крупную, плотно закрытую банку из-под дунайской сельди. Это и было то самое, о чем ему незадолго до смерти шепнул Степан.

Распевая с епифаньевцами Игнаткины стихи, исступленно выкрикивая библейские тексты, а затем принимая приношения, Гаврила думал, что только бы ему добиться до капитала, а там бог с ним, со святым духом, бросит он эту канитель. Но вот была выкопана Степанова банка, в руках оказалось богатство, а нет, не отставал Гаврила от «божьих людей»... Лавка, крупорушка, мельница — все это приносило немалые деньги, барыш тек на барыш, по сравнению с торговым оборотом мелочь, пустяк были доходы от епифаньевцев, но... тут дело оказывалось не в деньгах: власть над людьми, поклонение этих людей его архангельскому чину — вот что нравилось Гавриле, вот от чего он не желал да, пожалуй, уже и не мог отказаться.

Кроме того, Гаврила очень хорошо понимал, что не так уж крепко его теперешнее богатство, что как бы не конч-

лось оно враз, так же как и началось: дала Советская власть поблажку, да сколь надолго? О том, что все по-старому обернется, Гаврила не помышлял; он выписывал и читал «Бедноту» — ох, мало утешительного было в газете! Одна за другой иностранные державы признавали Советскую Республику, присылали послов, торговлишка кое-какая завязывалась с заграницей... Это, так сказать, внешние дела, ну а внутренние? Что ж, мужику власть по душе,— еще бы! — земли вволю, пособия всякие, ссуды... Самая беспросветная голытепа норовит в люди пробиться, да ведь и пробивается! Нет, что говорить, мужик доволен, очень даже Советской властью доволен, хитро она его опутывает, у как хитро! Но как бы все-таки не дали промашку большевички-то... Вот пишут все — «коллективизация»... Что оно это такое — сейчас, пожалуй, и не разжевать еще, но уже одно то, что все — общее, то есть мое — твое, а твое — мое, это никак мужику не подойдет, тут как бы у него с властью дело наперекосяк не пошло... «Ну, ладно, — прикидывал Гаврила,— поживем, увидим, а пока за бога, брат, держись крепко, тут — дело верное, тут не пропадешь...»

7.

Он и держался. Жил смирно, аккуратно, вовремя платил налоги, охотно и щедро подписывался на займы. Его не в чем было упрекнуть. Огромное хозяйство? Торговля? Молитвенные собрания? Но ведь сама власть призвала себе на помощь частника, выходило так, что он как бы даже помогал молодому Советскому государству окрепнуть, встать на ноги; а что до религии, то опять-таки закон на его стороне: свобода верования, его бог ничем не хуже поповского.

И так и эдак раскидывал мыслями Гаврила. Однако туманно, непрочно все выходило, а главное, невозможно самому, собственными руками устроить свою судьбу. Надо было, видно, снова ждать, ждать и ждать.

Шагая из угла в угол по комнате нового дома, долгими ночными часами прислушивался он к деревенской тишине, словно хотел услышать чей-то голос, какие-то слова совета, наставления... Но тихо было в доме, только большие старинные стенные часы, купленные на Глуховской толкучке,

мерно и мягко постукивали огромным, величиной с чайное блюдце, маятником да за стеной на кухне храпела и что-то бормотала во сне Спиридониха...

Ветер налетал, бил в черные стекла окошек шальным дождем, гремел железом на крыше, свистел разбойничьим посвистом, и была во всем такая тоска, такая тревога... Иногда среди этих ночных звуков слышался тихий плач, приглушенные всхлипывания, прерывистый, долгий вздох. Гаврила на цыпочках, крадучись, подходил к Дарьиной горенке, припадая ухом к двери: опять плачет... Вот наказание, вот крест достался ему, Гавриле! Подарил покойник Степан Максимыч богатство, это, конечно, спасибо, но за Дашонку — бог ему судья.

Странная, непутевая выросла девка, слов нет — хороша, красива, но с чудникой: то задумается, заплачет без причины, а там, глядишь, уже и хохочет, крутит старый граммофон, и неприлично, срамно на все Ямище орет черная пластинка с нарисованным на ней голым ангелочком: «Ах, зачем эта ночь так была хороша, не болела бы грудь, не томилась душа!..»

Гаврила не забыл Степанова завещания, чувствовал, что ответчик он перед покойником, но жениться на шальной, полоумной девке, загубить век свой... нет, этого он не мог. Да, пожалуй, если б и захотел—вряд ли что получилось бы. Не затворницей жила Дашонка и, как ни ворчала, как ни пилила ее Спиридониха, любила и пофрантить, и вечерком с подружкой Тонечкой, Антониной Ивановной, молоденькой учительницей, у которой в кудрявой головке — одни кавалеры да книжечки про любовь, любила и по улице пройтись или на станцию — к почтовому поезду... В прогулках этих Антонина Ивановна познакомила Дашу с молодым сельсоветским писарем Тимкой Голубятниковым. Был он черняв, цыгановат, востроглаз, ловко играл на гитаре, подпевая приятным тенорком трогательную песню «Степь да степь кругом...».

Дарье уже девятнадцатый год пошел, самая девичья пора, и ничего не было удивительного в том, что полюбила она Тимку. Не раз в летние сумерки встречал Гаврила возле своего двора молодого писаря: проводив Дарью, он шел домой. Вежливо, но сухо, приподняв клетчатую кепочку, здоровался с Гаврилой, и тот долго глядел ему вслед, качая головой, вспоминая покойного Степана Мак-

симыча, его завет глядеть за дочерью. «Да черт же за ней углядит, экая кобылица непутевая... Догуляется с Тимкой, окаянная девка, принесет в подоле-то... Да что я, в самом деле, — раздраженно думал Гаврила, — отец ей, ай брат? Ну, принесет — и пожалуйста, его, черномазого, не заставишь жениться...»

Однако все обернулось иначе. Дарья не принесла, и Тимку не пришлось заставлять: помогая снимать крест, он упал с колокольни и разбился насмерть. Вот и плачет Дашонка с тех пор, места себе найти не может. «А какая нелегкая тянула его ввязываться в это дело? — шагая из угла в угол, усмехается Гаврила.— Вон бог-то и тово... наказал, стало быть...»

Заплаканная, молчаливая ходила Дарья по дому, и как ни старалась беспечная Тонечка расшевелить ее — ничто не помогало: кончились вечерние прогулки к поезду, заброшен, унесен на чердак горластый граммофон. И Тонечка в конце концов отступилась от Даши, нашла себе для прогулок другую подружку.

Словно в каком столбняке стала жить Дарья — никого не замечала, не слышала обращенных к ней вопросов. Злые деревенские старухи из верующих при встречах на улице гадюками шипели на нее, плевались сердито: «Бог, бог наказал Тимку-комсомолиста! Он, краля собачья, и до тебя, дай срок, доберется, наступит на хвост-то...»

До сих пор равнодушная к вере, даже как бы сторонившаяся епифаньевцев, Дарья сделалась вдруг усердной молельщицей на «божьих вечерушках» и восторженно поклонилась Гаврилиному архангельству. «Вот, братики,— сказал однажды Гаврила,— как бог-то поворачивает: из воды — вино, из греха — спасение. Это я про нее,— указал он на Дарью.— про голубоньку мою неутешную... Чаяла жениха телесного, а нашла духовного... Так, сестренка, ай нет?» И Дарья заплакала и, плача, запела, и как-то неожиданно пение у нее перешло в смех, в крик, в стоны, и она стала выкликать непонятные слова. Тут Спиридониха вскочила, пошла кружиться, топать, и Дарья, выкликая, закружилась, затопала, а за ней и все, кто был в горнице, завертелись с песнями, с криками...

Так вошла Дарья в «духов храм» и так неожиданно для Гаврилы сделалась его первейшей помощницей в божьих делах.

8.

Да, в божьих-то делах все устраивалось хорошо, но вот в мирских... ох, как тут было темно и сложно!

Гаврила чувствовал приближение грозы, он недаром газеты читал. Как устоять перед натиском грозной бури, даже противоборствовать ей — вот о чем долгими ночами думал Гаврила и наконец выкинул такую штуку, что все только ахнули да руками развели.

Он призвал «божьих людей» к нищенству. «Христос-батюшка босиком, в рваной ряске ходил, а мы что? Обмирщились, запсели в грехе, мамоне поклоняемся! Давайте-ка, братики, раздадим добро нищим, убогим, уйдем в пустыню... ах, до чего ж хорошо, дивно будет!»

Епифаньевцы послушали, повздыхали, думали, что Гаврила так, на ветер, по святому писанию сказал, а он вскоре, действительно, передал сельсовету все свое добро: мельницу, крупорушку, лавку, дом, скотину. На четырех битюгах отвез в общественный амбар мешки с пшеницей, сдал хлеб вместе с лошадьми и только взамен бумажку попросил, расписку с подробной описью, что от него получено.

Он стал, как и прежде, жить в заброшенном «флигарьке» под иноземцевским садом, а когда на Ямище хлынула волна раскулачивания, с Гаврилы уже и спросить было нечего. Над его юродством посмеялись и забыли про него, а ему этого-то и надо было. Он глядел и замахивался куда шире, чем думали о нем районные и сельские власти. Гаврила не сдался, не отступил, наоборот, сейчас-то он и собирался впервые показать свои когти: его нищенство на самом деле было той овечьей шкурой, в какую в сказке рядился зубастый волк.

Пошел Гаврила из села в село побирушкой стучать под окнами, петь стихи про людскую злобу, про скорое антихристово пришествие. Деревня в тот год котлом бурлила. Уже в общих конюшнях заливисто ржали, с визгом дрались обобществленные лошади, уже на мешках с худобишкой в дочиста обобранных избах сидели готовые в ссылку, в дальний путь раскулаченные мужики, уже первый, невиданный доселе трактор, громыхая, печатая на развороченной земле ровные уголки шпор, прошел по селу. Новая деревня готовилась к первой колхозной весне... Но еще много сомнений было, много скрытого, а порой и откровенного недовольства крутыми мерами, насилием властей.

От избы к избе шел Гаврила с нищенской сумкой. Его привечали, сажали обедать, оставляли ночевать, и он охотно садился за стол, осторожно вступал в разговор. Его отказ от богатства, от своего добра как-то очень выгодно выделил его изо всех людей, сделал чуть ли не святым; его встречали именно как святого, к его слову прислушивались, спрашивали совета, даже пророчества ждали. И Гаврила как должное принимал все почести, но тут же смиренно говорил: «Ох, братья, какой я советчик! Нищ телом, нищ духом, самому бы кто присоветовал...» Однако, убедившись, что в избе нет посторонних, не спеша, с оглядкой на дверь, заводил такие речи, такие сеял страхи и сомнения, что радушный хозяин, только что вступивший в колхоз, всю ночь не спал, ворочался, шептался с женой, а утром шел в правление и как-то виновато, отведя взгляд, подсовывал на стол председателю вырванный из школьной тетрадки листок с заявлением о выходе из колхоза.

Вот так и брел потихоньку оборванный нищий, месил стоптанными лаптишками серый мартовский снег, и следом за ним десятки, сотни мужиков шарахались от колхоза, как от чумы; шел нищий — и следом пожары полыхали в деревнях, горели амбары с семенным зерном, скотные дворы, избы сельских активистов, а то и выстрел раздавался в ночной тишине...

В первый раз за тридцатипятилетнюю жизнь Гаврила шел напрямик, рискуя, борясь и наслаждаясь борьбой, сам себе удивляясь — как это он думал тихохонько схорониться за богом, ни во что не вмешиваться, ждать... Он уже тринадцать лет ждет, а что толку? Бог, храм духов, поющие и скачущие епифаньевцы — мелочь, дерьмо, все это разве что Дашке полоумной к лицу!

Гаврила как бы с высокой горы поглядел на прожитые при Советской власти годы, годы его напрасного ожидания, «когда все на место станет», обернется по-прежнему. И все показалось ему смешным и глупым: и куцее богатство, и архангельство, и власть над полсотней шальных «божьих людей». Не это, конечно, было главное. Главное состояло в том, чтобы вернуть себе так нелепо ускользнувшее Степаново наследство: землю, фабрику, огромное поместье и, уж разумеется, ту славу и тот почет, какими окружен был Степан Иноземцев.

Но вот поперек глотки стояла ненавистная власть. Неисповедимы пути твои, господи! Тринадцать лет жил

Гаврила и не знал, что весь ум его, все способности, вся сила — все это было назначено для борьбы с Советской властью! Для этого, и только для этого! Так чего же он ждал столько времени? Для чего так долго бездействовал, попросту говоря, валял дурака со своими блажными придурками?

Теперь, когда словно с горы глянул Гаврила на прожитые годы, ему стало ясно, чего он ждал — подходящего момента. Сейчас момент этот наступил, и вот он, бросив все добро, пошел по земле и идет, кидая искры в солому, разбрасывая семена злобы и ненависти...

Так ходил он, гордо оценив себя дороже, чем стоил на самом деле, ходил до самой пасхи, а на страстной в субботу, темной ночью, когда в редких, кое-где еще уцелевших церквах жалобно звонили к заутрене, его поймали возле колхозной конюшни со снопом старновки и горшочком жарких угольев... И он был осужден и отправлен в сибирские лагеря на долгий, десятилетний срок.

9.

День за днем потянулись серые, тусклые годы заключения: бараки, нары, тайга, заунывный вой дисковых пил на лесозаводе, гигантские штабеля досок и горбылей, мелкие дрязги заключенных, удушливый запах серы и вечно мокрой, не успевающей просохнуть за ночь одежды...

Попроси Гаврилу рассказать об этих длинных годах — он ничего не вспомнит, не расскажет: время вытянулось в памяти бесконечной серой суровой ниткой, не на чем глазу остановиться. И лишь одно ярко отпечаталось в памяти: десяток узловатых, рябых, черных снизу от старости берез, среди которых крошечный дощатый домишко с необычайно чисто вымытым единственным окном, с железной стрелой флюгера на тесовой крыше... Чем-то нерусским веяло от всего этого — от флюгера, от сияющего окошка с цветочными горшочками (китайские розы), от красноватого песка, которым посыпаны были дорожки маленького, словно игрушечного, палисадника. Да оно и в самом деле было нерусское: на выкрашенной в ярко-красный цвет двери блестела начищенная медная дощечка с награвированной на ней готическими буковками надписью:

АДАМ ОТТОВИЧ ВЕРНЕР

Табличка эта всегда особенно восхищала Гаврилу: что за аккуратист, что за обстоятельный человек! Раскулачили, что называется, догола раздели, с единственной дочкой Беатой попал он в сибирскую пропасть,— а вот, поди же, не растерялся в последнюю минуту, отвинтил дощечку, взял с собой, дескать, и там буду жить, и там я — Адам Оттович Вернер, и — никаких!

Адам Оттович и в самом деле был железный человек. Когда полгодом раньше Гаврилы он очутился в здешних краях, то не размяк, не опустился, как многие из ссыльных (их тут возле лагеря полно было), но быстро, деловито огляделся, поступил механиком на лесопилку, из некондиционных горбылей построил домишко, привинтил к двери табличку с фамилией и зажил так, словно забыл все, чем он дышал всю жизнь, словно и ничего не стряслось с ним, словно он тут и родился. Гаврила понимал, что это внешне, что рана Адама Оттовича не зажила, но выдержка, глубоко похороненное в себе истинное чувство — вот что восхищало Гаврилу, сближало его со старым немцем: ведь он и сам из такого теста был. Ведь и он не раскис, не растерялся, а сразу вгрызся в новую, незнакомую жизнь, не отдался течению, а выплыл против воды, увильнул от общих работ и, выбившись в бригадиры торцовщиков, зажил куда крепче и вольготней, чем жили его товарищи по тюрьме и этапам.

У него с Адамом Оттовичем сразу общий язык нашелся. Получив пропуск за проволоку, Гаврила частенько забегал к немцу на чашечку кофе, потолковать о том, о сем. Однако, откровенно-то говоря, не Адам был тем магнитом, что притягивал Гаврилу к аккуратному домику в березах. Мельком помянули мы Беату, Вернерову дочку,— вот в ком было дело..

Тридцать пять лет прожил Гаврила, ни разу всерьез не подумавши о женитьбе. Равнодушно глядел он на женщин, и ни к одной из тех, что видел, не тянулась его душа. Да и кого он видел? Истеричных кликуш, темную деревенщину, полоумную Дашонку... А тут, за тысячи верст от родных мест, в распроклятой чужой Сибири, Беатины глаза, карие, из-под длинных стрельчатых ресниц, словно огнем прожгли, сна лишили! Ее голос, ее походка, ее небольшое, но крепкое, ловкое тело, наконец, та, видимо, унаследованная от отца житейская стойкость, с которой она, двадцатипятилетняя изнеженная девушка, переносила

свою судьбу, — все приводило Гаврилу в восторг, все наталкивало на одну мысль: вот это клад-баба, вот это — жена!

А как Беата аккуратно держала себя! Она работала медицинской сестрой в лагерном лазарете, день-деньской среди заключенных, среди всякого сброда, среди грязных, духовно опустившихся людей, но так строго поставила себя, что к ней и пальцем никто не смел прикоснуться.

Едва ли было у нее к Гавриле ответное чувство, но ей шел двадцать шестой год, а тут еще вдруг — внезапная смерть отца (сердчишко-то все-таки не выдержало!), одиночество, суровая, неуютная жизнь... Словом, ей понадобилась какая-то опора, поддержка; возле случился Гаврила, и Беата, не колеблясь, стала его женой.

Ей нравилась Гаврилина цепкость, она понимала, что с ним не пропадет. Два обстоятельства только немного смущали ее: разница в культурном развитии ее и мужа да еще совершенно не понятные ей Гаврилины религиозные дела. В самом деле, она много читала, кончила в одном приволжском городке музыкальную школу и недурно играла на пианино, обожала Моцарта, Бетховена, немецкую классику, а Гаврила, кроме газет, Библии да Игнаткиных стишков вряд ли что-нибудь держал в руках. Впрочем, в их суровой жизни было не до Моцарта. Что же касается Гаврилиной религии, то и тут Беата скоро примирилась и даже кое-что поняла.

Надо сказать, что в лагере оказалось человек пять ямищенских епифаньевцев, которые открыто поклонялись Гаврилиному архангельству; вскоре еще с десяток из заключенных мужиков примкнуло к ним, и снова Гавриле пришлось взяться за прежнее. Разумеется, о «вечерушках» и речи не могло быть: начальство строго глядело за «божьими людьми», но Евангелие все-таки почитывали тайком, невидимый «духов храм» созидался в темном, вонючем бараке, и хоть небогатые, а все ж таки кой-какие приношения на этот храм текли в Гаврилину укладку. И Беата, сначала косо и даже с усмешкой поглядывавшая на «божьих странников», вскоре поняла, что не из-за одного святого духа водится с ними Гаврила. И она даже кое в чем стала помогать мужу: то записочку с облегчающей молитвой сунет кому в лазарете из больных епифаньевцев, то шепнет иному, чтоб приходил туда-то.

На третий год заключения Гаврила выхлопотал у на-

чальства разрешение жить за чертой лагеря, «вне зоны», как это там называлось, и перенес из грязного барака свой скарб в маленький Вернеров домишко, где он стал хозяином. Беата хотела было снять с двери отцовскую медную дощечку, но Гаврила сказал: «Не тронь, нехай висит, она нам не помеха, а все ж таки по Адам Оттычевой душеньке, царство ему небесное, вроде бы как память».

Вот так и прожил Гаврила с Беатой тихо и смирно, день в день, девять лет с лишком, до той минуты, когда вызвали Гаврилу в контору и выдали ему документы об освобождении. Срок Беатиной ссылки кончился давно. Они собрались и уехали на Гаврилину родину.

Однако обосноваться в самом Ямище Гаврила не посмел, он избрал себе для жительства тихий районный городок километрах в тридцати от Ямища. Там, кстати, была больница, куда легко устроилась окончившая к тому времени Томский мединститут Беата.

Гаврила не спешил приниматься за работу, он пока приглядывался. Он побывал в Ямище. Спиридониха с Дашонкой жили все в том же иноземцевском «флигарьке», почти уже развалившемся. Дашонка постарела, завяла как-то, но все еще была хороша. Она наловчилась делать бумажные цветы, Спиридониха продавала их на воскресных базарах, но цветы плохо кормили, и частенько старуха уходила побираться, «кусошничать».

Прослышав о Гаврилином появлении, кинулись было к нему «божьи люди», но он не решился затевать прежнее. «Погодите, братики, — сказал он, — не пришло время. Скоро знак будет даден». Какой знак, он и сам, конечно, не знал, брякнул с плеча, пустил туману, но надо же так случиться, что не прошло и недели, как грянула война, и через три месяца немцы очутились возле Ямища.

Тогда Гаврила, ни у кого не спрашиваясь, запряг больничную пегую кобылу, велел Беате собирать пожитки и, нагрузив полную телегу, поехал навстречу фронту — в Ямище.

И тут теряется его след, тут почти на шестнадцать лет жизнь его, Дашонки и Беаты как бы скрылась во мраке до той самой поры, с которой и начинается наша повесть.

---

3. БЕАТИНЫ ШТУЧКИ



Что такое музыка? Что она делает? И зачем она делает то, что она делает?

Л. Толстой. Крейцерова соната.

Это шутит над вами болото,
Это манит вас темная сила...

Ал. Блок. Пузыри земли.

1.

Ранней весной, еще до приезда Михайла Иванычевой Липки, молодой ракитинский учитель Василий Карасев затеял постановку гоголевской «Женитьбы». Этот спектакль он хотел приготовить к выпускным торжествам.

Василий любил театр, драмкружок был его кровным детищем. За три года своего учительства Карасев поставил с десяток одноактных пьесок, а в прошлом году ракитинская молодежь и вовсе отличилась: была сыграна драма «Шторм», и сыграна так хорошо, что слух об этом спектакле дошел до области. В молодежной газете напечатали статью, в которой корреспондент не поскупился на похвалы сельскому театру и даже окрестил его народным. Кружковцы да и сам Карасев были на седьмом небе и тогда же решили поставить что-нибудь из классики. Василий назвал «Женитьбу», и ребята с восторгом приняли его предложение. Но когда стали распределять роли, оказалось, что нет подходящей свахи: все девушки были тоненькие, стройные, а гоголевская Фекла представлялась этакой кубышкой, поперек себя шире, как говорится.

Правда, на примете была одна толстуха — Нюся Швырева, ракитинская библиотекарша, однако когда ей предложили роль свахи, она обиделась, сказала сердито:

— Как симпатичную девочку сыграть, так Танечка Гусарова пожалуйте, а как колоду толстомясую, так Нюська! — и наотрез отказалась.

— Что ты, что ты, — уговаривал Карасев разобидевшуюся Нюсю. — При чем тут колода? В театре все роли хороши, все почетны... А насчет Тани — напрасно, я знаю, ты личные симпатии подозреваешь, но давай судить объективно: Таня — талант, это — будущая Тарасова или там, допустим, Марецкая... Это, понимаешь, надо признать!

— Марецкая! — фыркнула Нюська. — Вздыхаешь по ней, Васенька, вот тебе и Марецкая! Напрасно только вздыхаешь-то, там твое дело — табак, там — Витька!

Удар был нанесен по самому больному месту, и Карасев стушевался. Однако он не унывал: в его тщедушном теле, в его вихрастой голове жил великий задор. «Фекла будет!» — уверенно сказал он кружковцам и приступил к репетициям.

Все шло отлично: Таня бесподобно играла Агафью, она и в самом деле была талантлива. Кочкарев (тот самый Витька) в своей темпераментности даже перехватывал через край, его приходилось сдерживать. Женихи были тоже ничего себе, а Яичница (конюх Засядько) — так тот одной только своей восьмипудовой тушей возбуждал не-

удержимый смех. Но сваха... Репетиции шли, за нее скороговоркой бубнил суфлер, а ее роль по-прежнему висела в воздухе. Карасев уже смирился с мыслью, что кому-нибудь из девушек придется подложить подушки, это, разумеется, было неприятно, он знал по опыту, что фальшивые подкладки будут съезжать набок, стеснять движения, но иного выхода не предвиделось.

И вдруг однажды, когда Карасев вел урок литературы и вдохновенно рассказывал о Радищеве, дверь класса приоткрылась и в ней показался Виктор. Он, видимо, прибежал прямо с машины, в чумазой, замасленной телогрейке, в грязных сапожищах, в шоферских, похожих на голенища, рукавицах. Карасев вышел в коридор.

— Что за чепе? — улыбаясь, спросил он.

Виктор, бывший на голову выше Карасева, нагнулся к его уху и сказал театральным шепотом:

— Сейчас сваху со станции привез!

— А ежели яснее?

— Абсолютно ясно: привез сваху. Дамочка, брат, словно по заказу сделана. Рост — один пятьдесят, объем груди и в талии — та же цифра. Возраст неопределенный — от тридцати до пятидесяти. Видно, женщина хорошо следит за собой, — тоном знатока добавил Виктор.

— Иди ты, знаешь куда! — разозлился Карасев.

— Все, Васенька, все! — делая испуганное лицо, замахал руками Виктор. — Излагаю по порядочку...

Оказалось, что в Ракитином появилась новая врачиха. Виктор, работавший на райисполкомовской машине, ездил за ней на станцию. Внешность ее была такая, как он и описал, то есть вполне подходящая для роли Феклы. Единственно, что смутило Виктора, это ее молчаливость: за весь семикилометровый путь от станции до села она не обмолвилась ни словечком. Он несколько раз пытался завести с ней разговор, но впустую: «Да... нет... вот как?» — только он от нее и слышал. Чудное имя у нее: Бе-а-та. Беата Адамовна. Барахлишко при ней не так чтобы очень, но одна вещица удивила Виктора: этакая штука, вроде пианино, но как-то иначе называется... фис... фиг...

— Фисгармония? — подсказал Карасев.

— Во-во! Она самая! Ногами, что ли, на ней играют?

— Отчасти, — засмеялся Карасев.

2.

Дня через три он отправился в больницу с дипломатическим, по его собственному выражению, визитом.

Был вечер. Крепкий мартовский морозец прошелся по развороченному талому снегу, по черной дороге, по мокрым веткам деревьев, и все затвердело, сделалось как стекло и камень. Мороз, казалось, и звуки все сковал — такая наступила тишина. Ни голосов, ни гармошки, ни коровьего рева, лишь мерно, приглушенно стучал движок электростанции да где-то далеко за селом, на задонских буграх, натужно, видимо, скользя по обледенелой дороге, завывала автомашина.

«Наверно, Витька-бедолага мучается», — подумал Карасев.

Виктор с утра уехал в город за шифером для клуба. Ох, этот многострадальный клуб! Просто «Вампука» какая-то: «бежим, спешим!» — а сами ни с места... Да, с клубом была печальная история, но, вспомнив про шифер, Карасев весело улыбнулся, засвистел какую-то собранную из песенных обрывков мелодию. Не последнюю, очень даже не последнюю роль сыграл он в этом деле! Второй год шло строительство клуба, и конца ему не было видно: то материал задерживал, то рабсила. Позапрошлым летом возвели кирпичные стены, заготовили стропила; новый завотделом культуры товарищ Гусаров даже кровельное железо выхлопотал в области. Но дело вдруг затормозилось: не нашлось кровельщиков. Потом оказалось, что кровельщики-то были, да товарищ Гусаров почему-то охладел к стройке. Тогда районная власть (Федор Иваныч Коноплин, предисполкома, если уж говорить начистоту, конкретно, так сказать) определила втихомолку лес и часть железа на завершение строительства парикмахерской, и вместо клуба в Ракитином появился этакий косметический салон. Почему? Да какое-то, видишь ли, заезжее начальство раскритиковало маленькую клетушку, где помещался районный брадобрей Тигран Аветикович; оно, видишь ли, начальство-то, высказалось в том смысле, что надо бы построить побогаче... Коноплин в лепешку расшибется, а начальству потрафит. Вот и потрафил за счет клуба, черт бы его, подхалима, побрал! Ну, а потом пошло-поехало: есть материал — нет рабочих рук, есть руки — с материалом задержка. В довершение всего и оста-

ток кровельного железа исчез, как провалился. Вскоре, впрочем, оказалось, что это злополучное железо пошло на ремонт крыши закусочной. Карасев разозлился, написал в областную газету заметку, в которой, между прочим, и товарищу Коноплину кое-что перепало. После заметки все устроилось (отпустили лес, вместо железа дали шифер), но теперь при встречах Федор Иваныч, как бы в шутку, грозится кулаком. Понимая шутку, Карасев любезно улыбается.

В больнице было тихо, пусто и печально. Уборщица тетя Паша мыла пол в коридоре. «Куда, куда? — замахала она на Карасева. — Натопчешь, пропасти на вас нету! Ай захворал?» Оказалось, что докторша ушла домой. «На фатеру, — сказала тетя Паша, — зайди со двора...»

Пробираясь по замерзшим лужам, Карасев услышал словно бы приглушенное пение. Что-то торжественно и, как ему показалось, далеко где-то пели без слов нежные женские голоса. Иногда в хор вступали низкие, мужские, но тоже так мягко, так тягуче, что их не сразу улавливало ухо. Два окна, освещенные изнутри странным, голубовато-зеленым сиянием, бросали на грязный снег длинные неяркие полосы призрачного света. Третье окно скрывалось за выступом какого-то строения.

У крылечка Карасев понял, что то, что ему показалось хором, была музыка. «А! — сообразил он. — Так это же фисгармония...» Он стоял возле двери, не решаясь постучаться, слушал, забыв про цель своего «дипломатического» визита. «Ну и мастерица! Вот это гвоздь в нашей самодеятельности! А музыка! Черт ее знает, немножко на божественное, правда, похоже... Но вдруг, сквозь молитву, такая силища, такой восторг зазвучит, что самому петь хочется!»

Длинный, торжественный аккорд замер, наконец, в тишине двора. Карасев постучал.

— Кто? — спросил из-за двери низкий, чуть надтреснутый женский голос.

— Извините, — сказал Карасев, — я здешний учитель Карасев. Можно к вам на минутку?

Щелкнула задвижка. «Дайте руку, — сказали из кромешной тьмы, — тут можно ушибиться...» Рука женщины была маленькая, крепкая, с удивительно нежной кожей. «Вот, черт, как романтично!» — ухмыльнулся в потемках Карасев и сразу зажмурился от яркого, необычайного света.

Женщина ввела его в просторную, почти пустую комнату, посреди которой, накрытый серой полотняной скатертью, стоял круглый стол, огромная, высокая, как китайская ваза, керосиновая лампа с каким-то чудным, голубоватым, похожим на лилию абажуром щедро освещала все закоулки. Впрочем, особенно и освещать-то было нечего: больничный топчан, покрытый грубым, но цветистым монастырским ковром, коричневая, неуклюжая, как комод, фисгармония, три белые табуретки с инвентарными бляшками, вероятно, тоже больничные — вот и вся обстановка. На чисто выбеленной стене висела фотографическая копия васнецовской богоматери на облачках, над изголовьем топчана — миниатюрное, выточенное из кости, распятие. «Э, да она верующая!» — подумал Карасев, протирая платком запотевшие стекла очков.

— Вы уж меня извините,— смущенно улыбнулся он,— что я к вам так, как говорится, незваный, непрошеный...

— Ничего, — сказала врачиха, — мы хорошему человеку завсегда рады.

Заложив за спину руки, она стояла возле фисгармонии и откровенно, пристально разглядывала гостя. Карасева поразили холодный, стальной блеск ее глаз и то, как она пошутила, это ироническое «завсегда», произнесенное без тени улыбки. Виктор верно сказал, что она хорошо сохранилась, ее возраст было невозможно определить. На красивом лице, правда, морщинки — у рта, возле глаз; гладко, на прямой пробор расчесанные волосы того пепельного цвета, который искусно скрывает седину; крепкая, располневшая, но не расползшаяся до безобразия фигура; маленькие, неожиданно худощавые ноги. Все в ней было прочно, ловко, уверенно в себе, но какая-то все-таки настороженность почудилась Карасеву. Впрочем, он не придал этому особенного значения, все было вполне естественно: она играла, увлеклась, и вдруг — стук: «Здешний учитель...» Скажите, пожалуйста, цаца какая!

Они оба с минуту молчали. Карасев ждал приглашения присесть, но его не было. Бедный малый положительно смутился. В замешательстве он еще раз снял и протер очки.

— Вам, вероятно, нездоровится? — наконец услышал он.

— Нет-нет, — поспешно отозвался Карасев, — дело в том, что... ну, я слышал о вашем приезде... И что вы му-

зыкантша, это мы по вашему багажу догадались, — а я преподаю литературу... и люблю музыку, немножко сам играю на пианино... нет, по слуху, конечно, подбираю... Ну вот, вы уж извините, я и решил зайти, просто так, познакомиться...

— А! — равнодушно сказала врачиха. — Очень приятно, давайте познакомимся. Беата Адамовна, — представилась она, протягивая Карасеву руку. Садитесь. Вы, может быть, снимете пальто?

— Нет, спасибо. — Карасев тут только вспомнил, зачем он пришел, но ему неудобным показалось сразу приступать к делу. — Что это вы играли? — спросил он. — Я прямо-таки заслушался.

— Бах, — сказала Беата. — А где же вы слушали?— Опять какая-то настороженность мелькнула в ее глазах.

— Да у двери стоял, — улыбнулся Карасев. — Бах, ведь это немец, кажется? Я, по совести сказать, не очень-то с ним знаком. В моем представлении о нем — только длинный парик, пышное жабо (так ведь это называется?), строгое лицо с большим носом. Где-то, в календаре что ли, видел...

Беата сделала презрительную гримасу.

— Молодежь не знает и не любит классику. У вас всякие «Улицы заречные», «Подмосковные вечера» или вот это: «Елочки-сосеночки, воронежские девчоночки»...

— А вы, я вижу, — усмехнулся Карасев, — отлично знакомы с этим жанром.

— Я думаю, — пожала плечами Беата, — когда радио с утра до ночи...

— Так у вас же нет радио, — оглянулся Карасев.

— Я велела убрать репродуктор, — сказала Беата,— но все равно, это везде — в больничных палатах, на улице. От него никуда не денешься.

— Жизнь,—философически заметил Карасев.—Куда ж вы от нее денетесь?

— Это «Елочки-сосеночки», по-вашему, жизнь? — иронически прищурилась Беата.

— Конечно, самая настоящая. Нашенская.

— Не завидую я «вашенской» жизни.

«Ого! — подумал Карасев. — Это, кажется, штучка. Похоже, напрасно только я время трачу...»

— Нет, вы не обедняйте нас, — сказал он. — Мы любим и ценим классику. Другое дело, что многого еще не

знаем. Баха вот, например. У меня, знаете ли, — оживился Карасев, — есть проигрыватель, ну и пластинки... классическая музыка есть. Ко мне частенько ребята наши, девушки заходят послушать. Так мы Первый концерт Чайковского прямо-таки в отделку, до дырок заиграли!

Из-под опущенных ресниц Беата искоса поглядела на Карасева.

— Да? — безразлично сказала она.

— Или возьмите наш драмкружок. Гоголя ставим, «Женитьбу»...

— Вот как? — вежливо удивилась Беата.

Карасев решил брать быка за рога.

— Тут только одна заминочка у нас вышла, никак сваху подходящую не найдем... Беата Адамовна! — выпалил он. — Сыграйте нам сваху!

— Что-о? — нахмурилась Беата. — Я? Сваху?!

— Ну да, Феклу... Чудесная роль, что ж такого?

Беата вышла из себя, у нее даже красные пятна на лбу над бровями выступили.

— Вот что, товарищ Карасев, — сердито сказала Беата, —я за всю свою жизнь, имейте в виду, ни в каких театрах никогда не представляла и представлять не собираюсь. Поняли?

— Да,— опешил Карасев, — но почему же? Вы так говорите, словно я обидел вас. Я, честное слово, не хотел...

— Ну, хотели или нет — это меня мало трогает.

— Но, все-таки, почему?

— Простите, — сказала Беата,— мне надо идти в больницу. До свиданья.

Не протянув руки, она кивнула головой.

Карасев только на улице опомнился. Он шел, не разбирая дороги, проваливаясь в замерзшие лужи. Лед битым стеклом звенел, хрустел у него под ногами. «Да ведь она меня выгнала! — наконец дошло до его сознания. — Дипломатический визит! — весело рассмеялся он. — Вот Витька-то будет потешаться!»

3.

Холодное небо было усыпано яркими мигающими звездами. Везде по селу уже зажглись огоньки. Они тоже, как звезды, перемигивались: видимо, на электростанции барахлил движок.

И тут Карасев вспомнил, что в комнате у докторши почему-то, демонстративно, что ли, вместо электричества горела тридцатилинейная керосиновая лампа. Сплошные причуды были у дамочки!

Показалась школа. В шести освещенных окошках второго этажа мелькали темные фигуры — это значило, что ребята уже собрались на репетицию. При воспоминании о кружковцах у Карасева на душе посветлело. Что за чудесные люди! Как радостно, хорошо работать с ними, дружить! Вот Петро Засядько — великан, этакий ракитинский Гаргантюа со своим мощным басом и какой-то кажущейся, напускной невозмутимостью, которая служит ему надежным щитом против неистовых наскоков Нюськи Швыревой... У них уже второй год роман, они влюблены друг в друга, но на людях прикрывают свою влюбленность бесконечными маленькими ссорами. Эта Нюся — отличная девушка, что с ней случилось, почему она разобиделась на предложение сыграть Феклу? Может быть, потому, что просить ее об этом Карасев приходил вместе с ее Петрушей? А Виктор! Этот, как ураган: в любой мелочи сказывается его неукротимый, бешеный темперамент, какая это противоположность тихой, мечтательной Тане... Эх, Таня! — Карасев закусил губу, вздохнул. — Ну, что сделаешь, любить не прикажешь, изволь, Вася, утешайся этой старой истиной. Что за беспокойная штука—любовь! Неужто и при коммунизме так вот и останется: восторг от одного ее взгляда, сладко замирающее сердце или неразделенное чувство, ревность? Интересно. Впрочем, отними у праздника влюбленности всю эту поэтичную путаницу переживаний — и праздник исчезнет, и станет тускло, серо, обычно... И все-таки тяжело жить с проклятой царапиной на сердце... Эх, Таня! Как тут не позавидовать (нет, не Виктору, боже избавь!) тому же Тимке Калишкину, самому младшему кружковцу... Ему семнадцать лет, через год заканчивает школу, в летние месяцы ходит в подпасках при колхозном стаде. В его круглой стриженой голове все нацелено на одно: зооветинститут и диплом ветврача. Энтузиаст, чертенок! Отчаянным, беспокойным человеком придет он в жизнь...

Задумавшись, Карасев прошел мимо школы. Он спохватился, взглянул на часы: батюшки, четверть восьмого! Быстро зашагал обратно, но наперерез ему, из-за угла, на бешеной скорости, громыхая цепями, вылетел милицей-

ский мотоцикл. Карасев едва успел отскочить к забору. Участковый Филюшкин, подпрыгивая в седле, крикнул что-то ему и махнул рукой. Карасев ничего не понял, поглядел вслед исчезнувшему мотоциклу и быстро пошел дальше.

Кружковцы обступили его, закидали вопросами: «Ну что? Ну как? Согласилась?» Карасев протер очки и развел руками.

— Насилу ноги унес!

И он очень смешно рассказал о своем визите.

— Ну и бис с ней! — сердито плюнул Засядько — Яичница. — Обойдемось и так. Скаженна, бачу я, жинка... А мабудь она из баптисток?

Репетицию не начинали, ждали Виктора. Каждый раз, когда внизу хлопала дверь, все настораживались: вот сейчас войдет веселый, шумный, и сразу точно десять человек прибавится. Тоненькая, большеглазая Таня то и дело подбегала к окну, прижав к вискам ладошки, вглядывалась в синий мрак мартовской ночи: не идет ли? Нет, улица была пустынна, только несколько человек, крича что-то, шибко прошли через площадь к реке.

Подмигивая ребятам, Засядько все приставал к Тане:

— А хиба не загуляв твий Витюха с городскими дивчатами? Може, вин про тӭбэ и думать забув...

— Да ну вас совсем, что вы ко мне привязались! — не выдержала наконец Таня.

И когда Карасев, решив не дожидаться Виктора, захлопал в ладоши: «Начинаем, начинаем, товарищи!» — в зал чертометом ворвался мокрый и запыхавшийся Тимка и срывающимся голосом крикнул:

— Виктор машину разбил! И сам... до смерти!

— Где? Как? — посыпались вразнобой вопросы. Все окружили Тимку, он вертел круглой головой, не успевая отвечать.

— Из города ехал... Возле Чертова лога машину юзом занесло... Дорога осклизла, страсть, а Витька, стало быть, не удержал, в овраг загудел! Там сейчас народу — все село побежало... Филюшкин докторицу привез, да что она теперь... Машину кверху колесами, а кабину никак не откроют — дверцу заклинило...

Выпалив эти сведения, Тимка рванулся к двери, за ним хлынули кружковцы.

— Ну, вы тикайте, — сказал Засядько, — а я на конюшню: мабуть, транспорт потребуется...

Только тут увидел Карасев, что Таня исчезла. Столпясь возле Тимки, никто не заметил, как она после первых же тимкиных слов кинулась из зала и, как была в легком платьишке и туфельках, выскочила на улицу. Скользя на тонких каблучках, падая, Таня бежала к Чертову логу. Она не чувствовала ни холода морозной ночи, ни боли от ушибов о твердые, как железо, мерзлые кочки дороги. Туфельки соскочили, а она и не заметила, бежала дальше в прозрачных чулочках, в кровь расцарапывая ноги, ничего не видя и не слыша. Одно только гудело в ушах, будто в огромный рельс било: «До смерти! До смерти! До смерти!»

Чертовым логом назывался глубокий, чуть ли не на два километра протянувшийся к Дону овраг. С каждым годом все ближе подступал он к дороге, каждый год собирались то укрепить его края, обсадить ветлами, то отвести дорогу вбок, но наступала весна, и снова запахивали поле вплоть до грейдера, и снова по самому краешку бездонной пропасти беспечно и бесстрашно неслись лихие машины...

Когда Таня прибежала к оврагу, Виктора уже вытащили наверх. Он лежал на разостланном брезенте, лежал какой-то особенно длинный, спокойный; светлые волосы нелепыми косицами прилипли к окровавленному лбу. Докторша в белом халатике, вытирая снегом руки, говорила бородатому человеку в черном овчинном кожухе, с деревяшкой вместо ноги:

— В какую там больницу! Домой, домой везите, в больнице с ним нечего делать!

— А все ж таки... — неуверенно пробовал возразить бородатый. Он растерянно топтался, его деревяшка с железным наконечником с визгом чиркала по льду. — Вы, товарищ доктор, конечно, не знаете... дядя я ему... все ж таки...

— Ну, что «все ж таки», что? — раздраженно сказала докторша. — Смерть последовала около часа тому назад, понимаете?

— Вот грех-то... ох, господи-батюшка! Все ж таки...

Тревожно сигналя, скользя и буксуя, пробирался грузовик. Участковый Филюшкин надрывался, кричал из кабины, чтобы дали дорогу.

Безмолвно, словно ночная птица, Таня пронеслась

сквозь толпу, без единого крика упала, обняла Виктора да так, прижавшись головой к его груди, и замерла. И сразу все стихло в мире, оборвался рельсовый набат, и ночь, беспросветная, черная ночь покрыла все — дорогу, людей, Виктора...

Карасев и Филюшкин с трудом разжали ее тонкие пальчики, накрепко впившиеся в складки Викторовой телогрейки. Беата подошла, деловито пощупала Танин пульс.

— Вот ее, — сказала она, — давайте скоренько в больницу. — Беата скользнула взглядом по Карасеву, как бы не узнавая его. — Накиньте что-нибудь на девушку... Постойте, постойте! — вдруг крикнула она, видя, что машина, забрав Виктора, выруливает на дорогу. Филюшкин кинулся было, чтобы вернуть, но тут подъехал Засядько на лошади.

— Чи опоздав? — спрыгивая из саней на ходу, крикнул он.

— В самый раз, — сказал Филюшкин. — Давай, берись...

— Танечка?! — изумился Засядько. — Та шо ж це таке?

Таню уложили на солому. Карасев снял свое пальтишко, укрыл ее.

— Вы тоже садитесь в сани, — кивнул он Беате.

— Товарищ Карасев, кажется? — наконец узнала его докторша. — Вы поосторожней везите, — усаживаясь, обернулась она к Засядько, который все еще растерянно и удивленно качал головой.

Скрипя, раскатываясь по косогору, сани тронулись в путь. Карасев и кружковцы побежали следом. Филюшкин, чертыхаясь, без толку нажимал стартер мотоцикла: мотор промерз, он чихал, фыркал, но работать отказывался. В расходившейся толпе послышались смешки. Через минуту несколько человек подхватили мотоцикл с милиционером и, чтобы разогреть мотор, со свистом и гоготом покатили машину по дороге. Стало шумно и весело, точно ничего и не случилось, точно только что не стояли эти люди возле мертвого тела и завалившегося в овраг, перевернутого кверху колесами грузовика...

У въезда в село к саням подбежал сельский дурачок Гулюшка. В рваной телогрейке и железнодорожном картузе, глубоко напяленном на дикие полуседые космы, он

нелепо, точно балуясь, подпрыгивал, перебирал распухшими синими ногами. Глухо позвякивала толстая собачья цепь, которую он для чего-то носил на шее. Гулюшка любил провожать покойников и всегда бежал впереди похоронной процессии, указывая дорогу на кладбище, боясь, что покойника провезут мимо, не там закопают. Сначала он попрыгивал возле саней и, мелко крестясь, картавил, бормотал:

— Цто з вы так-то, без глоба-то, цто з... ах, вы! Ить это цто, стламота, ах, ах!

Потом погрозил Карасеву кулаком: «У, оцкастая молда!» — и забежал вперед, то и дело оглядываясь, подпрыгивая на босых, обмороженных ногах. Ветер трепал Гулюшкину клочковатую бороду, гремела собачья цепь.

— На кладбиссу! — сипло покрикивал он. — На кладбиссу! Куды з вы?

И лишь когда какие-то ребятишки, возившиеся в проулке с салазками, побежали за дурачком, стали хором приговаривать, дразнить его:

Гулюшка, попляши,
Дюже ножки хороши! —

Гулюшка кинулся за ребятами в проулок и отстал.

4.

В конце марта у Чертова лога появились первые отряды строителей. Приезжие ходили по обтаявшим рыжим буграм, на глинистых кручах ставили голенастые треноги, глядели в трубку, с треском разматывали рулетку, считали, мерили, записывали. Ветер заигрывал, рвал из рук большие синие листы чертежей, наползала лохматая сизая тучка, поднимался чичер, дождь, перемешанный со снегом, хлестал по брезентовым плащам, знобил руки. Люди крякали, подставляя ветру спины, дули в кулаки, плясали, чтобы согреться, но упорно продолжали мерить, считать, записывать, забивать в тугую землю белые колышки.

В апреле на Чертовом логу лебединой стайкой забелели палатки, пришли, взревели могучие экскаваторы, и тысячелетняя ракитинская тишина дрогнула, обрушилась, и уж, как видно, навсегда. Стало известно, что возле Чертова лога будут строить чуть ли не самый большой в России завод огнеупорного кирпича.

Строители расселились частью в палатках, частью в наскоро сколоченных бараках, частью по деревенским избам, и как-то очень скоро и незаметно вошли в ракитинскую жизнь. В молодом скверике на площади, где вечерами собиралась ракитинская молодежь, послышались заливистые переборы аккордеона. Машинист экскаватора Толик Ласточкин затмил («загнал в бутылку», — посмеивались ребята) ракитинского гармониста Валентина Рудыкина, забил его голосистостью нарядного, сверкающего перламутром инструмента, репертуаром, затейливой манерой игры, особой какой-то исполнительской хваткой. Над Валентином подтрунивали, но он не обижался, не лез на рожон. Подсаживаясь к Толику, он приглядывался к его технике, иногда просил аккордеон, робко нащупывая клавиши, пытался подобрать какую-нибудь песню. Мало-помалу молодые люди подружились. Валентин, живший со старушкой матерью, перетащил Толика к себе на квартиру. У них нашлось много общего: любовь к музыке, профессия (Валентин работал трактористом), заочная учеба в политехническом институте. Они стали неразлучны: вместе читали, занимались, гуляли, вместе ездили в город на весеннюю сессию заочников. Вернувшись из города, в один прекрасный вечер Валентин появился в сквере с новеньким сверкающим аккордеоном и так лихо хватил марш из «Веселых ребят», что насмешники прикусили языки. Два аккордеона зазвучали не хуже оркестра. В сквере разделали, притоптали площадку, и каждый вечер пошли танцы, на которые потянулась молодежь из соседних сел. Иной раз затевался задорный частушечный разговор, в этом искусстве за ракитинскими девушками угнаться было невозможно, они сыпали экспромтами, сочиняли на ходу.

Однажды компанию прихватил невесть откуда налетевший веселый весенний ливень. С визгом и криками все кинулись под навес пожарного сарая, чтобы переждать дождь, а он, пролившись водопадом, не кончился, а зарядил обложным, ровным, не спеша. Было еще рано, расходиться никому не хотелось. Монотонно шумел по тесовой крыше дождь, звенели, шлепались в лужи струйки стекавшей по желобу воды...

Аккордеон вполголоса замурлыкал матанины припевки, и какое-то время под навесом сыпалась частушечная дробь. Но так ровно, так торжественно шумел дождь, так сосредоточенно-печально звенели струйки воды и так, на-

верно, велико было обаяние этой нежной и вместе с тем могучей музыки, что понемногу смолкли занозистые припевки и тихо стало в сарае.

Тогда кто-то из строителей негромко затянул старинную песню «Славное море — священный Байкал». Так же негромко был подхвачен припев, но в нем точно буря на великом озере разыгрывалась, слышались далекие раскаты грома, гул закипавших белыми гребнями валов...

И оттого ли, что непогожий вечер был как бы сродни этой песне, или запевалы сумели так хорошо начать ее, мало-помалу люди покорились песенной красоте, и голоса всех, кто был в сарае, влились в хор. Многие не знали слов, но это никого не смущало — пели с закрытыми ртами. Когда замер последний звук песни, наступила тишина, только дождь шумел.

— Вот это спасибо! — сказал вдруг, точно из-под земли появляясь, Тимка. — Спасибо, уважили старика!

Он стоял в широких воротах сарая в своем непомерно большом, не по росту, брезентовом дождевике, с которого ручьями лило.

— Я когда на ужин иду, — продолжал Тимка, — меня никакая сила не остановит. А тут, понимаешь, стал: что, думаю, за хор имени Пятницкого? Уважили, уважили старика!

Над Тимкиной выходкой посмеялись: «хор Пятницкого»! Но Валентин сказал задумчиво:

— Пятницкого не Пятницкого, а почему бы и, верно, не сколотить хор? Гляди, какие у нас, оказывается, таланты есть! Сроду не думал, что Петяша со своим басищем так ловко управляется... Шаляпин да и только! А Нюсенька! Ведь это ж, товарищи, просто какая-то Обухова, или, черт ее подери, я уж и не знаю кто!

Засядько смущенно покашлял в темноте, толстуха Нюська фыркнула:

— Сам ты Обухова!

— Павлика Фесенко попросим в художественные руководители, — продолжал Валентин, — композитор, музыкант, — ему и карты в руки...

— Хиба ж Павлухе разорваться? — сказал Засядько. — Вин начальство, у него одних заседаний по пять штук на день. Да и нам — когда? Хор, спектакль... Мы все-таки «Женитьбу» сыграем, ты это учти.

— Чего там — сыграем... Артисты! — ядовито хихик-

нула Нюська. — Накрылась ваша «Женитьба». Полгода тянете, никак не вытянете!

— Тю, скаженна дивчина! — плюнул Засядько. — Так шо ж ты не розумиешь — це не от нас зависит: Виктор разбывся — раз, Танечка занедужила — два... Вот, годи, поправится...

— Да хоть и поправится, в драмкружке вам теперь ее, как своих ушей, не видать!

— Это почему же?

— Да уж вот по тому по самому, — отрезала Нюська. — Спроси у Карасева, он тебе расскажет — почему...

— Ну, ну, будет вам, — вмешался Валентин. — Петяша с Нюсенькой как сойдутся для приятного разговора, так с них аж перья летят. Тут, друзья, другое дело... — задумчиво сказал он.

— А ну его! — сердито передернула плечами Нюська. — «Скаженна, скаженна»! — передразнила она Засядько. — Сам ты скаженна дубына!

— Сдаюсь, сдаюсь! — засмеялся Засядько. — Яке ж таке дило? — обратился он к Валентину.

— Такое, Петяша, что какое-то место для спевок нужно, а у нас, кроме этого сарая, ничего пока на примете не видно. Скажешь — нет?

— Место, собственно, есть, — усмехнулся Толик, — да крыши над этим местом нету.

— На клуб намекаешь? — спросил Валентин. — Уж ты-то, брат, хоть не ехидничай. Вон Витька, бедняга, за него жизнью поплатился, в этом Чертовом логу погиб... а толку что? Половина шифера покололась, половину в кладовку сложили и — стоп! Кровельщиков, видишь ли, опять нету. Не-ет, пока у нас клуб достроят...

— Мы уси в тим бисовом логу будемо! — сострил Засядько.

А дождь лил, лил, казалось, он и не кончится никогда. Спели еще несколько песен, наперекор печальному шуму дождя хватили отчаянную «Калинку-малинку». Польщенный похвалой Засядько ревел, как медведь. Когда стали расходиться, аккордеон неожиданно перешел на частушечную скороговорку, и Нюська выпалила:

Мой залетка запевает,
Его слушает народ,
Народ слушает, гадает —
Не бугай ли то ревет!

От дружного хохота зазвенело висевшее на стене ведро.

— Ось язва! — крякнул Засядько, прикрывая Нюську пиджаком. — Я ж тоби, сэрдэнько, припомню...

Сначала все шли гурьбой, но, пересекши площадь, стали разбиваться — кому куда. Пары исчезали, словно растворялись в колеблющемся от дождя полумраке; смех, девичьи вскрики еще слышались какое-то время, потом все затихло, лишь ровный шум стоял над селом от множества бурных ручьев, сбегающих вниз по нагорным улицам.

Засядько и Нюся шли молча. Когда они оставались вдвоем, прекращались их вечные споры, куда девалась Нюськина задиристость, и перья уже не летели. Так уютно было под широченным Петяшиным пиджаком, так хорошо поглядывать в щелочку на огромный, потонувший в мокрой темноте мир и так надежно, крепко казалось могучее плечо друга...

Сердитый, шумный поток преградил их путь на одной из нижних улиц. «Батюшки!» — ахнула Нюська. Петро осторожно, легко поднял ее и перенес. У калитки, под тесовым навесом ворот, еще немножко постояли (куда было спешить? Все равно оба — мокрехоньки...), и, уже прощаясь, Засядько вспомнил про Таню и спросил, откуда это Нюся взяла, будто она не вернется в драмкружок?

Давеча с Васькой Карасевым повстречалась, — сказала Нюся.— Идет печальный, голову опустил, чуть на меня не налетел. Я его окликнула, говорю: «Что, Вася-Василек, головушку повесил?» — «Эх, говорит, Нюсенька, такие дела, такие дела творятся!» — «Какие, мол, такие дела?» — «Такие, говорит, что я и сам не пойму!» Оказывается, ходил он в больницу эту вашу преподобную Танечку проведать... Ну, о том о сем...

— Постой, постой,— перебил Засядько,— да разве ж она все еще лежит?

— Какое лежит! Давно ходит.

— Так якого ж биса она тогда в больнице? — удивился Засядько.

— Докторша не выписывает, говорит, покой нужен. Ох, эта докторша! Это еще та вреднючка! — Нюська что-то шепнула на ухо Петяше.

— Да ну! — воскликнул он.

— Вот тебе и ну! Так вот, он, Вася-то, Таньке — о том, о сем, разные новости, а она, эта ваша примадонна, глазки опустила (тьфу, кривляка!), сидит чисто кукла —

ни бе, ни ме, ни кукареку... Васютка-то, сам знаешь, деликатного воспитания мальчик, видит такое дело, стал прощаться. До свиданья, говорит, Танечка, поправляйся, опять, говорит, помаленьку начнем «Женитьбу» репетировать, у нас, говорит, и сваха теперь есть отличная... Кого это вы в свахи нашли? — перебивая сама себя, живо спросила Нюся.

— Да там одна,— неопределенно махнул рукой Засядько,— табельщица со строительства...

— Ишь ты! — ревниво покосилась Нюська.— Ну, ладно, черт с ней... В общем, мол, приходи, говорит, Танечка, поскорей. А она ему — бряк. «Нет, говорит, Вася, вы не обижайтесь, только играть я больше не буду...»

— Так и сказала?

— Да вот так и сказала.

— Чудеса! — покачал головой Засядько.— Неужто правда, докторша-то?

— Ну, я ж тебе сказала, что за птичка... Да уж и Танька хороша! Не понимаю, чего вы с ней носитесь, подумаешь, Юлия Борисова какая! Ой, мамочка! — взглянув на светящийся циферблат ручных часиков, воскликнула Нюся.— Первый час! Ну, я побежала, а то просплю завтра... Я б тебе кое-что поподробней про эти дела рассказала, да поздно... в другой раз!

Она выскользнула из-под пиджака и юркнула в темноту двора.

— Ты у меня смотри, с этой новой табельщицей-то! — погрозила она кулаком, захлопывая за собой калитку.

Петро не знал, что и подумать. Медленно, не разбирая дороги, прямиком через ручьи и лужи побрел домой. «Ось не задалась нам эта «Женитьба»! — огорченно думал он. — То то, то друге... а уж с Танечкой и вовсе: занедужила — беда, а це, шо Нюська казала, так то, дывись, наикрашче еще раз занедужить, тилькы б не було такого...»

В это время на противоположном конце Ракитина в небольшой, чистенько и заботливо прибранной комнатке сидели Валентин и Толик. Они только что вернулись, разделись и, расположившись на койках в одних трусах, курили. Валентинова мать, ворча, развешивала в кухне их мокрую одежду. Из приглушенного репродуктора неслись неясные шумы: включили Красную площадь. Кремлевские куранты в далекой Москве пробили двенадцать.

— Спать пора, полуношники! — приоткрыв дверь, сказала мать.— Чего свет без толку жечь...

В темноте еще звонче, еще явственней слышался лепет дождя; сверчок в кухне завертел надоедливую скрипучую дрель, и чем-то встревоженная, дико, страшно, дурным голосом закричала ночевавшая в сенцах больная гусыня; за перегородкой четко, неутомимо тикали ходики...

— Спишь? — спросил Валентин.

— Да задремал было,— зевнул Толик.— Гусыня проклятая разбудила.

— Знаешь,— сказал Валентин,— у меня одна идея есть...

— Ну? — сонно отозвался Толик.

— Что если мы сами, своими силами достроим клуб?

— Кто это — мы? — усмехнулся Толик.— Ты да я, что ли?

— Зачем — ты да я? Ребята. Девушки... Все. Слава богу, вечерами нас собирается вон сколько! Я знаю, уверен, все поддержат! Как?

Толик заворочался, чиркнул спичкой, закурил.

— Идея, — сказал он, — не так уж чтоб сногсшибательная... но зерно в ней есть. Значит, вместо танцев — ты так соображаешь? Пожалуй, получится.

— Факт, получится! — воскликнул Валентин.— Да еще как получится-то! Завтра же пойду в райком — и никаких! Павлик поддержит, факт!

5.

Пошел третий месяц с того скорбного вечера, когда Таню увезли в больницу. Болезнь ее оказалась очень тяжела, временами жизнь бедной девушки висела на волоске. Больше шести недель Беата никого, кроме родителей, к ней не пускала.

Так прошел апрель, расцвел и уже отцветал май. В распахнутые настежь окна больницы врывался крепкий, опьяняющий дух весны, вековечная радость возрождения чувствовалась во всем: в ветках старой черемухи, густо разросшейся перед большой верандой, в легком, ласковом ветерке, играющем с белоснежной марлевой занавеской, в заливистом чокоте соловьев, в трогательнс тоненьком серпике молодого месяца на чистой вечерней заре...

Бледная, похудевшая, прямо-таки прозрачная, бродила Таня по больничному коридору, подолгу лежала в шезлонге на веранде. Спускаться в сад Беата не разрешала: там еще стояла сырость. Болезнь ушла, но радости от выздоровления Таня не чувствовала. Какое-то безразличие охватило ее; точно в полусне, точно сквозь туманную дымку проходили яркие, сверкающие дни. Ничто не трогало Таню, ничто не радовало, она жила как бы оглохшая и ослепшая. И лишь иной раз бессонной ночью в равнодушном сумраке палаты так точно, так отчетливо возникало в памяти звездное, холодное небо, звонкий хруст льдинок под ногами, черные фигуры людей, обступивших странно неподвижное тело лежащего на брезенте Виктора...

От Таниного крика просыпалась соседка по койке старушка Фекла Степановна, «бабка Феша», как ее попросту звали в Ракитином. Большая, костлявая, в длинной белой рубахе, подходила она к Тане и, думая, что это у нее во сне, поправляла подушку, крестила широким крестом изголовье и громко шептала: «Да воскреснет бог, и расточатся врази его... яко тает воск от лица огня...»

Привидевшееся исчезло. Перед Таниными глазами снова была палата, серебристый от лунного света четырехугольник окна, похожая на призрак бабка Феша... И Таня плакала тяжело, беззвучно, долго и лишь на рассвете засыпала, забывалась трудным, необлегчающим сном, с темными дорожками от слез на бледных щеках.

Странное дело, еще когда болезнь мучала Таню тяжелым гнетом бредовых видений, ей часто чудилась отдаленная дивная музыка. Таня даже как-то уже и привыкла к ней, считала ее неотделимой частью болезни, как пот, как пересыхающие губы, как гулкое, неприятное биение измученного жаром сердца. С тех пор как Таня стала на ноги, как хоть медленно, но упрямо молодой организм потянулся к выздоровлению, как прекратились кошмары и сон сделался нормальным, музыка заглохла, казалось, ушла вместе с болезнью.

Но вот однажды поздно вечером, когда бабка Феша уже спала, Тане опять почудились далекие, приглушенные звуки музыки. Чистая, плавная мелодия как бы вместе с лунным сияньем проникала в палату. Что-то невыразимо-прекрасное, прямо-таки неземное, было в ясном и торжественном звучании не то хора, не то оркестра... Потом низкий женский голос послышался:

По небу полуночи ангел летел,
И тихую песню он пел...

«Это я, наверно, уже сплю,— подумала Таня.— Но как хорошо, как легко... Играй, вот так, играй, пой, а я буду слушать... Ну, как там дальше? И месяц, и звезды...»

И месяц, и звезды, и тучи толпой
Внимали той песне святой... —

послушно пропел все тот же голос, и снова волны изумительной музыки вплыли в открытое окно и растеклись, растаяли в призрачном воздухе палаты. Так прозвучала вся песня, и, покуда она не кончилась, Таня боялась пошевелиться, боялась спугнуть очарование. Но наступила тишина, только соловьи заливались, щелкали, высвистывали, вели свою сумасшедшую перекличку. Бабка Феша заворочалась, застонала: «Ох, господи-батюшка, царица небесная!» И Таня так и не поняла, чем же было то, что она только слышала, — сном или явью?

Утром пришла Беата с термометрами — строгая, молчаливая, как всегда, спросила, как спали, как самочувствие.

— Ох, ягодка,— пропела бабка Феша,— уж спали, так спали... Дома так не поспишь!

— Скоро, бабушка, дома будете спать,— улыбнулась Беата.— Денька через два выпишем.

Бабку, кажется, не обрадовало это известие, а Таню так даже огорчило.

— Опять одна останусь,— жалобно вздохнула она.

— Ничего, Танечка,— Беата присела к Тане, ласково погладила ее по голове, поправила прядку волос.— Уж я как-нибудь позабочусь, чтоб вы не скучали. Будем немножко петь вечерами, немножко музицировать, хорошо? Ведь вы любите музыку, правда?

Таня молча кивнула головой.

Вечером Беата повела ее к себе. Таню поразила монашеская скудость Беатиной обстановки, мертвое голубоватое сияние лампы, белые табуретки, неуклюжий шкафчик, распятие... Неуютностью, холодом веяло от всего. Трудно было представить себе, что вот за этим столом сидят, пьют чай, смеются, спорят. Даже распахнутое настежь окно не оживляло комнаты: оно упиралось в чисто выбеленную, скучную, плоскую стену больничной кладовой.

Остальные два окна были закрыты и плотно завешены темно-синими тяжелыми плюшевыми гардинами.

Тане сразу стало не по себе в этой голой комнате, ей даже немножно страшно сделалось, и она уже искала какой-нибудь предлог, чтобы уйти в палату, где все до последнего гвоздика было привычным, своим, где сладко посапывает бабка Феша, а за окном — деревья, луна, соловьи... Но Беата так заботливо усаживала Таню на ковровый топчан, так старалась устроить ее поудобней, даже сбегала в больницу за лишней подушкой, что уйти положительно показалось неловко, и Таня покорилась докторшиному гостеприимству. Да, надо сказать, что она еще слаба была после болезни и, взволнованная впечатлениями, слегка устала.

— Вот так, вот теперь отлично,— подсовывая за Танину спину подушку, приговаривала Беата.— Отдохните, милая, успокойтесь... Выпейте вот это. И простите меня, я на минутку оставлю вас.

Она подала Тане розовую рюмку, до половины наполненную темной жидкостью, и, подождав, когда та выпьет, ушла. Откинувшись на подушки, Таня вдруг ощутила необычайную легкость во всем теле, чувство благодатного покоя охватило ее. Она поудобнее вытянула ноги и закрыла глаза: очень уж ярко сияла похожая на лилию лампа. «Что же это я такая легкая сделалась? — удивилась Таня.— Вот сейчас, кажется, возьму и повисну в воздухе и буду висеть... нет, правильней сказать, реять буду под потолком...» Она представила, как войдет Беата, а она — под потолком! Ей сделалось смешно и вдруг захотелось петь, петь...Дивная вчерашняя музыка возникла в памяти. «По небу полуночи ангел летел»,— запела Таня мысленно, про себя, и сразу зазвучал слышимый только ей одной аккомпанемент — торжественно, властно, умиротворяюще...

Увлекшись, вся уйдя в могучий мир музыки, Таня не слышала, как легонько скрипнула дверь, как в комнате появилась Беата. Она, впрочем, очень осторожно, бесшумно вошла, мягко, как кошка, ступая войлочными тапочками, мельком взглянула на Таню, открыла крышку фисгармонии и, приглушив модератором звук, тихо-тихо взяла аккорд.

И получилось так, что Тане все еще какое-то время казалось, будто музыка звучит в ее мыслях, и она даже удивилась, как отчетливо работает воображение. Но Беата

подвинула рычажок модератора, звуки хлынули во всю мощь. Таня открыла глаза и чуть не вскрикнула от изумления: то, что она приняла за шкафчик, оказалось каким-то похожим на пианино инструментом, за которым сидела докторша Беата Адамовна... Ее маленькие крепкие руки плавно поднимались и опускались на желтоватые клавиши, творили сущее волшебство: гремел невидимый хор, нежно пели флейты, и строго, торжественно и могуче звучали медные трубы...

Во все глаза глядела Таня на это новое диво, слушала, как и вчера ночью, боясь пошевелиться, боясь, что вот взглянет Беата на нее — и бросит играть, начнет скучно расспрашивать о здоровье, о том, как спалось, какая температура. Но нет, Беата, казалось, забыла о девушке: вдохновенно подняв голову, всем своим крепким телом как бы устремившись ввысь, она словно приготовилась к полету с грешной земли, одни руки, соединенные с клавиатурой, удерживали ее... Наконец она запела. Это был тот самый низкий, чуть надтреснутый голос, который пел вчера, да и песня была та же — про ангела, несущего человеческую душу:

Он душу младую в объятиях нес
Для мира юдоли и слез, —

пела Беата, и Таня, сама этого не замечая, стала вторить своим тоненьким голосом, и слезы текли по ее щекам, но она не чувствовала их — так было ей хорошо, легко и необычайно.

И звук его песни в душе молодой
Остался без слов, но живой...

Таня знала эти лермонтовские стихи, но — странное дело! — они прежде не производили на нее впечатления. Как всем нашим молодым людям, ей чужда была мистика, она никогда не задумывалась о боге: слишком уж нелепо, слишком отвлеченно казалось ей это понятие. Отец и мать были неверующие, ни один из религиозных праздников дома не отмечался; больше того, два раза в год, на рождество и пасху, Танин отец Викентий Петрович Гусаров, будучи членом Общества по распространению политических и научных знаний, писал для районной газеты атеистические статейки и выступал по местному радио с лекциями на тему «Сущность религиозных праздников»

или «Что такое христианский праздник пасхи». В семье Гусаровых бог разве только на кухне ютился, где доживала свой долгий век Танина бабушка, Викентия Петровича мать. У нее был крохотный уголок за печным выступом, где стояла ее кровать, и там висела отделанная серебряной фольгой иконка, изображающая какого-то темнолицего старичка с маленькими сердитыми глазками, к которому бабушка обращалась так: «Святителю отче Микола̀е»... Да ведь такого бога смешно, разумеется, было принимать всерьез, на него просто не обращали внимания.

Но что делает музыка! Как неожиданно по-иному зазвучали давно знакомые стихи, как прекрасен вдруг стал этот светлокрылый, летящий в звездном тумане ангел! Какой таинственной поэзией наполнился казавшийся до сих пор мертвым образ, а главное, как ярко, как ослепительно сверкнула мысль о том, что не есть ли все это, так свежо и глубоко перечувствованное вчера ночью и вот сейчас, не есть ли это проявление того действительно «великого бога», о котором пел лермонтовский ангел? О, это уже не сморщенный, сердитый старичок, нарисованный на дощечке и украшенный наивными фольговыми завитушками, старичок, которого бабушка называла смешным словечком «святителюотчемиколае»... Это... это...

— Великий бог! — все так же глядя вверх, строго сказала Беата. — Как хорошо, как верно...

Она искоса посмотрела на Таню. Закрыв глаза, та неподвижно сидела, откинувшись на подушки. Было похоже, что она спала, только слегка вздрагивали губы, на бледных щеках нежными пятнышками горел румянец да из-под темного полукружия опущенных ресниц текли длинные, чистые капельки слез.

6.

Следующий день начался, как и всегда, рядом маленьких больничных дел и развлечений: умывались, завтракали, ставили градусники, отвечали на строгие Беатины вопросы. Она пришла молчаливая, как обычно, замкнутая, посидела возле бабки Феши, покачала головой, взглянув на ее термометр: почему-то снова повысилась температура, выписывать было нельзя.

— Полежу, видно, еще маленько, — довольно сказала бабка, — небось не объем. Зинушка-внучка в пионерском

лагере находится, мне об ней не заботиться. А я полежу, ничего.

Тане Беата ни словечка не молвила, только улыбнулась и поглядела ласково. И взгляд, и улыбка говорили: «Я — твой друг и союзница, нас с тобой соединяют никому не видимые нити, и то, что было вчера, — это только первое звено в длинной цепи нашего прекрасного духовного общения...»

После обеда в палате появилась новенькая — горбатая девушка Сима, официантка из чайной. У нее было милое личико, чудесные, широко, удивленно раскрытые серые глаза. Придя в палату, она сразу легла, отвернулась к стене и тяжело, как дети после плача, вздыхая длинными, двойными вздохами, всем видом своим показала, что просит оставить ее в покое, что ни с кем не желает говорить. Таня отлично поняла это, но бабка Феша, примостившись в ногах у Симы, завела бесконечный разговор, пристала с расспросами. Сначала Сима неохотно, отрывисто отвечала, и Таня с досадой поглядывала на бабку: неужто ж не видит, что тяжело, не до болтовни человеку! Вдруг Сима заплакала, и бабка Феша забормотала, забубнила, видно, утешая ее. Потом горбатенькая успокоилась, затихла и стала о чем-то шепотом, горячо рассказывать. Бабка охала, всплескивала руками, качала головой...

Вскоре, утомленная и вместе с тем облегченная плачем и откровенными признаниями, Сима заснула. Через минуту Таня узнала печальную историю горбатенькой: влюбилась в почтаря Ленечку, белобрысого красавчика; месяца два шлялся он в чайную, обпил, объел девку, ну, конечно, попользовался; Симка-то возьми да забрюхатей, рожать ей, стало быть, по причине горба нельзя, значит, надо выкидыш делать; она, конечно, к своему красавчику: так и так, голубчик Ленечка, как быть, что делать? А он ей: «Какое, говорит, мое дело, и при чем тут, позвольте спросить, я? Мало ты с кем в своей чайной по пьяному делу путалась!»

— Вот так-то нашей сестре приходится! — вздохнула бабка Феша. — Обпил, объел и — «какая, говорит, моя дело!» Ох, я все про Зинку про свою... Тоже вот подрастет, заневестится — гляди да гляди...

Наступил вечер, легкие облака над садом сделались розовыми и золотыми. Коровий рев послышался, пистолетными выстрелами захлопал кнут, звонкий женский голос

звал «Зорьк! Зорьк! Зорьк! Зорьк!» В соловьиную перекличку врезались переливы аккордеона. Потом деловито, степенно застучал движок, над деревьями сверкнул тонкий серпик месяца. В палате зажглась, замигала лампочка, тетя Паша принесла ужин.

— Вот тебе раз! — сказала она, ставя на тумбочку возле спящей Симы тарелку с манной кашей. — Кто ж за нее ужинать-то будет?

— Давай я, что ли, съем, — живо отозвалась бабка Феша. — Я, милка, до этой каши темная любительница!

После ужина Таню пришли навестить Карасев, с огромным букетом сирени, и мать. Тетя Паша не пустила Карасева, сказала официально: «Свидания — по субботам, распорядок нарушить не могу». Но букет взяла и передала Тане вместе с запиской: «Милая Танечка! Поправляйся скорей, есть сваха, будем продолжать репетиции. Все наши тебе кланяются».

Мать посидела недолго. Она вздыхала, рассказывала про мелкие и неинтересные домашние дела: погрѐбица обвалилась, какой-то озорник Викентий Петровичеву лодку угнал за три километра, аж к самому Чертову логу, а из-под двух гусынь всего пять гусят вывелось, остальные болтуны.... От матери, как всегда, пахло молоком и мятой. Прежде Таня любила этот запах, этот неспешный материнский разговор о том, о сем, а теперь ей было все равно, все — скучно: погребица, гусята... Ей вспомнилось устремленное к небу Беатино лицо, сладостные, полные глубокого смысла величественные звуки музыки... И такими ничтожными, такими мелкими показались — и домашнее житье, и карасевская сирень, и репетиция «Женитьбы»!

Мать ушла. Покряхтев, побормотав, бабка Феша захрапела. А Тане не хотелось ложиться. Она подумала: придет ли Беата? Придет, конечно. Таня почему-то была уверена в этом. Она чувствовала, что их тянет друг к другу. И вдруг захотелось испытать — так ли неотвратимо их свидание? Накинув халатик, Таня осторожно, стараясь не скрипнуть половицей, прокралась по коридору на веранду и спустилась в сад. Там было одно славное место — шаткая скамеечка в самом дальнем углу, возле кособокой заброшенной хибарки. Дикий терн разросся кругом, лопухи, крапива, самое соловьиное место, глухое, чуточку жуткое даже... Таня уселась на скамейку, стала ждать — придет или нет?

Было тихо, только стучал движок да за рекой, на ферме, видимо, потревоженные чем-то, враз загалдели и умолкли утки. Какой-то зверек, еж, а может, и кошка, шмыгнул в лопухах. Таня вздрогнула, замерла. «Господи, какая я дура! Еле ползаю, а туда же — ночью в сад... Какие-то глупости вообразила себе...»

Она встала, чтобы уйти, лечь спать, но, не успѐв сделать десяти шагов, встретила Беату.

— Господь указал тебе прийти сюда, — сказала Беата .— И ты ждала меня, правда?

7.

В субботу Карасев добился-таки свидания. Путаясь в полах огромного больничного халата, страшно смущаясь, он неловко сунул Тане сверточек с конфетами, буркнул: «От ребят...» — и отчаянно покраснел, потому что соврал: ребята тут были ни при чем.

По дороге в больницу Карасев прикидывал в уме, что необходимо было сказать и рассказать Тане, и всего набиралось столько, что какой-нибудь час, положенный для свидания, казался слишком уж коротким сроком.

Таня повела Карасева на веранду, и там, сидя на белой, необычайно высокой и неудобной больничной табуретке, Карасев пытался собраться с мыслями и не мог, все нужное начисто вылетело из головы, осталась одна совершенная чепуха: сознание того, что он, верно, смешон в этом нелепо просторном халате; что быть влюбленным в Таню, когда она только что пережила потерю Виктора,— это подлость по отношению и к ней, и к памяти друга; что совершенно непонятно, как у рыхлого, вечно сонного, похожего на старую бабу Викентия Петровича Гусарова могла быть такая изумительно красивая, умная и талантливая дочь... Наконец, вся неловкость его положения отчетливо представилась Карасеву: пришел, уселся и молчит. «Да говори же, черт!» — обозлился он на самого себя, откашлявшись, сказал чужим, ненатуральным голосом: «Чудесная, Танечка, погода стоит», — и с ужасом понял, что брякнул глупость, нечаянно повторив гоголевского Подколесина.

Таня не рассмеялась, она только опустила ресницы. Проклиная свою застенчивость, Карасев растерянно озирался, словно ища спасения, словно оно должно было прий-

ти из густо разросшихся у веранды черемуховых кустов. И оно, действительно, пришло оттуда. Собственно, даже не пришло, а выпорхнуло и уселось на бурых некрашеных перилах веранды. Это была крохотная хлопотливая птичка — зяблик. Пробежав вприпрыжку от столбика к столбику, зяблик взъерошился, встряхнулся, поискал толстеньким клювом в покрытой красноватой ржавчиной грудке, еще разок встряхнулся и весело чирикнул. «Брось, брат, мудрить-то, — сказал он Карасеву, — вот, как я, попросту разговаривай!» И улетел.

Карасев с улыбкой поглядел ему вслед.

— Как мы все по тебе соскучились, милая Таня, — сказал он.

И, как научил его зяблик, стал говорить попросту: рассказал про новых своих друзей со строительства, про то, как Валька Рудыкин овладевал аккордеоном, как Петро Засядько с толстой Нюськой все вздорят, а, кажется, все-таки поженятся, как, прослышав про драмкружок, пришли к нему строители и среди них оказалась отличная Фекла — Анна Митрофановна, табельщица, себя поперек шире, но как играет! Прямо народная артистка, черт ее побери!

Таня вежливо слушала, но очень уж как-то безразлично, без интереса. Карасев спохватился, что, верно, она еще слаба, он утомляет ее, и осекся. Но в ветках черемухи чирикнул зяблик, Карасев рассмеялся и сказал:

— Вспомнил, как я твою врачиху приходил приглашать и как она меня чуть ли не выгнала, ей-богу! Что она — не того? — он постучал пальцем по лбу.

— Как вы смеете! — вспыхнула Таня, отвернувшись, и так нахмурила тонкие черные брови, так мельком глянула на бедного Карасева, что у того словно язык к горлу прилип.

Он смутился, понял, что не то и не к месту сказал, начал придумывать, каким бы путем половчей перевести разговор на другое, но еще хуже запутался, совсем растерялся, и как зяблик ни подсказывал ему из черемуховых кустов — ничего не помогло. Карасеву показалось, что неловкость в разговоре о врачихе получилась оттого, что ходил-то он к ней в т о т вечер, когда разбился Виктор, и таким образом, помимо своего желания, напомнил про это, разбередил Танину рану. И еще оттого, что ведь как-никак, а все-таки проклятущая Беата вылечила, выходила Таню и

та, разумеется, ей благодарна, а он возьми да и брякни — «не того!»

Не сумев перевести разговор, вовсе убитый Карасев стал прощаться. Полой халата он зацепился за табуретку, и та с грохотом рухнула на пол.

— Ах, это вы, товарищ... Карасев, кажется? — неожиданно появляясь в дверях, надменно процедила Беата. — Что это у вас здесь происходит? Танюша, не надо переутомляться, деточка! — она этак сбоку метнула пронзительный взгляд в сторону оторопевшего Карасева и ушла, застучала каблучками по чисто выскобленному полу больничного коридора.

Тане стало жаль Карасева.

— Спасибо, Вася, что зашли, не забыли, — сказала она, прощаясь.

— Как... забыть! — захлебнулся Карасев. — Да я... э, что там! — он густо покраснел, махнул рукой и быстро пошел к двери.

— Вася! — негромко позвала его Таня.

Карасев обернулся с порога.

— Что, Танечка?

— Не сердитесь на меня, милый Вася,— прошептала Таня.— Я хочу вам сказать...— она запнулась, у нее словно дыхание перехватило. — Хочу сказать... вы не ждите меня! Я много думала, и я решила... В общем, вы как-нибудь без меня обойдитесь в спектакле... Я больше не буду играть на сцене...

— Что-о?! — обомлел Карасев. — Не будешь играть в кружке?

— Ни в кружке, нигде... И ради бога не расспрашивайте, я сама не знаю, что со мной! — Таня всхлипнула. — Не ругайте меня, Вася, милый! Мне и так тяжело...

— Пора, пора! — снова появилась в дверях Беата. — Нет, что же это такое? — взглянув на плачущую Таню, сердито сказала она. — Пришел, расстроил бедную девушку, а ей еще так нужен покой... Идите, идите! — прямо-таки как змея зашипела она на Карасева. — Какое бессердечие! Какое бес-сер-де-чи-е!

Последнее слово Беата точно по нотам пропела: бес-сер-де-чи-е!

Карасев лунатиком прошел по коридору и только на крылечке опамятовался, почувствовав, что кто-то дергает

его за рукав. Он оглянулся. Перед ним, улыбаясь во весь рот, стояла тетя Паша.

— Куда ж тебя, парень, несет в халате-то?

Карасев недоуменно глядел на нее.

— Халат, говорю, сымай, нешто так в нем и по улице пойдешь?

— Ах, да! — очнулся Карасев, быстро, неловко сорвал с себя осточертевший балахон и, не оглядываясь, зашагал вдоль деревенских палисадников.

Тетя Паша кисла от смеха, глядя ему вслед.

8.

«Что же это с ней приключилось? — думал Карасев о Тане, взбираясь по узенькой тропинке на речную кручу.— Болезнь? Все еще не зарубцевавшаяся рана пережитого? Нет, не болезнь и не пережитое, — ответил он сам себе.— Но что?»

На гребне горы погуливал ветер, гнул к земле жирные колючие палки еще не расцветшего татарника, поднимал на дороге бурунчики розоватой пыли. Пересекая небо ровной белой стежкой, набирал высоту невидимый самолет. Далеко внизу на ослепительном зеркале затона чернела лодочка: бакенщик Михайла Иваныч возился со своими вентерями. И на тысячи, тысячи верст раскинулась вдаль и вширь родная земля — с озерами, перелесками, неохватными полями, с большими и малыми селами, в которых уже редко-редко где белеет исконная колокольня, а чаще— стройные, узорчатые, высятся железные башни ветряков...

Карасев лег на самом краю обрыва. Он глядел в родную просторную даль и как бы впитывал в себя ее величавое и мудрое спокойствие. Ветерок хорошо, ласково обдувал разгоряченное лицо, с дружеской шутливостью стеблями трав щекотал шею, тихонько посвистывал в ушах. Понемногу сумятица мыслей и чувств улеглась, и Карасев попробовал разобраться: что же, собственно, произошло? Да, что произошло?

На первый взгляд, как будто бы и ничего. Таня была молчалива, потом обиделась за Беату. Потом сказала, что не будет играть на сцене. Потом заплакала. Вот и все. Начнем рассуждать логически. Первое: Танина молчаливость легко объяснима горестными воспоминаниями о Викторе. Второе: ее обида за докторшу вполне естествен-

на. Какое дело Тане до того, что Беата не пожелала участвовать в спектакле? Зато она лечила и вылечила ее, говорят, прямо-таки спасла от смерти. И, наконец, третье: отказ от сцены (что больше всего взволновало Карасева). Если спокойно разобраться, объяснимым станет и отказ. Еще свежа боль утраты, еще забвения, одиночества хочет душа, какая уж тут сцена! Смешно и говорить об этом!

Вот так. Все разобрано, все объяснено, чего же еще? «Ох, нет, не все! — вздохнул Карасев. — Есть все-таки одно таинственное и необъяснимое: сама Беата...» С прозорливой подозрительностью ревнующего влюбленного Карасев почуял какую-то темную, неясную роль ее и в Таниной замкнутости, и в неожиданном решении не играть, во всем вплоть до причины, вызвавшей внезапные слезы... А как эта распроклятая докторша следила за ним и Таней во время свидания! Дважды, как змея, выползала она на веранду, но Карасев был уверен, что она все время где-то за дверью подслушивала. Он ненавидел Беатины холодные глаза, гладкую, прилизанную на прямой пробор прическу, чуть надтреснутый голос, ненавидел всю, всю ее, ставшую вдруг глухой стеною между ним и Таней. Все с той же прозорливостью влюбленного Карасев чуял, как сильна Беата в своей власти над Таней и как перед нею подавлена, как слаба Таня... Но в чем заключалась Беатина сила и для чего ей понадобилось применить ее к больной, исстрадавшейся девушке — вот этого Карасев никак не мог понять. Собственно, что он знал о Беате? Ничего. Что говорили о ней другие? Да тоже ничего особенного: с больными обходительна, в больнице у нее чистота; больничный сад, очень, надо сказать, запущенный, старается привести в порядок, по ее настоянию райком комсомола ранней весной организовал воскресник: расчищали дорожки, вырубали густо разросшийся бурьян. Ну, что же еще? Строга, говорят, молчалива, ни с кем не водит дружбы, ни к ней никто, ни она ни к кому, живет как монашка... «Стоп! — вскочил Карасев. — Неужели? Да нет, быть того не может: советский врач, и все такое...» Но вдруг отчетливо возник в памяти тот мартовский вечер у Беаты: величественные звуки похожей на богослужение музыки, распятие на чисто выбеленной стене... «Нет, нет! — отмахнулся Карасев. — Не может быть, тут что-то другое, но что? Что?»

Он встал и медленно побрел назад в село. День бли-

зился к вечеру. Солнце спряталось за большое сизое облако, сусальным золотом плеснув на его края. Ровная синяя туча надвигалась с запада. «Похоже, дождь соберется, — подумал Карасев, — что ж, это хорошо, дождь нужен...»

— Поспешай, Васенька, костюмчик намочишь! — догоняя Карасева, крикнула Нюська. — Что это ты такой, словно тебя мешком из-за угла прихлопнули?

Она мчалась на велосипеде, веселая, раскрасневшаяся от быстрой езды, с огромной вязанкой веток, цветов и травы на багажнике. Поравнявшись с Карасевым, Нюська соскочила с велосипеда и пошла рядом.

— Корове? — кивнул Василий на зеленую связку.

— Сам ты корова! — фыркнула Нюська. — Троица завтра, Васенька! Мы с мамой всегда на троицу избу цветами, ветками украшаем, траву по полу раскидываем.

— Вы что ж — верующие, что ли? — насмешливо покосился Карасев.

— При чем тут вера, вот чудак! Просто прекрасный обычай: красиво и запах чудесный, как в лесу.

— Все-таки, — поморщился Василий, — ломать ветки, портить деревья... Дикий, в общем, обычай.

— Сам ты дикий! — надула губы Нюська.

— Слушай, — возмутился Карасев, — что у тебя за манера возражать: «сам корова», «сам дикий»... Ты отвыкай, пожалуйста, от этого. А корни все-таки у твоего прекрасного обычая — в религии, это уж факт, тут ты не спорь.

— Вот прицепился, нашел религию! — засмеялась Нюська. — Ну, допустим, мамаша у меня все эти праздники, верно, почитает: лампадки у ней и все такое... Да это — вздор, чепуха! Подумаешь — лампадки! Я вот вчера в Горелое ездила к тетке (тетка у меня в Горелом, материна сестра — пояснила она), так вот там, действительно, религия, ничего не скажешь!

— Да, у них там церковь, черт знает что!

— Скажешь — церковь! Церковь — это что! Там у них, Васенька, какая-то религиозная самодеятельность, ей-богу! Пророк, или как там его, забыла... ну, в общем, проповедник, что ли, объявился: за бога себя выдает, и богородица при нем есть... И они там песни разные свои поют, пляшут, ей-богу!

— Да откуда ты все это знаешь?

— Тетка рассказывала. Она сама к этому пророку бегает. — Нюська вдруг расхохоталась. — И меня уговаривала, ей-богу! Так уговаривала, так уговаривала! А я не пошла.

— Чего ж не пошла? — усмехнулся Василий. — Из тебя, знаешь, какая богородица вышла бы! Две даже.

— Сам ты богородица! — Нюська притворно-сердито хлопнула по плечу Карасева.

— Опять? — покосился Карасев.

— Не буду, не буду! — замотала головой Нюська. — Это, Васенька, у меня в привычку вошло.

— Отвыкать надо, — хмуро сказал Карасев.

Недалеко от села они встретили Беату. Докторша одна, без кучера, ехала в обшарпанном тарантасе. Серый большой мерин лениво бежал, гулко екая селезенкой. Карасев и Нюська посторонились, но Беата на них и не взглянула.

— Ох, держите меня! — давясь смехом, еле выговорила Нюська.

— Чего это ты развеселилась? — удивился Василий.

— Ох, не могу!..— Нюська повалилась на траву вместе с велосипедом. — Ох, девочки...

— До чего ж ты все-таки шальная девка! — с досадой сказал Карасев, помогая Нюське подняться... — Ну, что это на тебя напало?

— Так ведь... ох, не могу! Так ведь она же к пророку поехала!

— Кто она?

— Да докторша-то! Я тебе сказать забыла, она тоже в этой ихней... самодеятельности...

— Что-о?!

— Вот тебе и что! Мне тетка сказывала, хвасталась: у нас, говорит, не какая-нибудь шушера, сама, говорит, докторица к нашей вере склоняется...

— Боже мой! — чуть ли не простонал Карасев. Схватившись руками за голову, он так и сел на дорожную обочину.— Нет, ты понимаешь? — уставясь на Нюську поверх очков, спрашивал он. — Нет, скажи, ты понимаешь? Понимаешь?

— Понимаю, что родимчик тебя хватил, — пожала плечами Нюська. — На меня говорит — шальная, а сам...

— Да нет, ты послушай! — перебивая ее, крикнул Василий. — Сядь, ну, пожалуйста, присядь, Нюсенька!— он умоляюще протянул к ней руки.

— Ну, ну, не плачь, сяду, — сказала Нюська.

Карасев довольно путано передал ей свой разговор с Таней. Нюська задумалась, у нее на гладком лбу даже складочка прорезалась.

— Обрабатывают Таньку, гады, — наконец сказала она, — факт, обрабатывают. Не люблю я ее, Васенька, хоть ты по ней и вздыхаешь... Задавака она, вечно с фасоном каким-то... А все равно жаль девчонку, задурят они ей голову, ей-богу!

9.

Товарищ Гусаров Викентий Петрович, Танин отец, был не то чтобы бездельником, а человеком с прохладцей. Он многое умел и, когда желал, еще большего мог добиться, но как-то так у него получалось, что его ум и энергия находились почти всегда в состоянии блаженного покоя, и желал он чрезвычайно редко.

Куда бы его ни назначали, он спервоначала так яростно принимался за дело, что все диву давались: эк его ворочает! Но проходил месяц, много — два, и Гусаров охладевал, начатое оставалось на долгие времена незавершенным, и Викентий Петрович входил в ровную колею безмятежного служебного прозябания. Особых проступков он, правда, не совершал, но и к достижениям не стремился. Результат всегда получался одинаковый: полный развал работы, не очень громкая взбучка и (так как он был человеком номенклатурным) перевод на другое место. Переменив в районе пропасть должностей (его всегда назначали туда, куда некого было назначить, им как бы административные дырки затыкали), он, наконец, довольно прочно обосновался в кресле заведующего районным отделом культуры. Эта должность Викентию Петровичу определенно пришлась по душе: где бы он до этого ни подвизался: в райпотребсоюзе, в собесе, в доротделе, на почте — везде с него строго спрашивали, везде он был в ответе за невыполнение планов, безынициативность, бюрократизм, за общий развал работы (длинная серия всяческих выговоров висела на обсыпанных перхотью покатых плечах товарища Гусарова), а райотдел культуры оказался тем благословенным местом, где почти ни за что не приходилось отвечать или, во всяком случае, отвечать не очень серьезно. Ну, запорол он, допустим, организацию самодеятель-

ности, ну, лекционную пропаганду запустил, ну, кинопередвижки у него наполовину бездействуют — что ж тут особенного? Это ведь не план заготовок сорвать, не оставить село без соли и керосина, не прошляпить с выдачей пенсионной книжки какому-нибудь спекулянту и бездельнику. Разумеется, и тут вызывают в райком, журят за проваленное дело, но все ж таки и кой-какие объективные причины примут во внимание, и дело как-то само собой заглохнет, «канет в Лету», как любил выражаться сам товарищ Гусаров, в свое время закончивший четыре класса классической гимназии и даже запомнивший с тех пор несколько латинских изречений, из которых «vanitas vanitatum et omnia vanitas» (суета сует и всяческая суета) было его наилюбимейшим.

Со стороны казалось, что равнодушным человеком, размазней жил Викентий Петрович Гусаров, у него в отделе, казалось, все пылью забвения покрыто, на его редких атеистических лекциях мухи дохли от скуки... Но существовал и в его душе этакий яркий пятачок, где он постоянно оказывался настойчив, умен и страстен до высокого накала. Таким ярким пятачком была у него любовь к рыбной ловле, тут уж не находилось равных ему, в этой части он все изучил, всего добивался и показывал блестящие результаты. Викентий Петрович знал до тонкости любую рыбу и знал столь дотошно, что в иных случаях оспаривал даже и такой всеми признанный авторитет, как Сабанеев. Особенно же изучил он леща и любил охоту на эту сильную и красивую рыбу.

Как у всякого рыболова, у него было на реке свое излюбленное местечко, называвшееся «коленом». Делая довольно крутой поворот, река тут звенела быстринкой, словно бы кипела, но вскоре вливалась в глубокий ровный плес и дальше текла спокойно, зеркально отражая в десятиметровой глубине поросшие лесом берега.

В погожие июньские дни для Викентия Петровича было форменной пыткой сидеть в душной, неуютной комнате отдела культуры. Он прямо-таки томился, с тоской наблюдал за быстро мелькающими над счетами руками счетовода Маковкина, разглядывал знакомые до мелочей стены и потолок, рыжий конторский шкаф, на котором, свернутые в трубку, громоздились покрытые пылью колхозные стенгазеты, завалявшиеся здесь от прошлогоднего смотра, засиженную мухами рукописную афишу спектакля «Шторм»,

неизвестно зачем попавший в райотдел плакат по технике безопасности: «Не черпай воду на ходу — попадешь в беду». На плакате были изображены пароход и падающий с борта в воду человек с ведром на веревке. Синие волны напоминали Викентию Петровичу любимый плес, в его воображении появлялось качающееся на воде белое перышко поплавка... вот оно вздрогнуло... вот стремительно нырнуло в синюю глубь... точная, короткая подсечка — и натянулась, зазвенела жилковая тонкая леска, рука ощутила живую, упругую тяжесть сильно сопротивляющейся рыбы...

Викентий Петрович глянул на часы: четыре. Еще целый час оставался до конца работы. Но что могло произойти за это время? Так ли уж необходимо досиживать до пяти? На листке настольного календаря красным карандашом записано «Фесенко. 4^{30}». Подумаешь — Фесенко! Не бог весть птица какая, зайдет и завтра.

— Ну-те, — вставая и обращаясь к счетоводу, сказал Викентий Петрович, — я пошел...

— В случае, кто спросит — куда? — не отрывая руки от счетов, глянул поверх очков Маковкин.

— В райком, — буркнул Викентий Петрович, — на совещание. Таков наш modus vivendi[1],— сокрушенно вздохнув, добавил он.

— Что? — переспросил счетовод. Он никак не мог привыкнуть к гусаровской латыни и все переспрашивал.

Но Викентий Петрович был уже за дверью.

Ровно в половине пятого в райотделе появились секретарь райкома комсомола Павлик Фесенко и Валентин Рудыкин.

— А товарищ Гусаров? — спросил Фесенко у счетовода.

— В райком ушел, — сказал Маковкин.

— Вот тебе на! — разочарованно протянул Павлик.

— Тем лучше, — усмехнулся Рудыкин, вот там-то мы его и прижмем!

— Экая скотина! — выйдя на крыльцо, с досадой плюнул Павлик.— Ведь договорились же... он даже себе в календарь записал — и вот, пожалуйста. Знаем мы, какой это райком! Черта с два он там...

Вся длинная нескладная фигура Павлика выражала крайнее негодование. В минуты раздражения у него особенно работали руки — они то прятались в карманы, то

[1] Образ жизни.

взметывались вверх, то ерошили желтые и прямые, как солома, волосы.

— Может, на квартиру к нему зайдем? — предложил Валентин. — Все равно по дороге.

Павлик пожал плечами.

Викентий Петрович жил в тихом, окруженном садовыми плетнями тупичке; дом как бы прятался от чужих глаз за деревянным, выкрашенным в темно-кирпичный цвет забором; над верхушками вишенника виднелся лишь ребрастый серый шифер крыши да разукрашенный резьбой игрушечный теремок голубятни: она осталась от прежнего хозяина, дом был куплен вместе с нею, и хоть Викентий Петрович не водил голубей и считал это занятие глупым и даже неприличным, разорять голубиный теремок все-таки не стал: очень уж затейлива была игрушка.

Еще не доходя до тупичка, ребята услышали шум семейной перепалки. Пронзительный женский голос раздраженно сыпал брань с такой быстротой, что невозможно было разобрать, о чем идет речь, — все сливалось в один высокий, дребезжащий звук, и лишь слова «погребица» и «лодырь», произносимые чаще других, показывали на то, что схватка происходит из-за вопросов хозяйственных.

Остановившись у калитки с огромным железным кольцом, ребята переглянулись: удобно ли, дескать, заходить? — но тут, цепляя за калитку удильниками, подсаком и веслом, на улицу вывалился сам товарищ Гусаров. На секунду за его спиной мелькнуло багровое лицо разгневанной супруги. Увидев молодых людей, она осеклась и с грохотом захлопнула калитку.

— Ах, это вы! — опасливо оглядываясь через плечо, сказал Викентий Петрович.

Его толстая физиономия выразила что-то похожее на замешательство или даже смущение. Он, кажется, собирался было затянуть, как говорится, Лазаря, что «вот, мол, ждал, да срочно вызвали в райком, и таким образом...» Но враз передумал, — э, чего там! — махнул рукой и жалобно, плачущим голосом сказал:

— Товарищ Фесенко, давай назавтра, а? Утречком прямо, а? На свежую голову... ладно?

Не дожидаясь ответа, он смешной при его фигуре мелкой рысцой затрусил по проулочку к обрыву, где в просвете меж двух плетней, с нависшими зелеными шапками деревьев, виднелись синие дали лугов, река и на самом чуть

затуманенном горизонте — медленно движущийся дымок длинного товарного поезда.

С минуту ребята растерянно глядели на убегающего Викентия Петровича, пока, добежав до обрыва, он не стал на глазах у них исчезать — по колена, до пояса, по грудь... Круглая голова в соломенной, колоколом, шляпе, бамбуковые удильники и весло еще какое-то время маячили над сизыми кустами полыни, но исчезла и голова, а затем и весло, и кончики удильников. Когда от товарища Гусарова совсем ничего не осталось, Павлик привел было в движение свои длинные беспокойные руки, но, сообразив, что теряет время, стремительно кинулся к обрыву. За ним побежал и Валентин.

Викентия Петровича ребята догнали уже под горой. Его словно ветром несло, куда и неповоротливость девалась!

— Экие черти настырные! — оглянувшись на преследователей, сердито буркнул он. — Ну, чего вам от меня нужно?

Павлик наконец дал волю рукам: он разозлился не на шутку. Во-первых, что это за манера — назначать время для делового свидания и, не дождавшись, убегать на рыбалку? Во-вторых, вопрос-то ведь очень серьезный и самого Гусарова касается непосредственно. И в-третьих, он, Павел Фесенко, черт побери, не мальчишка, чтобы скакать козлом за товарищем Гусаровым по этим дурацким обрывам, он, черт побери, как-никак, секретарь райкома комсомола и не позволит... он, наконец, в райком партии пойдет с этим вопросом! Да, да, пойдет, черт его побери! Завтра же пойдет!

Они бежали среди густой заросли краснотала по влажной тропинке, настолько узкой, что все время приходилось держаться гуськом, и весь гнев, таким образом, весь Павликов пыл направлялись в гусаровский красный, складчатый затылок.

Неожиданно в расступившемся кустарнике сверкнула река. Несколько заляпанных смолой, неуклюжих лодок стояли примкнутые к черному ржавому рельсу, нос к носу столпившиеся возле него, словно большие смирные рыбы. Среди этих простецких лодок выделялась одна, окрашенная в ядовито-зеленый цвет. На ее борту красовалась белая надпись слегка раскоряченными буквами: «Тритон».

— Так вот, молодые люди, — сказал Гусаров, громы-

хая железной цепью «Тритона», — позвольте у вас спросить: при чем тут я?

— То есть как при чем? — в один голос воскликнули Павлик и Валентин.

— А так, очень просто, — Викентий Петрович пожал плечами. — Вы желаете своими силами достроить клуб? Превосходно! Я лично не возражаю. Но повторяю: при чем тут я? Товарищ Фесенко высказал правильную мысль: райком партии. Вот именно, райком партии! Это, так сказать, альфа и омега в деле строительства... Как, впрочем, и в любом другом...

Викентий Петрович оттолкнулся от берега и, стоя в лодке с веслом в руках, уже не опасался, что его задержат.

— Всемерно одобряю ваш почин, — разглагольствовал он. — Не сомневаюсь, что и райком партии вас поддержит... И опять-таки повторяю: не мое это дело, строительство, нет, не мое! Вот когда отстроите, когда клуб приступит к работе, вот тут и я, в меру своих сил, как говорится...

«Тритон» уже был на средине реки и, подгоняемый гусаровским веселком, шибко бежал вниз, к «колену», туда, где голой рыжей стеной высились кручи Чертова лога.

— Вот сволочь! — глядя вслед удаляющемуся Гусарову, выругался Павлик.

10.

Лет двадцать тому назад на краю больничного сада еще стояла ветхая деревянная часовня. С покривившейся луковкой, с буровато-черной замшелой, дырявой крышей, с выбитыми оконцами, густо заросшая бурьяном, она напоминала о тех недобрых временах, когда и сад, и дом, в котором сейчас помещалась больница, и вся окрестная земля, то есть поля, река, дубовые перелески, раскиданные по буграм избы села, — все это принадлежало старинному роду князей Ракитиных, роду некогда знаменитому и богатому, но к началу нашего века настолько обтрепавшемуся и обнищавшему, что последний из отпрысков, не только не кичась, но даже конфузливо скрывая свое княжество, прозябал в незаметной должности агента по продаже швейных машинок американской компании «Зингер».

Родовое поместье Ракитиных еще агентовым папенькой

было продано купцу второй гильдии Корякину, человеку расчетливому, но богомольному. Он срубил ненужные ему липовые и березовые аллеи парка, сломал на кирпич огромный княжеский дом с колоннами, бельведерами и прочими ампирными побрякушками и оставил лишь фруктовые деревья, просторный флигель и часовню. В ней, по преданию, был похоронен один из князей Ракитиных, сумасшедший старик, после вздорной и распутной жизни вообразивший себя святым отшельником и последние годы своего земного бытия даже будто бы спавший на голых досках деревянного гроба. Купца Корякина это обстоятельство нисколько не умиляло, он бы, конечно, и часовню сломал, но убоялся греха: хоть и плохонький, а все ж таки божий храм.

Так и осталась часовня стоять на краю сада, зарастая лопухами, полынью и темно-красными голенастыми метелками подсвекольника, сердито поглядывая из-под насупленной крыши на множество перемен, совершавшихся вокруг нее. Когда-то, еще при князьях и Корякине, за часовней начинался голый пустырь и тянулся холмами до самого леса. В тридцатых годах тут появились первые дома, село разрасталось. Однако никто не желал селиться возле часовни, все строились на некотором расстоянии, и таким образом между больничным садом и новым Ракитиным образовалось что-то вроде площади, на которой перед самой войной поставили высокий ажурный ветряк электростанции.

Если в давние времена часовня из-за темных преданий, окружавших ее, считалась недобрым, зловещим местом и туда с наступлением сумерек редко кто отваживался зайти, то молодежь тридцатых годов живо приспособила княжеский склеп для любовных свиданий. Слова «приходи к часовне» тогда приобрели глубокий смысл, а для сычей, крепко обосновавшихся под ветхой, дырявой крышей, наступила беспокойная жизнь. В войну беженцы начисто растащили часовню на топку, от ракитинского склепа не осталось ровно ничего, но ветер заботливо рассеял семена подсвекольника, и на месте часовенки сделался островок темно-красного бурьяна. Однако название уцелело, и, хоть место было пусто, люди продолжали говорить: «приходи к часовне», и это значило все то же: «Я люблю тебя».

В позапрошлом году, когда товарищ Гусаров только

что вступил в должность заведующего райотделом культуры (и как у него всегда в таких случаях водилось, развил деятельность), подсвекольник скосили, на месте красного островка был заложен фундамент и вскоре возведены стены клуба. Месяца на два хватило гусаровской энергии, это время он, действительно, работал не покладая рук: осаждал районное начальство, всюду выпрашивал, требовал, раза два даже в область съездил и там вместо обычного шифера «выбил» кровельное железо. С утра до позднего вечера Викентий Петрович бушевал на стройке— возился с каменщиками, плотниками, организовывал воскресники и так хлопотал до тех пор, пока, наконец, стены будущего клуба не увенчались стропилами.

Но тут произошло событие, отвлекшее товарища Гусарова от строительной горячки: из Москвы приехал старший сын и привез отцу в подарок необычайной красоты новейший капроновый спиннинг. Викентий Петрович не занимался этим спортом и даже немножко презирал спиннингистов, однако блестящая изящная вещица очаровала его. Он попробовал сделать заброс — ничего не получилось, запуталась жилка, оказалось не так-то просто зашвырнуть блесну. С настоящей охотничьей страстью отдался он новому спорту, а тут, как на грех, подкралась осень — пора отличного щучьего клева, была поймана первая трехкилограммовая щука, и все, что находилось вне реки, все стало, все забылось, мир сузился до пределов блестящей никелированной катушки спиннинга. Полоса активной служебной деятельности кончилась. Равнодушно расстался товарищ Гусаров с кровельным железом, равнодушно поглядывал, проходя мимо, на голый кирпичный остов недостроенного клуба и совсем равнодушно встречал петушиные наскоки учителя Карасева. Строительство, говоря служебным языком, законсервировалось, творческий вулкан Викентия Петровича потух, и потух безнадежно.

Дело это до такой степени вычеркнулось из сознания Викентия Петровича, что когда третьего дня Павлик Фесенко, позвонив ему, сказал, что у ребят есть желание своими силами завершить постройку клуба и что надо бы им встретиться и кое о чем поговорить, Викентий Петрович не сразу даже и сообразил — какой клуб? Что это такое? Кирпичное, заросшее бурьяном, недостроенное здание на месте часовни, что ли? Ах, вон как... И сразу при-

крылся щитом: «не от меня зависит, при чем тут я? Идите в райком партии, райком поддержит...»

Что ж, райком, действительно, поддержал ребят. В самый короткий срок нашелся весь необходимый строительный материал, транспорт, средства. Павлик Фесенко договорился с комсомольцами заводского строительства о шефстве, и те охотно пришли на помощь, прислали специалистов — штукатуров, кровельщиков. Часов в шесть вечера возле часовни раздавались задорные звуки двух аккордеонов: «А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер». Этот марш служил как бы сигналом, возвещающим о начале работы. Дружно, с огоньком, начинали ребята и девушки свой второй рабочий день, с огоньком, пожалуй, даже не меньшим, чем, бывало, отплясывали в скверике. В минуты отдыха сама собой загоралась песня, и длинная фигура Павлика обязательно возникала то в кузове грузовика, то где-то высоко, между решеткой стропил, четко вырисовываясь на яркой оранжевой заре... Беспокойные Павликовы руки, наконец-то, находили себя, свое призвание: словно крылья огромной птицы, реяли они над хором, велели ему, грозили, успокаивали, умоляли... обуздывали «стихийное бедствие» — Петяшин бас, приглушали заливистый Нюськин дискант, подстегивали приотставшие аккордеоны... Павлик с Карасевым сочинили песню, которая начиналась так:

Загорелась заря за околицей,
Потемнела синяя высь.
Собрались, как один, комсомольцы,
С песней звонкою собрались.

И дальше высказывалась верная мысль о непобедимости молодежи, своими руками строящей коммунизм. Правда, Валентин (сам потихоньку сочинявший стихи) попытался придраться к первой строчке.

— Три раза «за», — поморщился он, — за, за, за!

— Твое предложение? — деловито спросил Карасев.

— Да я не знаю, — замялся Валентин. — Это надо посидеть с карандашом, поискать...

— Чого, к бису, шукаты? — махнул рукой Петяша Засядько. — Це и так гарно, поэтично: загорелась заря...

В общем, и слова и мелодия понравились всем, и песня прижилась. Между тем, лето увядало понемногу, на листьях осин появилась первая ржавчина, вечера стано-

вились прохладней, а главное, — короче. Но заводские шефы пришли на помощь — электрики установили мощные рефлекторные подсветы, и еще веселей, еще задорней закипела работа на молодежной стройке. К сентябрю почти все было готово, оставалось лишь кое-что по мелочам, во внутренней отделке. Шумно, весело стало на ярко освещенном пустыре «возле часовни». На огонек заходили и пожилые ракитинцы, ласково поглядывая на неугомонных строителей, покуривали, вели неспешные разговоры...

Однажды из-за кустов больничного сада, крадучись, вылез Гулюшка. Погромыхивая собачьей цепью, пробрался поближе к поющим на строительной площадке и замер, стоял, чмокал языком, жмурился, всем своим видом выражая удовольствие. Востроглазая Нюська первая заметила юродивого.

— Нравится, Гулюшка? — спросила она, когда кончили петь.

Гулюшка захихикал, несколько раз перевернулся на одной ноге, потом, изображая петуха, захлопал руками по бедрам, крикнул «кукареку».

— Что ж молчишь? — не унималась Нюська. — Нравится, мол, спрашиваю?

— Нисяво, нисяво, — залопотал Гулюшка, — плаво слово, нисяво... А только голеловские лутце песни игլають...

— А ты, что ж, был, что ли, в Горелом? — спросила Нюська.

— Ясно, сто был, не был, так не говолил бы.

— Чего ж они там поют?

— Там, девка, поют, так поют! Пло духа пло святого... Да иссо, слыс ты, плясуть... и-их!

И Гулюшка снова завертелся.

— Гулюшка! — позвал его Карасев. — А пророка гореловского ты видел?

— Посол-кась в тланду! — осерчал Гулюшка. — Ис ты, цолт цетылехглазый, плаво, цолт! Ницаво тебе не скажу!

Он замахнулся на Карасева концом цепи и убежал.

11.

В Горелом, действительно, и пели, и плясали, там помаленьку созидался «духов храм». Пока еще он был невелик — человек семь-восемь собиралось в тесной комна-

тушке, которую Гаврила нанимал у пожилых сестер Матренушки да Агафьюшки. Обе они смолоду отделились от отца, поохотились «послужить Христу», не пошли замуж, сделались черничками и стали жить в небольшой схоронившейся в густом палисаднике келье. Всю жизнь таскались сестры по святым местам, всегда ютились у них какие-то блаженные темные люди, доставлявшие массу хлопот участковым милиционерам: у черничкиных постояльцев ни паспортов сроду не бывало, ни постоянного жительства.

Гаврила с Дарьей появились в Горелом в конце мая, спустя почти два месяца с того дня, как в Ракитино приехала Беата. Эта святая семейка никогда вместе не путешествовала. С десяток городов и сел переменили они за десять послевоенных лет и всякий раз появлялись отдельно: сначала Беата устраивалась по своей медицинской части, а потом приезжали Гаврила с Дарьей и выбирали местечко для жительства где-нибудь неподалеку. Так было заведено самой Беатой, вполне разумно не желавшей особенно открыто выставлять напоказ свою связь с Гаврилой и его религиозными делишками.

Итак, в Горелом появились два новых жителя. Кажется, впервые у черничкиных квартирантов документы оказались в полном порядке: паспорта были выданы Туапсинским райотделом милиции Краснодарского края, имелись талончики о выписке и какие-то справки с довольно свежими печатями, выданные Гавриле Тихонычу Светличному с места его последней работы (из районной, между прочим, больницы города Туапсе), — словом, у приезжих было все то, что сразу же делало их полноправными гражданами любого населенного пункта Советского Союза.

На вопрос участкового милиционера, чем, собственно, собирается гражданин Светличный заняться в Горелом, Гаврила ответил:

— А вот дай, братик, оглядеться. Верней всего, чеботарить буду. Вон у вас, товарищ старшина, правый сапожок каши запросил, занесите вечерком, утречком получите, как из магазина...

Участковый конфузливо подобрал ноги под стул, но вечером, действительно, занес Гавриле неисправный сапог, а утром, как было обещано, получил его отлично починенным, начищенным до сияния, и остался очень доволен новым жителем села Горелого.

Дней через пять Гаврила пошел в Ракитинскую больницу и стал в очередь на прием. Войдя последним в кабинет врача, он плотно закрыл за собой дверь и сказал:

— Ну, здравствуй, Беатушка! Здравствуй, сестренка! — и трижды, со щеки на щеку, расцеловался с ней.

— Ну? — настороженно, остро поглядела Беата.

— Благодарение богу, Адамовна, — сказал Гаврила,— и доехали, и устроились так, что лучше и желать нечего.

— В Горелом?

— Там.

— И Даша с тобой?

— Со мной, сестренка, куда ж ее денешь...

— Действительно, никуда не денешь, — усмехнулась Беата.

— Все ж таки, Беатушка, обещался я родителю-то...— нерешительно сказал Гаврила.

— А! — махнула рукой Беата. — Будет пустяки-то городить... Чего стоит обещание сорокалетней давности! Дарья тогда девчонкой была.

— Она, Беатушка, и сейчас, как дитя неразумное. Сама знаешь.

— Вот то-то и есть, что неразумное. — В голосе Беаты послышалось раздражение. — Это дитя в один прекрасный день преподнесет нам такую пилюлю, что жизни рад не будешь. Язык-то у ней с разумом по разным адресам прописаны.

— Э, голубонька! Дашиного языка страшиться нечего: помрет — слова не скажет, это уж на факте проверено, про то и думать забудь.

Беата сердито пожала плечами, отвернулась, стала глядеть в окно.

— Все равно, — сказала она, — всюду возить ее за собой — это, как пустой чемодан таскать. Дело твое, конечно...

— Ах, ты ж, ягодка моя! — мелким бисерным смехом рассыпался Гаврила — и даже красным платочком вытер набежавшую слезу. — Ведь скажет же: пустой чемойдан! Верно, верно, сестренка — пустой чемойдан! Мешается, по ногам бьет, а кинуть жалко... Ну, ладно об том, — нахмурился Гаврила, и мышиные блестящие глазки его погасли.— Пустой разговор... Тут, Адамовна, милка, другое дело...

— Что еще? — тревожно взглянула Беата.

— Не нравится мне, сестренка, местоположение в Горелом. Очень суета большая, станция, народу чужого проезжего — ну, прямо-таки — котел, огромная масса...

— Ну и что?

— Да ведь как тебе сказать — что... Не люблю я, когда этого проезжего сброду много. Побаиваюсь я, Беатушка, не налететь бы...

— Что-то ты, Гаврила Тихоныч, робок нынче стал, — насмешливо сказала Беата.

— Не робок, Адамовна, нисколько не робок! — Гаврила понизил голос, оглянулся и большим оттопыренным пальцем левой руки через плечо указал на дверь: мол, говорить ли?

— Ничего, говори, — сказала Беата.

— Вчерашний день, — начал Гаврила, — послал я Дашонку, стало быть, на базар, ничего ж то у нас нету из продукции, с самой дороги все всухомятку да всухомятку... Так, отлично. Приходит моя Дарья Степановна с пустой кошелкой. Что такое? — «Базар, говорит, по воскресеньям, раз в неделю, значится...» А нынче — пятница. Ну, ладно, мол, горяченького-то все ж таки надо похлебать. Пойдем, говорю, в бухвет на станцию. Куда там, ни в какую! Ну, я один пошел. Сижу, конечно, обедаю, кругом этого народу — битма набито, поезд, что ли, какой прибыл. И многие, заметь, выпивают, хотя и не положено: с собой приносят, под столом разольют по стаканчикам и — будьте здоровы! — а бутылку — в сторонку, дескать, я не я, и лошадь не моя! Охвициантки на это — ноль внимания, им, понимаешь, от порожних бутылок тоже припек выходит...

— Господи! — перебила его Беата. — Неужели покороче нельзя?

— Стало быть, ягодка, нельзя, — сказал Гаврила. — Тут, Беатушка, всю обстановку обрисовать надо... Значит, охвициантки порожнюю посуду убирают под передничек и — годи! А там у них в бухвете, в углу, — пальма в кадушке, и, чую, хоронится за той пальмой человек. Как охвициантка зазевается, он оттуда — шасть, да бутылку-то себе в сумку, и опять — под прикрытие... Я еще посмеялся сам с собой: каких, мол, только специальностей у бога нету! Ну, собрался я уходить, да слышу, загамели девки, разглядели, значит, конкуренцию! Тащат его, турят из-за пальмы, прямо волоком волокут... Глянул я —

господи милосливый! — оборватый, грязный, ну, чистый обезьян, да еще и пьяненький, видать... ну, да это бог с ним, не в том дело...

— Но в чем же, наконец? — нетерпеливо спросила Беата.

— А в том, голубонька, что я, конечно, глаза пялить не стал, а так, с первого вгляда, показалось мне, что чуть ли не Кронька это...

— Кронид?! — всплеснула руками Беата.

— Чуть ли не он.

— Да нет, не может быть! — У Беаты над бровями красные пятна даже выступили, в волнении прошлась она по кабинету.— Не может быть,— упрямо повторила она.— Показалось...

— Ох, Беатушка, кабы показалось! Носик этакой востренький, с горбиной, вроде жидовского...

— Ну, мало ли этаких носиков!

— На одну ножку, опять-таки, припадает, а главное, с картавцей. Они, охвициантки-то, турят его мало что не в шею, а он на них: «Пгоститутки! — кричит.— Пгочь, не пгикасайтеся!» Я как услыхал эту картавину, так и обомлел: он! Он, Беатушка! Из чего я, сестренка, и пришел-то к тебе: что делать будем?

Беата молча, заложив руки за спину, ходила по кабинету; следя за ней, Гаврила вертел головой туда-сюда.

— Нет, — наконец остановясь возле Гаврилы, твердо сказала Беата.— Нет, не он. Не может быть. Показалось.

— Дал бы господь! — вздохнул Гаврила.

— Выкинь из головы, — сказала Беата.— А на станцию, пожалуй, верно, ходить не стоит. От станции далеко ли живешь?

— Да порядочно, с километр, а то и побольше. Живем-то, слава богу, в тихом, славном месте. Чеботарем объявился,— подмигнул Гаврила,— уже и первый заказчик побывал: участковому сапоги подбил.

— Участковому? — рассмеялась Беата.— Ну, видишь, как хорошо!

— Да уж куда лучше! — покачал головой Гаврила.— А все-таки, Беатушка, сомненье меня берет, говорю по совести. Собирать ли божьих людей, нет ли...

Он вопросительно поглядел на Беату. Та молча пожала плечами.

— А может, Адамовна,— нерешительно сказал Гаври-

ла,— кончать пора, а? Деньжонки, слава богу, у нас кой-какие шевелятся... Подались бы обратно на Кавказ... В Геленджике, слыхал я, участочек запросто купить... Построились бы, виноградом бы, пчелками занялись, а?

— Что-то я прямо не узнаю тебя, Гаврюша,— прищурилась Беата.— Что это с тобой? Виноград, пчелки...

— Не знаю, сестренка, не знаю... Вот вступило на ум: как бы беды не вышло, вступило и — шабаш. Погибели боюсь, ягодка.

— Выдумает тоже — погибель! — с досадой сказала Беата.— Это ты, дружок, от Дашки заразился, ее бредни! Неужто веру потерял? Неужто ж всю жизнь понапрасну мы с тобой ждали? Не может быть! — страстно, исступленно вскрикнула Беата.— Слышишь? Не мо-жет быть!

— Гляди, голубонька,— опустил голову Гаврила.— Я, как ты...

— Ну, разумеется, разумеется... Значит, так.— Беата села за стол, положила перед собой руки и, слегка похлопывая крепкими ладошками по толстому стеклу, стала говорить.— Вот так, значит. Осенью больничный конюх уходит в армию. Так? Ты на его место поступишь. До тех пор тихонько живи в Горелом. Божьих людей собирай, но с оглядкой, без шума. С осени переберешься сюда, так? Будешь при мне. От Дашонки все-таки избавиться надо, ты об этом подумай. Обязательно, Гаврюша, надо нам развязаться с этой обузой. Все равно, во всех случаях, она нам ни к чему... Даже если и в Геленджик уедем виноградники разводить,— улыбнувшись, с какой-то мягкостью в голосе, добавила она.

За дверью кабинета тетя Паша зашлепала тряпкой, захлюпала водой, принялась за свое — мыть полы. Беата отворила дверь, выпуская Гаврилу.

— Главное — ни острого, ни соленого,—громко сказала она в спину Гавриле.— Умеренность во всем, не забудьте про капли. Далеко вам сюда ходить-то... ну, я, может быть, через недельку сама к вам заеду, погляжу...

Гаврила кланялся, бормотал слова благодарности.

12.

Есть такие большие и сильные жуки-скарабеи, известные своим замечательным умением сооружать огромные (сравнительно, конечно, с их ростом) навозные шары. Цеп-

кими передними лапками захватывают они ничтожную основу, ядро — мельчайшее зернышко, комочек шерсти, затвердевшую крупинку грязи — и, толкая перед собой, катают это ядрышко по влажному, липкому навозу, катают долго, неутомимо, заворачивая туда и сюда, бесконечно петляя, сваливаясь вместе с ядрышком в ямки, выбираясь из них, с удивительным упорством продолжая свой, казалось бы, бессмысленный и трудный путь. Постепенно на ядрышко налипают мельчайшие частицы свежего навоза и так слой за слоем наращиваются, и ядрышко помаленьку увеличивается, делается величиной сначала с орех, потом со сливу и, наконец, с хорошее яблоко. Скатав такой шар, скарабей откладывает в него яичко и принимается за другой.

Чем-то похожим на скарабееву работу была и Гаврилина религиозная деятельность. Бог знает, по какому навозу, по какой непролазной грязи катал он свое ничтожное ядрышко, пока, обросши бесчисленными слоями лжи, ненависти, предательства, разврата, пьянства, изуверства и злобы, не превращалось оно в очередной «духов храм» с его моленьями, «божьими вечерушками» и самым непристойным кликушеством. Отложив в свое создание ядовитое яичко лютой враждебности ко всему советскому, Гаврила перебирался на другое место и принимался за новый шар.

В разных концах России зрели и вызревали заложенные Гаврилой зародыши. Его самого и духу уже не было в какой-нибудь деревеньке, рабочем поселке, а то и в большом промышленном городе, а отложенные им зародыши враждебности и человеконенавистничества созревали, делались подобными ему и, в свою очередь, принимались за катание навозных шаров. Так вдруг появлялось в печати тревожное сообщение об изуверском убийстве молодого рабочего А. его другом Б. за то, что А. не верил в бога; в некоем районном центре слушалось дело о закопанных заживо в землю истеричных, полусумасшедших женщинах, принесших себя в жертву Христу; в областную больницу одного из старейших и культурнейших городов доставлялся умирающий шестилетний мальчик, в печени которого хирурги обнаруживали одиннадцать тонких швейных иголок, ловко запущенных туда одурманенными родителями для того, чтобы дитя сделалось ангелом...

Кипы судебных дел, милицейских актов и протоколов,

сотни, а может быть, и тысячи искалеченных и загубленных человеческих жизней страшным следом оставались там, где проходил Гаврила. Но никогда его самого не бывало на месте преступления, даже имени его ни в одном протоколе не было помянуто. Он был невидим, неслышим, неосязаем, он был архангел, он был дух святой. Прокуратура знала, что многие преступления совершались по приказанию архангела Гавриила, но это имя воспринималось с такой же неопределенностью, как и Саваоф или Христос, следственные работники считали, что искать и привлекать к ответственности архангела так же нелепо, как искать и привлекать к ответственности Христа и Николу-чудотворца, и никому и в голову не приходило, что архангел-то живет не где-нибудь в облаках религиозных бредней, а под боком, в соседнем районе, что занимается он чеботарством и прописан по бессрочному паспорту на имя Гаврилы Тихоныча Светличного.

Жук-скарабей, делая свои шары и откладывая в них яички, руководствуется одним только инстинктом. Гаврилой в начале его деятельности руководил не инстинкт, а разум: выжидая свержения Советской власти, он сознательно «хоронился за бога» и смотрел на своих полоумных епифаньевцев даже с некоторым презрением и усмешкой. В дальнейшем, особенно в послевоенные годы, он уже и думать забыл об иноземцевском наследстве, то есть о том, из-за чего он начал катать свой первый шар. Тут он уже и вовсе уподобился скарабею в созидании своих навозных шаров — «духовых храмов», потому что катал их, не отчитываясь перед разумом (зачем они ему нужны, какой в них смысл), а просто так, по велению инстинкта. Инстинкт же приказывал ему всячески гадить, омрачать советскую жизнь, откалывать от нее хороших людей и превращать их в мусор, в болячки, в ненужную и вредную обузу.

Здесь Беатина роль любопытна. Если Гаврила с годами стал позабывать, из-за чего он заварил епифаньевскую кашу, и, разуверившись в свершении своих надежд, махнул на все рукой и гадил для того только лишь, чтобы гадить, то Беата ничего не забыла: ни отцовского порушенного богатства, ни холода и одиночества бесприютной сибирской жизни, ничего, вплоть до медной дощечки с надписью «Адам Оттович Вернер», дощечки, являвшейся символом той жизни, которую Советская власть уничтожила и за

восстановление которой Беата боролась и собиралась бороться до последнего вздоха.

Гаврила начинал сдаваться, выдуманная им «новая вера» и его «архангельство» временами даже смущали, тяготили его; он стал подумывать о том, чтобы незаметно уйти, тихонько нырнуть в омут так, чтобы на поверхности и кругов не осталось; его на безмятежную жизнь, на виноград, на пчелок потянуло...

А Беата? В далекие дни первых встреч с Гаврилой епифаньевцы ей были просто непонятны и даже страшны в своей нелепости; потом она разглядела в них только материальную выгоду, и это ей объяснило «божьих странников» и примирило с ними; в конце же концов она восприняла их наиболее верно: как силу, как оружие против того, что ей было ненавистно. Правда, в первые годы после войны и у Беаты руки опустились, ей показалось, что все кончено. Но вот ее недобитые генералы из Бонна заштопали продырявленные мундиры, сняли пластыри с разбитых носов, реваншизм поднял голову, и Беата насторожилась: игра, оказывается, продолжалась.

Она решительно забрала в свои руки «божьи дела», Гаврила глядел из ее рук. Епифаньевцы, разбросанные по разным уголкам России, темно веровали в некоего архангела, в святого духа, благообразного дяденьку с ягненочком на руках, глядящего на них с раскрашенных фотографий, и не подозревали, что этим архангелом и святым духом вот уже какой год была востроносенькая, толстая немка с холодными глазами, с профсоюзным билетом и дипломом об окончании Томского мединститута.

13.

«Духов храм» в Горелом собрался очень скоро и легко. Возле сестер-черничек, как мы уже сказывали, постоянно околачивались всяческие проходимцы — гастролирующие попы, юродивые, какие-то подозрительные личности, «пострадавшие за веру», тут почва была унавожена, и Гаврилино семечко, упав в нее, тотчас стало развиваться. Матренушка с Агафьюшкой сперва, правда, несколько озадачены были непримиримым отношением «архангела» к церкви. При иных обстоятельствах они, может быть, и не соблазнились бы Гаврилиными «откровениями», да надо же было незадолго до его приезда случиться ссоре черни-

чек с отцом Митрофаном, ссоре такой серьезной, что Матренушка с Агафьюшкой в пику священнику даже в церковь перестали ходить.

Все произошло из-за выпечки просвирок. Дело в том, что занятие это, несмотря на его кажущуюся ничтожность, приносило сестрам какой-то получавшийся от припска доход. Лет двадцать Матренушка с Агафьюшкой занимались выпечкой просвирок, привыкли считать этот доход закрепленным за ними на веки вечные, и вдруг отец Митрофан, придравшись к запеченной в просфоре пуговице, властной рукой отнял у черничек просвирничество и передал его своей матушке. Сделал он это для того, что хотел подольститься к своей супруге, с которой из-за известной продавщицы Полинки у него последнее время сложились довольно натянутые отношения.

Трудно сказать, чем бы кончилась ссора отца Митрофана с черничками, верней всего, примирением, если б в это самое время не появился в Горелом Гаврила Тихоныч. Его отрицание священства как нельзя больше подошло к настроению обиженных сестер, а исступленное чтение Евангелия, складные Игнаткины песни и особенно принятие вина, «яко в Кане Галилейской», решительно оттолкнули Матренушку с Агафьюшкой от церкви и привели под невидимый кров невидимого «духова храма».

В первый же вечер хлебнувшие из святой чаши, сестры пришли в восторженное состояние и завели было тонкими, пронзительными голосами «Чудный месяц плывет над рекою», но Гаврила, сердито прикрикнув, велел подпевать ему с Дарьей, и Матренушка с Агафьюшкой послушно запели Игнаткин стих «Влачим мы, братья, свое бремя». А когда Дарья стала топать и выкликать, то и Агафьюшка, которая была помоложе сестры, затопала и завизжала, затрясла толстым задом и, вскрикивая «Ой, да что ж за красота!» — пыталась и Матрену расшевелить. Но та, опьяневшая, сидела копна-копной, не в силах приподнять свое расплывшееся восьмипудовое тело, и только попискивала: «их! их!» и, как петух крыльями, хлопала руками по здоровенным ляжкам.

Частенько стали наведываться Конопацкие — странная семья, состоящая из самого Конопацкого, портного, обшивавшего полушубками чуть ли не весь Ракитинский район, его жены Палагеи Николавны и Палагеиной сестры, Капитолины. Гореловцы прозвали Конопацких «турками»,

намекая на противоестественное сожительство Конопацкого с сестрами, что было известно всему селу, да и не скрывалось ни Палагеей, ни Капитолиной, то и дело шумно ссорившимися из-за общего мужа. Эти Конопацкие были в Горелом пришлыми людьми, появившимися в эвакуацию бог знает откуда.

Затем Демушка приплелся — черноватый, щуплый старичишка, перепробовавший разные веры, побывавший и у баптистов, и у трясунов, и у «истинно православных». Столяр-краснодеревец, золотые руки, очень деятельный, но с мятущейся, беспокойной душой, он из-за этих своих религиозных исканий и десятой доли не сделал людям того полезного и хорошего, что по своему таланту мог бы сделать. В любой религиозной общине водятся такие демушки, в мутном болоте различных вер и сект топящие свои способности. И тут надобно прямо сказать, что сами мы частенько бываем виноваты в том, что такие люди погибают для общества: проходим мимо них с усмешкой, с сожалением, с брезгливостью даже, у нас и в мыслях нет попытаться протянуть руку Демушке, помочь ему выбраться из трясины, у нас для этого и времени нет, да и какое, мол, нам до этого дело? Зато у таких, как Гаврила Тихоныч, для демушек всегда находятся и время, и вкрадчивое ласковое слово, в котором огня, настойчивости и простоты куда больше, чем в холодных лекциях товарища Гусарова.

Совершенно неожиданно к Гаврилиному «храму» прибилась и Нюськина тетка Марфута, безалаберная, вздорная бабенка, пьянчуга и первейшая самогонщица. Загуливая, она напивалась безобразно, «до сшибачки», как говорится, на неделю и больше бросала избу, хозяйство; однажды потеряла юбку, ходила по селу в одной рубахе, за что ее прозвали Срамотой. Марфутин муж, отличный кузнец, жестоко лупил ее, чтоб отучить от запоев; видя, что побои не помогают, повез в область, в клинику, и там ее лечили. Какое-то время после лечения она, действительно, капли в рот не брала. Кузнец был рад-радехонек, справил ей шубу с дорогим воротником из чернобурой лисы; но, хватив однажды на чьей-то свадьбе кружку домашней браги, Марфута-Срамота не удержалась, напилась и потом так закубрила, что в первый же заход спустила свою великолепную шубу. На «божьей вечерушке» ее все поразило — и как страшно выкликал Гаврила евангель-

ские слова, и как хорошо, стройно пели, и как завертелась, затопала Дарья, и как хлебали из общей чашки вино. Но больше всего поразила и даже испугала ее икона, на которой с ягненком в руках был изображен сам Гаврила Тихоныч. Икона эта, написанная яркими эмалевыми красками на клеенке, была устроена на двух деревянных скалках, вроде того, как устраиваются в школьных классах географические карты. Перед моленьем Дарья раскатывала ее и вешала над столом, где лежало Евангелие. Работа была грубая, наподобие базарных ковров, но сходство художнику удалось поразительно: Гаврила, как живой, глядел с клеенки своими маленькими мышиными глазками, сладчайшая улыбочка расплывалась на румяном лице, вокруг которого жирным золотом сияли лучи. Увидев икону, Марфута онемела, истрепанные нервы пьяницы не выдержали, бог знает, что ей представилось. С диким воплем повалилась она в ноги Гавриле, умоляя простить, снять с нее тяжкие прегрешения. «Облегчи меня, батюшка! — вопила она. — Прости паскуду окаянную!» Гаврила даже опешил, растерялся — слишком уж неожиданна оказалась Марфутина выходка. Он, правда, привык к поклонению, к выражению перед ним «божьими людьми» своего ничтожества, но такого безумного исступления еще не видывал. «Встань, сестра! — сказал он, поднимая Марфуту. — Вот тебе божье благословение!» С этими словами он поцеловал ее в «душку» и, отведя в сторонку, пошептал что-то. «Все, все сделаю, батюшка, как велишь!» — вскрикнула Марфута. Дня через два после обращения в епифаньевскую веру Марфута-Срамота принесла в милицию самогонный аппарат, молча положила его перед остолбеневшим от изумления участковым и так же молча ушла.

Иногда на Гаврилины вечерушки прибегал Гулюшка. Гремя цепью, прыгал он, бормотал какой-то вздор, но стоило появиться Беате, как он начинал тревожно оглядываться по сторонам, матершинить и, наконец, плюясь, замахиваясь на докторшу собачьей цепью, убегал.

Беата ездила в Горелое не таясь, открыто, но кучера в такие поездки не брала. Приехав, оставляла мерина с тарантасом на колхозном дворе и шла по селу проведывать больных. Она, действительно, заходила в два-три дома, где жили ее пациенты, расспрашивала их о здоровье, иногда оставляла лекарство. «Вот это докторица! — говорили про нее. — Поискать таких-то!»

Ее обходы неизменно кончались посещением Матренушкина домика, где к тому часу уже собирались «божьи люди». Однако она недолго оставалась там, придет, посидит, посмотрит, иной раз, не заходя даже, вызовет Гаврилу Тихоныча, перемолвится с ним и — назад.

Как-то раз Беата приехала в Горелое в сумерках. С утра моросил скучный дождь. Еще стоял август, но уже веяло осенним холодом, улицы были пустынны, погода всех загнала спозаранку по домам. Поставив лошадь у коновязи и попросив дежурного конюха присмотреть за ней, докторша, не таясь и не заходя на этот раз к больным, пошла прямо к черничкиному дому. На дворе уже так стемнело, что Беата не боялась быть узнанной, да ее и трудно было узнать в огромном покоробленном дождевике с низко надвинутым на лицо капюшоном. Даже вышедший на ее стук Гаврила Тихоныч не узнал свою Адамовну.

— Кого это господь принес? — спросил он.

Беата тихонько засмеялась.

— Беатушка! — удивился Гаврила. — В этакой чичер, да как же... ах, ты! Ну, заходи же, голубонька, пообсушись хоть, чайком погрейся...

— Нет, — сказала Беата, — я на минутку. Вот что, Гаврюша, завтра же вечерком побывай у меня, насчет Дашонки мысль одна есть, приходи обязательно...

Она притянула к себе Гаврилу и шепнула:

— Никому не говори, что я была... Дарье — особенно.

И, круто повернув, ушла, пропала во тьме ненастного вечера и густо разросшихся кустов акации. Пропала, словно и не было ее тут только что, — ни шороха плаща, ни звука шагов. Лишь ровный лепет дождя да приглушенный шум напористой струи, льющейся из водостока.

14.

Долго ночью раздумывал Гаврила над Беатиными словами, ломал голову — что же за мысль такая? Вторично Беата настойчиво требует отделаться от Дарьи. В первый раз она заговорила об этом сразу же после войны. Дарьина жизнь тогда на волоске висела: совсем уж было «архангел» решился возвестить ей «божью волю», благословить на великую жертву, то есть на самоубийство, да в последнюю минуту дрогнул, вспомнил горящие угольями глаза умирающего Степана и, как ни настаивала Беата, твердо сказал: «Не могу!»

Неужто ж опять старое вспомнилось Беатушке? Ну, допустим, ладно, не дрогнет, согласится Гаврила возвестить Дашонке «божью волю», так ведь надо же принять в соображение, что такую смерть не спрячешь, что ведь будет какое-то следствие, начнут копать, да выискивать, да тащить на божий свет то, чему под глубоким спудом лежать надлежит... Неужто не понимает этого Беатушка?

Гаврила напрасно тревожился: Беата Адамовна все отлично понимала и учитывала. От Дарьи можно было отделаться легко и без уголовщины. На такую мысль Беату натолкнул случай.

Как-то раз готовилась она к приему больных. Надев только что выстиранный халат и разглядев на нем подозрительное пятнышко, Беата вызвала сестру-хозяйку и строго отчитала ее. Потом привела в порядок на столе нужные ей для приема вещицы, кликнула тетю Пашу и велела подлить чернил в чернильницу, поправила, подравняла стопочку маленьких листков белой бумаги для рецептов и уже хотела открыть дверь и начать прием, но вдруг остановилась, замерла, как будто вспомнила что-то; потом подошла к распахнутому окну и села возле него, вслушиваясь в монотонный, неспешный разговор, который вели на больничном крылечке женщины, ожидавшие приема.

Было серенькое пасмурное утро, дождик начинал накрапывать. На улице стояла тишина, и бабий разговор до вздоха, до легкого смешка отлично был слышен в кабинете. Женщины судачили о каком-то Михайле Иваныче, о том, что решил он на старости лет жениться, и спорили — надо или не надо ему так поступать. Те, что помоложе, смеялись, говорили: «седина в бороду — бес в ребро», одна даже громко возмущалась. «Ишь, пес, — тараторила она, — нет, чтобы у своей бабки могилку поправить, крест, сама видела, набок завалился, а он, пес, жениться!» Пожилые спокойно возражали бойкой говорухе, оправдывали старика: «Ему без бабы пропадать, ведь какая-никакая — хозяйство!» — «Это его Липка надоумила! — рассмеялся кто-то. — Она, как приехала, так и давай хлопотать... Он-то сам сроду бы не додумался!»

— Он, девка, без Липки-то, может, скорей оженился,— ворчливо сказала, судя по голосу, старуха. — Ему — что? Ему абы баба, абы по хозяйству... А Липка энта вбила себе в голову какую-то царевну-королевну ему сосватать...

— Это верно, Липка там все перемутила. Кто ни назовется, ей все не хороши: та, мол, стара, та кособока...

Бабы засмеялись.

— Сам-то дюже хорош! — фыркнула говоруха. — Прынц какой нашелся!

— Прынц не прынц, — сказала старуха, — а первое дело — изба, второе — пенсия. Это, девка, тоже на дороге не валяется. Сейчас баб свободных — сколько душеньке угодно, выбирать есть из чего.

— Да вот уж цельных два месяца выбирают! — хихикнула та, что помянула про Липку. — Что ни день — смотрины.

— Крученая эта Липка, — неожиданно вступила в разговор тетя Паша, — забрала отца в руки и давай вертеть, как ей понравится. А дело — не игрушка.

— Какая игрушка, — вздохнула старуха.

Беата закрыла окно и начала прием. Больных было немного, через какие-нибудь полтора часа она освободилась. Подслушанный бабий разговор не выходил из головы. «Вот случай сбыть Дашонку с рук! — думала она. — Когда еще такое представится...» Исподволь, умненько расспросила у тети Паши, что за Михайла Иваныч, что за Липка. Тетя Паша охотно выложила все, что знала. Не глядя на дождь, Беата отправилась в Горелое, и вечером следующего дня Гаврила тихонько постучал в голубое окно докторшиной квартиры.

— Ну, голубонька! — восхищенно сказал он, выслушав Беатины соображения. — Это сам господь тебя надоумил. Расчудесно бы так-то, без греха... Говоришь, изба у старика справная?

— Отличная, сама нынче смотрела. Да постой, ты ее, верно, знаешь. Ходил когда из Горелова пешеходной тропкой?

— Как не ходить, ну ее совсем! Возле речки кричал, кричал, чтоб перевезли, насилу докричался.

— Кто ж тебя перевозил?

— А господь ее знает, бабенка какая-то, городская вроде. Шустрая такая, пестрая, подбористая...

— Олимпиада. Дочка его.

— Чья?

— Ох, боже мой, да старика, какой жениться собрался!

— О? — радостно удивился Гаврила. — Так это, зна-

чится, его изба на перевозе? Ну, Беатушка, дельно, ей-право, дельно! Ну, чтоб не загадывать... хорошо бы вышло.

— Значит, Гаврюша, внушишь Даше?

— Внушу, внушу, сестренка! Обязательно внушу. Старика бы вот только на Дашкин след навести.

— Ну, это уж не твоя забота, — усмехнулась Беата,— тут, милый, женское дело.

— Верно, верно... Помогай тебе Христос, это верно, это женское дело. Так-то, Беатушка! — Гаврила легонько потрепал Беатино колено. — Вот, бог даст, пристроим Дашку, тогда и сами...

— Опять про Геленджик?

— Опять,— опустил голову Гаврила.— Опять, сладкая ты моя... Нейдет из ума — кончать надо. Видение было мне, — шепотом сказал он.

— Ну, насчет видения, это ты Дашке своей рассказывай! — пожала плечами Беата.— Не нам с тобой в прятки играть.

— Ох, сестренка, — покачал головой Гаврила, — какие прятки! Сердцем чую, как бы не пропасть. Чую, сладкая ты моя, яко змей стозевный вокруг нас... пожрать нас хощет...

— Поехал! — раздраженно перебила его Беата. — Говори толком, не затуманивай. Что еще случилось?

— Гореловский поп в милицию грозит на меня пожалиться.

— Это за что же? Клиентов отбиваешь?

— Стало быть, так. Матренушке вчерась сказал: погоди, говорит, я, говорит, вашему жильцу преподнесу сюприз!

— А что он тебе сделает? Молишься не по его? Вера не та? Ну, миленький, для власти все веры одинаковы, она бы их все с удовольствием придушила.

— Это верно, — согласился Гаврила, — для власти, что отец Митрофан, что я — одна категория... А все ж таки гребтит, ох, как гребтит, Беатушка! Отойти бы нам с тобой в сторонку, Адамовна, от греха, ей-право... Тихо, смирно, самое время отойти...

Беату передернуло.

— В кусты, значит? —тихо, но так злобно сказала она, что Гаврила вздрогнул. «Ну, сила! — подумал он. — Износа бабе нету...»

— В кусты? — повторила Беата.— Значит, все забыл, все простил? И унижения, и Сибирь, и что двенадцатый год, словно мыши, из подполья не вылазим? Эх ты... архангел! — презрительно прищурилась она. —Значит, всю жизнь на то и разменял, чтоб с полоумными бабами да с дураками, вроде Гулюшки, песенки дурацкие распевать? Гаврила Тихоныч! Да ты ли это, дружок? Уж не подменили ль тебя, сладенький ты мой? — Беата с издевкой рассмеялась меленьким смешком. — Забыл, значит? Ну, если ты забыл, так я все помню. Все! Отойти... Подумаешь, мудрость какая — отойти! Сто раз отошла бы и тебя не спросилась! Только знай, миленький, — уже не сказала, а как-то прошипела Беата, — заруби себе на носу: повторится сорок первый год! Да еще как повторится-то!

Гаврила исподлобья поглядел на Беату и не узнал ее: всегда холодно-спокойная, как бы застывшая, она сейчас вся словно изнутри осветилась. Розовыми сделались всегда бледные щеки, в серых глазах поблескивали бешеные искорки, крепко сцепившиеся пальцы побелели от напряжения. «Черт! Черт! — Гаврила залюбовался даже на свою Адамовну. — Этакую в сторонку не спихнешь... Тигра!»

— Ну, ну! — Гаврила подошел к Беате, крепко обнял ее. — Молчи, ягодка, не трави сердце... Куда я без тебя... лапушка ты моя!

Беата вдруг обмякла вся, вся прижалась к Гавриле и такой желанной, покорной, такой родной сделалась враз... Словно маленькую девочку, поднял ее Гаврила, бережно уложил на пестрый монастырский ковер топчана и впился жесткими, колючими губами в Беатин полураскрытый рот.

— Лампу... — задохнулась она. — Лампу задуй!..

В эту ночь Гавриле было «видение»: пришел Христос-батюшка, сел на кроватку в гаврилиных ногах и сказал, что в Ракитином селе слепенький старичок живет, бесы глаза ему замазали... Пусть, дескать, архангел Дарье-деве благовещенье сделает, чтоб, значит, шла она за того слепенького замуж и очи ему просветила бы...

Утром Гаврила Тихоныч сообщил Дарье божью волю. И Дарья, заплакав, поклонилась ему в ноги, сказала: «Делай со мной, батюшка, что хочешь!»

Вскоре в Матренушкиной келье появилась Липка, и судьба Михайлы Иваныча была решена.

15.

Таня рассталась с больницей только в конце июля. Она поправилась, окрепла, ее давно можно было бы выписать, но Беата день за днем все тянула, уговаривала родителей не спешить. Да Таня и сама не очень-то рвалась домой. С той ночи, когда она впервые побывала у Беаты, ею овладело такое необычайное, восторженное состояние, какого она никогда еще не испытывала. Ей казалось, что до сих пор она за каким-то занавесом жила в том маленьком, ничтожном мире, где были отец с его скучной службой и рыболовными принадлежностями, вечно хлопочущая по хозяйству мать, наконец, бабушка, которую в доме никто не замечал... В трех низеньких комнатках отчего дома жила скука, какие-то пустопорожние, сонные разговоры о гусынях, о перестройке курятника, о том, как хороша, жадна на корм свинья, которая к октябрьским, бог даст, пудиков на десять вытянет... Или о ракитинских новостях, большей частью — кто с кем живет или кто с кем разошелся. Изредка приходили гости, обязательно выпивали, за столом сонной мухой нескончаемо зудели досужие пересуды о том, о сем и опять-таки, главным образом, кто с кем живет, кто кого подсидел... А мать все время тревожно поглядывала, следила, как бы Викентий Петрович не хватил лишку, не захмелел бы: очень уж нехорош он был выпивши.

Правда, и книги водились в гусаровском доме, этажерка с ними стояла в парадной комнате, в зале, где принимали гостей. Но, боже мой, что это были за книги! Тощие, унылые брошюрки и толстые, но не менее унылые справочники, в которых, как в зеркале, отразилась служебная деятельность Викентия Петровича: «Сыроварение», «Заготовка и хранение овощей», «Памятка работнику потребкооперации», «Календарь пчеловода», «Происхождение праздника пасхи», «Спутник атеиста»... Скука, скука, скука...

Это все Тане так представлялось, когда она в больнице вспоминала о доме. Она как-то совсем позабыла, что ведь не все в ее жизни была серость и скука, она школьную парту позабыла, хороших ребят, драмкружок, свои мечты уехать учиться в театральной студии... Те замечательные минуты позабыла, когда, затаив дыхание, люди следили за ее игрой, когда она словно поднималась надо

всем миром в сладком и грозном порыве вдохновения... Наконец Виктор... Виктор! Неужели она и его позабыла? Что?

На секунду перед Таней вспыхивал яркий лучик... но тут же и угасал. Торжественная, сладостная музыка звучала в ушах, музыка, как бы отрешенная от земли, музыка того таинственного и великолепного мира, который до сих пор скрывала от нее тяжелая и пыльная завеса ракитинской жизни.

Почти каждый вечер уводила ее Беата к себе. Сначала они вдвоем пели, потом к ним присоединилась Сима. У нее оказался сильный, очень красивый альт. В три голоса превосходно звучали старинные романсы — «Вечерный звон», «По небу полуночи», «Был у Христа-младенца сад», «В минуту жизни трудную». Беата не сразу запела стихи из Игнатовой тетрадки, она приучала Таню понемногу, потому что знала настоящую цену диковатым и малограмотным епифаньевским виршам и, видимо, побаивалась, как бы ими не оттолкнуть интеллигентную, довольно начитанную девушку. С Симой было проще, ей, не искушенной в стихах, все нравилось, но вот Таня... Все-таки от Маяковского и Блока до Игнаткиных сочинений — большая, как говорится, дистанция.

Но что делает музыка! Торжественные звуки фисгармонии взмыли к самому небу, и Беата пропела одну из коренных епифаньевских — «Влачим мы, братья, свое бремя». Ей самой вдруг немножко стыдно сделалось: очень уж гнусавая песенка! С опаской оглянулась на Таню — и вздохнула с облегчением: Игнаткино рукоделье было принято за чистую монету. После этой пробы Беата уже не стеснялась.

И вот наконец Таня дома. Ох, как нехорошо показалось ей тут! Она пришла к обеду. Мать встретила ее с засученными рукавами, багрово-красная от кухонной жары. Она обняла Таню, прижала к пропахнувшему луком и подсолнечным маслом переднику и заплакала. «Чего это она плачет? — удивилась Таня. — Вчера была у меня, не плакала, а сейчас...» Викентий Петрович вываливал из чугунка на кухонный столик дымящийся распаренный горох: он собирался на вечернюю зорю.

— А, Татуша! — помахал рукой отец. — Соскучилась небось по дому-то?

— Да,— вежливо сказала Таня, хотя последнее время

она не только не скучала по дому, но даже и не вспоминала о нем.

— Дым отечества,— начал было Викентий Петрович, но густым паром из чугунка обжег руку, подул на пальцы и уж потом добавил: — нам сладок и приятен.

Таня заглянула в комнаты. Нет, ничего приятного не нашла она в «дыме отечества». Все те же глупые жирные фикусы в зеленых кадочках, доисторический черный буфет с вычурной, мудреной верхушкой, картина «Девятый вал», этажерка со скучными брошюрами... Все, все до мелочей оставалось в доме по-прежнему, как будто не четыре с лишним месяца, а вчера только ушла отсюда Таня. Одно лишь несколько удивило ее: портрет Сталина, висевший над письменным столом Викентия Петровича, исчез. С тех пор как Таня помнила себя, она и этот портрет помнила: в маршальской форме, с орденами и звездами, с еле уловимой улыбкой, не то ласковой, не то презрительной. Сейчас на месте портрета красовались какие-то вышитые квадратиками по канве цветы.

За обедом Викентий Петрович спешил, ел обжигаясь, все его мысли, видимо, были на реке. Недовольно поджимая губы, мать только головой покачивала. Таня спросила, почему сняли портрет. «А! — с набитым ртом сказал отец. — Разве ты не слышала? Тут такие дела!» — «Молился, молился, — проворчала бабушка, — да стал, слышь ты, нехорош, на чердак закинул...» — «Вы бы, Прасковья Алексевна, помолчали! — раздраженно сказала мать. — Абсолютно не вашего ума дело!» Бабушка обиделась, и до самого конца обеда все что-то бурчала себе под нос.

После киселя Викентия Петровича словно ветром сдуло. Мать ушла на кухню, сердито гремела там посудой и переругивалась с бабушкой, наверно, все из-за того же: зачем вмешиваться в Викентий Петровичевы дела? Таню всегда забавляло это материно благоговение перед служебными и общественными делами мужа. Дома она его в грош не ставила, случалось, что и до рукоприкладства доходило, но таинственная область мужниной общественной деятельности была для нее святыней.

Тане надоело слушать перебранку на кухне, и она незаметно ушла из дома. Очутившись за калиткой, она подумала: «А куда же, собственно, идти?» Уже вечерело, солнце ушло за верхушки садов, улица подернулась синевой,

но в просвете проулка, где между плетнями, словно в воротах, открывалась луговая даль, было ярко, розово, золотисто, и чудесно голубели у горизонта леса.

Тане не хотелось идти в село, не хотелось встречать знакомых ребят, девушек, которые, наверно, будут лезть с ненужными и глупыми вопросами, на которые сейчас ей было не только трудно, но и невозможно отвечать. Почему? Да потому, что все они были по другую сторону завесы, там, куда она уже больше не возвратится. Необычайно остро почувствовала Таня свою отрешенность в этот тихий вечерний час. Она вздохнула и медленно пошла к реке.

Как хорошо, как спокойно было у воды! По всему берегу лежали белые камни, всякие — маленькие и побольше, иные величиной с хорошую избу. Взобравшись на большой, еще не остывший камень, Таня задумалась. Ей вспомнились бабушкины слова за обедом. Да, да, молились всю жизнь, потом сразу отреклись и забросили на чердак... Вон как все непрочно в том мире, откуда она ушла! Отец — коммунист, а какая цена его партийности? Вот скажи ему: Викентий Петрович, выбирай — членский билет или жизнь. Разумеется, билет отдаст и не охнет. За идею на костер, будьте покойны, не пойдет. Смешно и говорить об этом...

Тане отчетливо представилось гордое, одухотворенное лицо поющей Беаты, ее сосредоточенный, устремленный в вышину взгляд... Два образа возникли в Танином воображении: отец и Беата. Первый — безнадежно приземленный, рыхлый, серый, будничный; второй — весь в величественном полете, неудержимо стремящийся ввысь, как бы горящий огнем восторга и вдохновения... Боже мой, какое же сравнение!

И Тане ясно послышалась могучая, победная музыка. Ей показалось, что мощные звуки откуда-то сверху лились. Невольно глянула она вверх: на ясном небе стояло необычайной формы лилово-розовое облако. Оно было похоже на вздыбившегося коня и, освещенное закатным солнцем, чуть золотилось по краю. Белые змейки молний то и дело пересекали его, метались, как в западне. А музыка...

— Вот занятное явление! — сказал кто-то за Таниной спиной. Она вздрогнула, обернулась. Перед ней стоял Карасев. Он смущенно и радостно глядел на Таню.

И сразу заглохла музыка.

16.

К октябрьским праздникам «Женитьба» была готова. Спектакль получился яркий и веселый. После решительного Таниного отказа на роль Агафьи Тихоновны была приглашена Нюська. Поломавшись сперва для виду, она согласилась и так представила гоголевскую купчиху, что Карасев только руками развел: кто ж мог подумать! Нюська торжествовала. «Нам, конечно, до Юлии Борисовой далеко, но и мы кое-что можем... А твоя, Васенька, Марецкая-то, — ох, не могу! — все с докторшей божественные романсы распевает!» Со стороны Нюськи это напоминание было жестоко, Карасева корчило, он сердился на Нюську, говорил: «Что ж тут смешного? Девушку словно в трясину засосало, а тебе — хи-хи! Тут надо беспощадную войну мракобесам объявить, а не потешаться!»

Легко сказать — войну! Как будто он сидит сложа руки. Ему не забыть тот разговор с Таней вечером на берегу, когда они вместе разглядывали необычайное грозовое облако. Он тогда решил идти напролом, высказать Тане свои соображения, назвать вещи своими именами.

— Можно с тобой поговорить откровенно? — спросил он.

— Конечно, — кивнула Таня, — говорите.

На секунду Василий испытал примерно то, что испытывает неопытный пловец, впервые прыгающий в воду с восьмиметровой вышки. Этот разговор решал многое, и все зависело от того, как его повести. Карасев кинулся в атаку.

— Во-первых, ты очень переменилась, — выпалил он, глядя на грозное облако.

— Знаю, — сказала Таня.

Карасев почему-то ждал, что она станет отпираться, что ему придется напомнить об их разговоре в больнице, а она вдруг так сразу согласилась. Это тихое, спокойное «знаю» сбило его с того боевого, даже, может быть, обличительного строя, с каким он собирался идти на приступ. Василий растерянно смотрел на конеподобное облако, оно расплывалось на его глазах, меркло, делалось плоским, меняло грозные очертания. И, как бы отразив душевное состояние Карасева, потухли молнии. Едва заметная улыбка мелькнула на Таниных губах. Как умна, как чутка была эта девушка! «Нет! — упрямо сказал себе Карасев, немно-

го рассерженный Таниной улыбкой. — Нет, я не должен погаснуть, как это дурацкое облако! Тут не мое, личное, тут — наше общее...»

— Никогда не видела ничего подобного, — сказала Таня, вероятно, про облако.

— Я тоже, — буркнул Карасев. — Вот что, Таня, — решительно сказал он, — я все понимаю, ты ушла от нас, но ты вернешься...

Таня молча покачала головой.

— Вернешься! — настойчиво продолжал Карасев. — Тебе голову задурила проклятая Беата, вот что. Извини, я прямо это говорю, врачиха — темная личность, ты многого не знаешь. Это шайка целая... Слушай, у них в Горелом черт знает что делается, там какой-то пророк или архангел, что ли, орудует, и Беата эта распрекрасная чуть ли не правая рука у него. Я еще не все разузнал, но будь я проклят, если не выведу на чистую воду всю эту шатию-братию! Нет, ты понимаешь, в какое тебя болото заманивают? Понимаешь?

Карасев остановился перевести дыхание и поглядел на Таню. Она сидела на камне, обхватив руками колени, глядя куда-то прямо, чуть-чуть вверх, туда, где недавно такое грозное, диковинное облако разлетелось на множество мирных розовых облачков. Ни гнева, ни смущения, ни раскаяния — ничего не выражало ее лицо. Оно было бесстрастно, холодно, как камень, на котором она сидела.

— Что ж ты молчишь? — почти крикнул Карасев.

Таня спрыгнула с камня и, не взглянув на Карасева, медленно пошла по крутой тропинке.

— Таня! — с отчаянием в голосе позвал Карасев. — Танечка!

Она ушла, так и не сказав ни слова.

Итак, «Женитьба» была поставлена. Спектакль хотели показать на октябрьские праздники, но строительство клуба основательно задержалось: на полях удался редкостный урожай, и молодежи пришлось упорно поработать на уборке. Наконец был ввинчен последний шуруп, последняя филенка протянута, закончена подводка света, и вечером тридцатого ноября новый клуб радостно сверкнул всеми окнами, заполыхал огромным красным флагом над крышей. Громогласная радиола грянула в мощный усилитель:

«А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер!»—и пустырь возле часовни зашумел говором и смехом множества людей, потянувшихся к ярко освещенному клубу.

Вдруг музыка оборвалась. Яркие лампы вспыхнули между четырьмя колоннами портала. Сверкая начищенными сапожками, на ступени высокого крыльца торжественно взошел товарищ Коноплин Федор Иваныч и поднял руку. «Тише, тише!» — раздалось в толпе.

— Товарищи! — неестественно рычащим басом сказал в микрофон Федор Иваныч. — Сегодня ракитинская общественность, так сказать, отмечает большое событие в культурной жизни нашего района... Через пять минут распахнутся двери нового клуба, нового, так сказать, культурного очага, который...

— Про железо скажи! — раздался чей-то насмешливый голос.

— Про парикмахерскую!

Веселый смешок волной прокатился по толпе.

— ...который, товарищи, — нимало не смутившись, продолжал рычать Коноплин, — явится новым убедительным доказательством неуклонного, так сказать, роста культуры на селе вообще и в нашем Ракитинском районе в частности. В самый короткий срок мы сумели воздвигнуть это прекрасное здание... где наша замечательная молодежь... покажет свои таланты, где, так сказать...

Окончив небольшую речь, товарищ Коноплин разрезал ножницами голубую ленточку, натянутую поперек двери, и широким жестом пригласил собравшихся войти.

В новом помещении пахло краской и хвоей. Над входом висело красное полотнище с надписью «Добро пожаловать». Через минуту в зрительном зале яблоку негде было упасть. Не успевшие захватить место на скамейках устраивались на подоконниках, усаживались в проходах на полу, толпились в открытых дверях. Задребезжал пронзительный электрический звонок, на потолке погасли люстры. Освещенные снизу светом рампы, тяжелые красные складки занавеса жарко горели. Наконец занавес рывками распахнулся на две стороны, и зрители ахнули: на фоне голубого и зеленого ракитинского заречья стояла большая группа знакомой молодежи. Все знали, что вечер откроется выступлением нового хора, но какой же это хор? Почему-то готовились увидеть стройные ряды хористов, наряженных в расшитые сарафаны и шелковые рубахи, гото-

вились к ослепительной пестроте и блеску лент, позументов, стеклянных ожерелий, навакшенных сапог... но ничего этого не оказалось. Ребята и девушки стояли в рабочей одежде, в забрызганных мелом передниках, комбинезонах, с лопатами, пилами и мастерками в руках. Откуда-то сбоку вышел секретарь райкома комсомола Павлик Фесенко и сказал:

— Дорогие друзья! Перед вами хор ракитинской молодежи, хор строителей нового клуба. Песня, которую мы сейчас споем, рассказывает о том, как строился этот клуб...

Он повернулся к строителям, тихонько дал тон, взмахнул своими длиннейшими руками, и грянула песня:

Загорелась заря за околицей,
Потемнела синяя высь...
Собрались, как один, комсомольцы,
С песней звонкою собрались...

Хору подолгу хлопали после каждой песни. Огромный успех достался на долю Нюськи и Петяши: они спели частушки собственного сочинения, в которых попало, между прочим, и Коноплину с Викентием Петровичем. Это особенно смешно вышло. Нюська пронзительно завела:

— У товарища Гусарова
Хлопот невпроворот...

— Клюет окунь, клюет щука,
А культработа не клюет! —

мрачным басом пояснил Петяша.

Федор Иваныч толкнул локтем Викентия Петровича и прыснул. Тому было не до шуток: утром резали свинью и он маленько «спрыснул свежинку». От этого спрыскивания так тяжело, так тупо болела голова, что он не сразу сообразил, в чем дело, а сообразив, обиженно надулся. А Нюська снова зачастила:

— Эх, в Ракитином творятся
Непонятные дела...

— С клуба крыша соскочила,
К парикмахерской ушла, —

под общий хохот закончил Засядько.

Федор Иваныч крякнул и стал вытирать платком розовую лысину.

В антракте разнеслась новость: зима пришла. Куриль-

щики, выходившие на улицу, возвращались запорошенные снегом; в гулко хлопающие двери напористо и весело врывался свежий морозный воздух; от крепкого топота множества ног капустным кочаном хрустело заваленное снегом крыльцо; смехом, солеными шутками наполнились просторные сени: всегда русскому человеку радостен первый снег.

Спектакль прошел великолепно, действие то и дело прерывалось аплодисментами. Зрителям особенно понравился Тимка: он играл Жевакина и так потешно дрыгал ногой, что зал покатывался со смеху; да и самого Тимку смешно было видеть в усах и бакенбардах, в каком-то немыслимом мундире и треугольной шляпе. Актеры упивались своим успехом. Один Карасев хмурился, покусывая ногти, был молчалив, рассеян, отвечал невпопад. С самого начала высматривал он Таню, с замиранием сердца думая, придет или нет. Она не пришла. Он хотел даже спросить у Викентия Петровича, не заболела ли, но не решился. Впрочем, еще давеча, передавая Тане пригласительный билет, Карасев был уверен, что она не придет.

Все было кончено, в клубе потушен свет. Оживленно разговаривая, разошелся народ. Веселой, галдящей стайкой высыпали на улицу актеры. Карасев незаметно отстал от них, ему хотелось побыть одному. Медленно брел он, не очень-то разбираясь, куда лежит его путь. Снег валил и валил. Белесая качающаяся мгла окутывала село; деревья, избы — все казалось как бы задернутым марлей. Неожиданно перед Карасевым зачернел больничный сад, из глубины которого слышалось странное позвякивание железа. Карасев остановился, прислушиваясь. К отрывистому лязганью железа прибавились негромкие голоса. Наконец в проломе кирпичной, сложенной в крест ограды показалась какая-то несуразная фигура: бородатый человек в фуражке бежал, мелко-мелко перебирая по снегу босыми ногами. Это был Гулюшка. Причудливой тенью скользнул он по пустырю и пропал, спрятался за марлевой занавеской снежного тумана. Голоса приближались. Еще несколько человек вышли из сада и, растянувшись цепочкой, побрели к селу. «Что они там делали?» — подумал Карасев и вдруг замер, весь подался вперед, до боли в глазах всматриваясь в колеблющуюся мглу. Неужто Таня? Да, точно, она: ее пестрый леопардовой расцветки жакет, белая, вытканная крупными розана-

ми шаль... Но кто это с ней? А, Сима, горбатенькая официантка из чайной!

Последними из пролома вышли двое — старик и женщина. В старике Карасев сразу узнал Михайлу Иваныча, бакенщика, а женщина была незнакома. «Ах, да, жена, вероятно, — сообразил Карасев, — ведь он женился недавно...» Эти двое прошли в трех шагах от него, он даже обрывок их разговора услышал.

— Все ж таки чудно̀ мне как-то, Даша, — говорил старик, — религия оно, конечно, и так и дале... да уж дюже галдеж какой подняли, да как зачали сигать — прямо-таки, фактически сказать, растерялся я, ей-богу! Ну, и насчет святого духа, фактически, сомненье берет, вроде бы как ребятишки на потолке зайчика делают...

— Ох, сладенький ты мой! — тихо рассмеялась женщина. — Ни в чем не сомневайся, все, все расскажу тебе, все объясню... Ты ведь, Миша, теперь родной мне стал, благословил меня батюшка, чтоб я тебя допустила...

— О? — весело, живо воскликнул Михайла Иваныч. — Ну, это спасибо, это удружил!

Он остановился, обнял женщину, и та нежно прижалась к нему.

— Видишь, Миша, снег этот? — восторженно сказала она. — Белый, чистый... Вот так и вера наша, как белый снег, чиста!

Вот и прошли Михайла Иваныч с Дарьей, исчезли в густом снежном куреве, снова обезлюдел пустырь, как будто никого тут и не было. Только вдали где-то нет-нет да и лязгнет Гулюшкина цепь, встревоженные собаки зальются звонким злобным лаем...

Карасев пробормотал: «Ну, чертова Беата!», погрозил кулаком в сторону больницы и быстро, решительно зашагал домой.

---

4. ЗМЕЙ СТОГЛАВЫЙ



Сколько веревочке ни виться, а конец найдется.

Русская пословица.

1.

Отец Митрофан действительно сообщил в милицию о таинственных собраниях, происходящих в доме черничек. Однако он не решился сделать это письменно, потому что побаивался официальности, не хотел оставлять в милицейских архивах свой след: как бывший бухгалтер, отец Ми-

трофан знал цену бумажки с подписью. Нет, затевать форменную кляузу не входило в его планы, он просто, ну, как советский гражданин, что ли, сигнализирует, если можно так выразиться...

Участковый милиционер, тот самый, какому Гаврила починил сапоги, довольно равнодушно отнесся к поповскому «сигналу». Он так рассудил: «Что ж такого, что собираются и песни поют? А у кого, спрашивается, в Горелом не собираются и не поют? Как хватят самогончику, так вот тебе и запели. По такому делу все село на подозрении надо держать...» Кроме того, участковый от своей жены слышал о ссоре попа с черничками, и заявление его истолковал, как желание напакостить Матренушке с Агафьюшкой. Ну, и отлично починенные сапоги, вероятно, в какой-то мере располагали участкового в Гаврилину пользу.

— Проверим, — сухо сказал он отцу Митрофану.

И как-то вечерком, проходя мимо черничкиного дома, действительно, зашел вроде бы напиться квасу, отменным приготовлением которого Матренушка славилась на все село. Картина мирного труда представилась ему: Матренушка вязала чулок, Агафьюшка раскраивала на столе какую-то пеструю ткань, Гаврила, пристроившись на низеньком стульце, ловко орудуя шилом и дратвой, подшивал старый валенок. Возле самой лампочки перед раскрытой книгой сидела Дарья. Милиционер выпил квасу, похвалил его за дух и крепость, за то, что шибко в нос ширяет, посидел немного для приличия и, вполне удовлетворенный, ушел.

Бог знает, какими путями узнали чернички о Митрофановом доносе. Вернее всего, через милиционерову жену, у которой Агафьюшка была на положении придворной портнихи. Услыхав про поповскую кляузу и сообразив, что неспроста заходил участковый, Гаврила решил на время прекратить сборища «божьих людей». На последней вечерушке со слезами на глазах читал про Савловы гонения на Христа: «Савл, Савл! Что ты гонишь меня?» И, как много раз это делал, мысленно применил читаемое к себе и плакал без притворства. И собравшиеся настроились печально. Тяжко вздыхал, точно боров, кряхтел Конопацкий, повизгивая, всхлипывали Пелагея с Капитолиной: Марфута завыла даже в голос; Дарья вскочила, вскрикнула было, но Гаврила погрозил пальцем, и она осеклась.

Один Демушка сидел молча, опустив голову, как бы не замечая происходящего вокруг. С горечью думал он, что вот и эта вера не наполнила его сердце, что и тут не нашел он истины: подобное и прежде видел он и у баптистов, и у трясунов — те же унылые песни, те же выкрики, то же искусственное взбадривание чувств. Из ума не выходило зловещее, таинственное слово «армагеддон» — борьба бога с дьяволом, святая война. Демушка от старого знакомца из Сибири получил письмецо, тот извещал его об истинной вере «свидетелей Иеговы», звал к себе, сулил открыть многое, чего не знают люди, что скрыто от непосвященных. Да и как им знать-то, когда «свет» из-за океана, из самого города Нью-Йорка идет...

— Так-то, братья,— выпевал Гаврила,— видно, месячишко-другой поголодуем духом, не узрим голубенка нашего... Видно, схорониться надо. Когда время придет, знак дам. Не горюйте, деточки, — у бога дней много, — еще споем, еще восхвалим господа! А сейчас — виноватюсь! — нельзя...

— А цего з — нельзя? — спросил до той поры тихонько сидевший на полу у порога Гулюшка.

— Ох, братик, нельзя, не велят нам!

— Хто з не велит? — тянулся с порога Гулюшка.— Сказы́, батюска, сказы́, милой...

Гаврила промолчал, а Матренушка сердито кинула:

— Поп Митрошка не велит!

— У, цолт гладкой! —погрозил Гулюшка. — Вот я его в плоулке подкалаулю!

— Дай ему, дай, Гулюшка! — брякнула смешливая Агафьюшка.

После этой печальной вечерушки жизнь в черничкиной келье потекла потихоньку. Гаврила усердно чеботарил — от заказчиков отбою не было. Дарья ходила с заплаканными глазами, страшно, дико казалось ей покинуть «батюшку», переселиться к какому-то чужому старику. Но в то же время в потемках помутившегося рассудка тлела искорка гордости от сознания того, что господь через Гаврилу не на кого-нибудь, а на нее именно указал.

В домике Конопацких вечерами частенько стали накрепко запирать ставни, завешивать плотными половиками окна: с разрешения Гаврилы там тайно созидался «малый храмчик», куда все те же собирались, и даже кое-кто из новых, но сам Гаврила держался в стороне, да он к то-

му же был занят Дарьиной свадьбой. Еще Демушки недосчитывались: продав свою убогую хатенку, он сложил в сундучок столярный инструмент и укатил куда-то в Сибирь. Говорили, в Иркутск будто.

Вот в эту самую пору к участковому снова пожаловал отец Митрофан. На этот раз он подал письменное заявление, в котором жаловался на гражданина Сапрыкина Ивана Тимофеича. «Гражданин Сапрыкин И. Т., — говорилось в заявлении, — действуя по наущению темной личности, а именно: гр-на Светличного Гаврила Тихоновича, проживающего по Нагорной улице в доме сестер Зюзиных, пятого ноября сего года в ноль часов двадцать минут пополуночи напал на меня и совершил акт хулиганского избиения. Прошу органы милиции,—заканчивал отец Митрофан, — расследовать вышеупомянутое дело о хулиганском нападении гр-на Сапрыкина И. Т., а также привлечь, как подстрекателя, гр-на Светличного Г. Т., о коем мною вам было ранее сигнализировано устно».

Подождав, когда участковый прочтет заявление, отец Митрофан снял свое бобриковое полупальто, пиджак, стянул рубаху и показал следы избиения. Действительно, на белой крупитчатой спине священника виднелись синяки и царапины, кроме того, под правым глазом красовалась преогромная гуля, уже начинавшая зеленеть и столь распухшая, что даже несколько кривила на сторону сытое, румяное лицо отца Митрофана.

— Это какой же такой Сапрыкин? — задумчиво спросил участковый. — Я чтой-то и не знаю такого...

— Он более известен как Гулюшка, — сказал отец Митрофан.

— Гулюшка?! — участковый присвистнул даже. — Так что ж ты с него возьмешь, коли он дурак дураком и уши холодные! Он как-то раз и на меня кинулся со своей цепью, вон дело какое... Абсолютно сумасшедший человек, чего ж на него жалиться?

— Сумасшедший-то сумасшедший, но... — отец Митрофан значительно поднял палец, — но вы заметьте себе, что в данном случае он действовал по наущению...

— Это сапожник, что ли, по-вашему, его научил? — вспомнив ссору попа с черничками, насмешливо спросил участковый. — Ну, знаете, батюшка, опять, как говорится, двадцать пять, за рыбу деньги! Это уж ваши там личные счеты на религиозной почве, таковые дела милиции не ка-

саемы. А между прочим, — участковый постучал ногтем по бумажке, — вот вы тут пишете, что нападение было совершено в ноль часов двадцать минут. А в каком месте, разрешите узнать?

— Считаю, что это к делу не относится, — раздраженно сказал отец Митрофан и поспешил распрощаться, потому что место, где его прихватил Гулюшка, ему как раз и не хотелось указывать: это случилось на крыльце продавщицы Полинки, посещение которой, да еще в столь позднее время, отец Митрофан по вполне понятным причинам хотел сохранить в секрете.

2.

Вскоре всему селу стало известно, что Гулюшка избил попа собачьей цепью. Узнав про это, Гаврила прямо-таки за голову схватился. Он вспомнил последнюю вечерушку и как Гулюшка все допытывался тогда, кто мешает им петь и плясать, вспомнил неосторожные Агафьюшкины слова и плюнул даже с досадой: «Ох, бабы! Вот уж, именно, язык без костей!» Донос отца Митрофана — раз, Гулюшкина выходка — два — все это к хорошему не приведет, как бы милиция не насторожилась... он, конечно, угодил участковому сапогами, да ведь не один он в районе, участковый-то... «Плохо, братики, плохо! — качал головой Гаврила. — Чует сердце беду, ох, как чует... да вот — Беатушка!»

Все утро он сокрушенно вздыхал, и вдруг чувство страшного одиночества охватило его: привык, привык к Дашонке, и вот не стало ее возле, ушла в чужой дом, как этого захотелось Беате... Снова Степановы горячие глаза вспомнились: «Не оставь Дашонку, один ты у ней!» Вздрогнул Гаврила — так явственно представился Степан Максимыч, словно бы даже его хрипящий шепот послышался...

Чтобы развеять темные мысли, проветриться, что ли, взял Гаврила кошелку, пошел на базар. День был воскресный, яркий, солнечный. Погожая осень держалась — утрами заморозки, все — бело, иней лежит, как снег, туманы непроглядные в розовом, золотом сиянии восходящего солнца. А потом — тихий, благодатный день, и воздух невероятно чист, звонок, и так ласково, так любовно в тишине пересвистываются синички...

Гаврила и в самом деле отвлекся от черных мыслей. Дорога на базар глубоким логом шла, справа по крутогорью лепились избы, слева, по вырубленным в войну садам, между голыми кустами дикой поросли и черными пнями бродило козье стадо. Старик пастух сидел на высоком пеньке, нацепив очки, важно читал газетку. Все было мирно, хорошо, от давешних опасений и следа не осталось. Вот и базар, он уже почти кончился, редкие торговки еще торчат под дощатым навесом, с бидонами молока, с яблоками, да возле закусочной десятка два мужиков и баб собрались, окружили, слушают каких-то артистов-побирушек, как лихо выщелкивают они деревянными ложками, припевая, приговаривая что-то, видно, потешное, потому что время от времени раздаются взрывы смеха. «О-па! О-па! Америка—Европа!» — под трескотню своих нехитрых инструментов тараторили «артисты» озорную припевку.

Гаврила пошел было и себе поглядеть на даровое представление, но вдруг враз остановился, как будто на глухую стену наткнулся впотьмах. Один голос вдруг явственно выделился в припевке: «Аме'гика — Ев'гопа!» — резко картавил голос. Холодный пот прошиб Гаврилу. «Кронька!» — словно кувалдой, ударило по голове. Ему не видать было комедиантов, их толпа заслоняла, но надо, во что бы то ни стало надо было сейчас же увидеть, убедиться... Осторожно, прячась за спинами зрителей, пристроился Гаврила, пригнувшись, глянул на артистов и отшатнулся: он! Он, окаянный! Но не как тогда весной на станции, не такой уж заросший и оборванный, а довольно чистенький, в сером потрепанном плащишке, в тапочках на босу ногу, бьет в ложки, гримасничает... И вроде бы как и не изменился ничуть: тот же тонкий, с горбинкой нос, глубоко запавшие глаза, чубчик черных с проседью волос... только разве вот лицо все в мелких резких морщинках, как надтреснутое стекло, да крохотные усишки из смоляных почти седыми сделались...

Кронидов напарник — одноглазый, мордастый, рябой, весь какой-то опухший и, видимо, пьяный, особенно потешал зрителей скверными, непристойными жестами. «Разбойник! Прямой разбойник! — содрогнулся Гаврила. — А Кронид? Да этот еще хуже разбойника!..»

Оборванцы кончили песню, «Аме'гика — Ев'гопа!» — последний раз выкликнул Кронька и, легко вскочив с зем-

ли, пошел, прихрамывая, с картузиком: «Ну-те, б'гатцы-колхозднички! Кто сколько может... инвалидам войны...»

В три погибели скорчился Гаврила, воровато шмыгнул за угол закусочной да по-за ларьками, по-за избами — скорее прочь с базара, домой. Он чуть ли не бегом бежал через лог, где так мирно, чудесно давеча синички перекликались. Какие там синички! «Аме'гика — Ев'гопа!» — трескучим громом картаво раскатывалось в ушах.

Прибежав домой, минуты не медля, собрался, сказал изумленным черничкам, что уходит в Ракитино, что когда придет время, — знак даст, и не улицей пошел, а огородами, задами, словно хоронясь от кого-то. Постель, чемодан с бельишком, сапожный инструмент — все кинул, одну клеенку со своим изображением забрал, скатав ее в трубку и завернув в одеяло. Сестры струхнули, не знали, что и подумать; в конце концов смекнули, что вся тревога — Митрофановых рук дело, и пуще озлобились на попа.

А Гаврила шибко шагал через луг по тропинке, боялся оглянуться и, только ступив в лес, вздохнул посвободней. Тут можно было передохнуть, поразмыслить. Свернув с тропинки, он зашел вглубь, в чащобу, присел на трухлявый пень и задумался. Так... Значит, Кронька в этих местах околачивается, теперь уж сомнений не было. Жив, значит. По всему судя, возле станций держится, побирушничает по поездам. В Ракитином встречи с ним бояться, вроде бы, нечего. Ну, а если все-таки случится встретиться? Избави бог и подумать об этом! Эх, Адамовна, милка! Как ведь славно прижились на Кавказе, так нет, на русскую землю потянуло... а что тебе, голубонька, в русской-то земле? Ох, как не хотелось Гавриле с Черным морем расставаться! Чуяло, ей-ей чуяло сердце, что не к добру приедут, — вот, пожалуйте, по его и вышло...

Хорошо было, спокойно в лесной чаще. Когда шел, свернув с тропинки, опавшие листья под ногой шуршали, весь лес был полон гулкого шороха, а сел, прижукнул — и кругом такая тишина сделалась, что и повернуться страшно, кажется, от самого малого движения громовень пойдет по оголенным деревьям осенней чащи. Гаврила вздрогнул: над головой щелкнуло — «чок!». Каким-то чудом уцелевший оранжевый лист, лапчатый, с коричневой и красной ржавчиной, сорвался со старого клена, медленно

падал, с легким шумом задевая за голые сучья, как бы перешептываясь с ними на лету... «Долго ж ты не сдавался! — подумал Гаврила. — Вот и я...» Но мысль оборвалась, кто-то тяжело, гулко вздохнул за спиной. «Господи-батюшка, кому бы это быть?» В трех шагах матерый, с лопатами-рогами, горбоносый лось стоял, внимательно глядел на Гаврилу. Зверю, видно, не понравилось, что человек шевелится, и он всхрапнул, передней ногой стал рыть землю... «Вот он, конец-то!» — мелькнуло в Гавриливой голове, точно ожгло. Почему-то вспомнилось Ямище, иноземцевский дом, Степан, заросший лопухами фабричный двор, умирающий Игнат, Дашонкин граммофон, нищенство, пожары, Сибирь, медная дощечка Адама Оттовича, пестрые березы, Беатины холодные глаза, визг и скрежет дисковых пил, война, Кронид, картина на клеенке и вопли, вопли обезумевших скачущих баб... В одно мгновение все это сверкнуло в памяти, как безмолвная вспышка молнии в черную воробьиную ночь...

Медленно, словно в раздумье, повернулся лось, пошел прочь, не спеша пошел, обгрызая по дороге тонкие прутики осиновой поросли, и исчез за черными стволами деревьев, ни шороха, ни самого легкого треска не оставив за собой. И опять в лесу сделалась тишина, только в висках постукивало от гулких толчков бешено мчавшейся крови.

Поднявшись с пенька, Гаврила почувствовал, как ослабели, задрожали ноги, а в животе словно все внутренности опустились. «Робок, робок стал, малодушен! — с огорчением подумал он. — Животную, божью тварь испугался, а?» Но нервная встряска как-то вдруг облегчила, улеглось душевное смятение, и Гаврила шел по узенькой тропинке смело, уверенно, даже напевая тихонько:

Бедная, бедная,
Бедная я,
Горькая, несчастная
Участь моя...

Уже кончался лес, среди чащи завиднелись просветы, когда вверху послышался сильный шум множества крыльев: над самыми макушками деревьев летел журавлиный косяк, видимо, шел на ночевку. Задрав голову, Гаврила глядел на журавлей и думал, что это — добрый знак, что, может быть, благодарение богу, все еще хорошо обернется. Бодро, весело вышел он к реке и сразу на том берегу увидел Дарью, и по тому, как неподвижно сидела она, по-

нял, что не замечает его, вся в себя ушла. Он хотел было крикнуть, чтобы перевезла, но в ту же минуту разглядел чуть ли не у самых ног до половины затопленный челночок. «А ну-ка, господи благослови!» — сказал Гаврила и смело шагнул в челнок. Утлое суденышко почти вровень с бортами погрузилось в воду. Оттолкнувшись палкой, Гаврила поплыл. На самую малую долю секунды шевельнулось сомнение: ой, не переплывешь, потонешь... не вернуться ли? Но какая-то развеселая отчаянность овладела им, и он толкал челночок все вперед, ловко подгребая палкой, благополучно добрался до мели, и тут только лодчонка налилась через край.

Гаврила прыгнул в воду и, мокрый до колен, вышел на берег.

— Батюшка! — вскрикнула Дарья. — Да как же ты по воде-то прошел, яко по суше...

— Христос, Даша, Христос, милая сестренка, подвигнул! — весело сказал Гаврила. — Христос, и никто больше! Ай ты не видела, как ангелы божьи сейчас через речку-то пролетели?

3.

Беата Адамовна не очень удивилась, увидев Гаврилу.

— Быстро собрался, — сказала она, — я думала, что завтра придешь. Тебе Конопацкий все рассказал?

— Какой, голубонька, Конопацкий? Я его, почитай, уж ден пять не видал.

— Вот как? — Беата внимательно поглядела на Гаврилу. — Что ж, тебе, верно, видение было? — с усмешкой спросила она.

— Потом расскажу.— Гаврила указал глазами на Дарью.

— Ну, вот что, Даша, — сказала Беата Адамовна, — надо тебе для Гаврилы Тихоныча нынче потрудиться, келейку прибрать. Прежний-то конюх у себя дома на селе жил, — обратилась она к Гавриле, — а тебе придется тут в саду, в старой прачешной устраиваться. Маловат домик, да что сделаешь.

— Конюх? — удивленно переспросил Гаврила. — В армию, все-таки, стало быть, пошел?

— Так про что ж я с Конопацким-то и передавала тебе. Завтра пиши заявление, пока еще кто не прослышал. Трудовая книжка в порядке?

— Все в лучшем виде, Адамовна...

— Ну, вот и отлично. Идемте.

Они прошли через двор в сад. Заброшенная прачешная очень понравилась Гавриле: глухое место, тропинка вся крапивой заросла, дикий терн кругом — не продерешься. Волчье логово да и только!

— Славный кильдимчик! — довольно сказал Гаврила. — Спасибо, Адамовна, удружила. Прибраться маленько и — первый сорт!

Избенка была ветха, загажена. Перемешанная с почерневшей соломой засохшая грязь толстой неровной корой покрывала пол. Единственное оконце так затянулось паутиной и пылью, что почти не пропускало света. Возле самого порога в пол было вделано железное кольцо.

— Глянь-ка, и погребок есть! — восхищенно воскликнул Гаврила, приподнимая тяжелую крышку и заглядывая в черную, пахнущую затхлостью дыру. — Славный, славный кильдимчик! Скажи пожалуйста — погреб...

— Огурцы, что ли, солить собираешься? — усмехнулась Беата.

— Огурцы не огурцы, а все ж таки... В хозяйстве, Беатушка, все годится: молочка там поставить или что...

Дарья хотела сейчас же начать приборку, но Гаврила остановил ее.

— Нет, Даша, — сказал он, — это, сестренка, потом, успеем еще. А сейчас иди-кось ты, пока лавка не закрылась, кой-чего закусить похлопочи. Надо, голубонька, старичка-то твоего угостить, а то приедет, а у тебя нынче и печь не топлена. Нехорошо, Даша, этак не годится! У женщины, заметь, об муже самая первая забота. Иди, иди, сладкая моя...

Беата проводила Дарью до пролома в ограде и вернулась.

— Ну,— едва переступив порог, сказала она,— говори, что стряслось. Опять, что ли, с попом не поладил?

— С попом, мати, такая катавасия вышла, что и не дай господь! Но это бы, сказать, еще дело терпимое... Когда нас попы любили? Тут, Адамовна, похужей попа...

И Гаврила рассказал про давешнюю встречу с Кронидом.

— Видел он тебя? — быстро спросила Беата.

— Бог миловал.

Беата задумалась.

— Я, Беатушка, так соображаю, — помолчав, сказал Гаврила, — что он по поездам работает. Побирушничает.

— Тем лучше: нынче — здесь, завтра — там. В общем, Гаврюша, рано еще тревогу подымать. Давай, устраивайся, а там видно будет. Налегке прибежал-то? — Беата кивнула на одеяльную скатку.

— Налегке, ягодка. Одну святость захватил.

— Не забыл все-таки?

Гаврила поджал губы. Все прощал он своей Адамовне, но не любил, не мог привыкнуть, когда она с глазу на глаз посмеивалась над тем, чему поклонялись «божьи люди» — над его святостью. «Ах, ты, немка, немка! — с досадой думал он. — Нехорошо, все ж таки, этак... все ж таки кормимся от святости-то... спасаемся ею...»

Поджатые губы были поняты. Улыбка исчезла с Беатиного лица так же незаметно, как и появилась.

— Значит, так, — сказала Беата, — завтра вечерком съездишь за вещами. Через сестер, что ли, оповести, где находишься, а в воскресенье и собраться можно. Место, сам видишь, глухое, безлюдное, тут тебе совершенно нечего опасаться.

Гаврила — ни слова, только головой покачивал. Молча, как бы унося в себе что-то недоговоренное, вышли из хатенки. Беата показала пролом в ограде, совсем недалеко от кельи.

— Видишь, удобно как? Пришел, ушел — никто и не заметит. Весной, как сад убирали, хотели было дыру заделать, да позабыли, видно. Ну, а я не стала напоминать — вот и пригодилось.

Они стояли в чаще терновника возле пролома. Густые сумерки затуманили, засинили пустырь, цепочку чахлых деревьев, диковинную каланчу ветряка. Большой новый дом смутно вырисовывался невдалеке. Он, как видно, был еще необитаем, и как все необитаемые дома не то сердито, не то равнодушно чернел сквозь мелкую, частую сетку кустарника. Но вдруг белым электрическим светом вспыхнули все окна в одной половине, вспыхнули, и погасли, и снова вспыхнули, и остались гореть.

— Это что ж такое, голубонька? — спросил Гаврила.

— Да клуб, что ли, будет, — пожала плечами Беата.

— Содом и Гоморра, — сокрушенно вздохнул Гаврила, — суета. Никуда от нее не денешься... И чего, скажи, веселятся люди?

— Довеселятся до чего-нибудь! — прошипела Беата.— Ну, да нам этот клуб не помеха. Наши туда не пойдут, а ихние... — Беата тихонько рассмеялась. — Ихних ко мне уже две овечки прибились... Комсомолочки.

— Да ну-у? — повеселел Гаврила. — Чего ж молчала, сестренка?

— Не люблю болтать, когда дело еще не завершено.

— Так, так... Завершила, значится?

— Вполне. В воскресенье увидишь. Но ты, между прочим, скажи толстой дурехе Агашке, чтоб задом поменьше трясла. Да вот еще Гулюшка этот со своей идиотской цепью... Ну, и без пьянства.

— Как, то есть? Чашу не ставить?

— Ни под каким видом. Девчонок моих не напугать бы. Петь, читать — пожалуйста, а насчет чаши — воздержись, голубчик. Одна-то у меня особенно недотрога, интеллигентка, мимоза, честное слово! — Беата снова засмеялась. — Отец у нее, хоть и не бог весть какой, а все-таки — начальник. Партийный. Ясно?

— Ох, Адамовна, страшновато...

— То есть?

— Да вот, что партийный-то. Не глубоко ль занырнула, сестренка?

— Вот что, — злобно, будто задохнувшись, сказала Беата. — Вот что, миленький ты мой Гаврила Тихоныч... У тебя, дружок, определенно, нервная система расшаталась. Что это? Всего пугаться стал... Какой-то паршивый попишка пригрозит — истерика, Кронидова тень мелькнет — обморок, девчонку у партийного ротозея отняла — «страшновато»! — передразнила она. — «Глубоко занырнула»! Да если ты хочешь знать — вся твоя гореловская сволочь гроша ломаного не стоит! Подумаешь — собрал кучу кретинов вроде психопатов Конопацких или Марфуты-пьянчужки и думает — дело сделал! Не-ет, сладенький мой, мелко берешь! Помнишь господина Анке? Кого он в заветную книжечку записывал? То-то... Вот и я своих девчонок записала, это тебе не Гулюшка... Ясно?

И снова, как тогда, в больнице, Гаврила изумился: что за страсть, что за сила! От Беаты жарким пламенем веяло, ему даже показалось, что у нее из глаз словно бы маленькие огненные змейки бегут...

— Молчу, Адамовна, молчу! — только и сказал он.—

Насчет нервов ты мне насмешку сделала, а чуть ли не в точку попала... Уморился я, милка, вот что...

— Глупенький! — ласково, прямо-таки даже по-матерински сказала Беата. — А я, ты думаешь, Гаврюша, не уморилась? О-о!

Она так искренне, так хорошо произнесла эти простые слова, что Гаврила крякнул: «Совестно, брат! Мужчина все-таки...» Удивительная сила была у этой женщины!

В смутном просвете пролома показалась Дарья.

— Иди! — шепнула Беата. — С Дашкиным стариком поладить надо. Обязательно. Да ты и сам понимаешь...

Легонько сучок хрустнул, зашелестел опавший лист. Беата исчезла, как будто и не было ее тут, у нее не хуже лося получалось.

— Даша! — выходя из заросли, негромко окликнул Гаврила. — Вернулась, сестренка?

— Чуть ли не Михайла Иваныч мой давеча звал меня, — усмехнулась Дарья, — как в лавку шла. С бугра далеко слышно. Воротился, верно.

— Ну, тогда давай поспешать, — сказал Гаврила. — Михайлу Иваныча, запомни, тебе грех обижать: муж. Угощенье купила ли?

— Все, как приказывал, — Дарья показала сверток.

— Это хорошо, сестренка, чудесно! Старика уважить надо... обязательно надо уважить...

4.

В воскресенье Беата Адамовна зашла к Гусаровым проведать Таню. Она не в первый раз ее навещала, справлялась о самочувствии, щупала пульс, иногда даже прописывала что-нибудь. И Викентий Петрович, и мать были в восторге от докторши, восхищались ее заботливостью, встречали с великим почетом. Бабушка же почему-то невзлюбила Беату: при ее посещениях все что-то ворчала себе под нос и за глаза называла Гадюкой Адамовной.

— Не понимаю! — пожимал плечами Викентий Петрович. — За что вы, мамаша, не любите докторшу? Культурный, интеллигентный человек...

— Мне ее культура без надобности, — бабушка сердито жевала губами, — змея она и есть змея...

— Но, позвольте, почему же?

— Да ты, Вика, на ее глаза только погляди. У хороше-

го человека глаза лучше языка разговаривают, а у ней... пуговицы у ней, а не глаза, правда истинная!

— Бог знает, что выдумаете: пуговицы! — смеялся Викентий Петрович.

— Не-ет, милый, не выдумываю! Помнишь, в войну Гитлера на картинках рисовали? Зевало-то разинул, кричит, аж чуб растрепал, а глаза — пуговичками.. Вот и у вашей у распрекрасной Гадюки Адамовны этакие же. И все. И не говори ты мне про нее.

— Так ведь она, мамаша, Татўшку нашу выходила,— не унимался Викентий Петрович, — прямо-таки от смерти спасла!

— Выходила! — ворчала бабушка. — Не выходила, Вика, а погубила, проще сказать, с глазу съела. Танюшка-то огонь была, а как пришла из больницы — батюшки! — ну, подменили и подменили девку! В отделку иссохла вся... Что, нет, скажешь?

Тут уж Викентий Петрович ничего не мог возразить: Таня, действительно, стала на себя не похожа: задумчива, молчалива, все у нее из рук валится.

После таких разговоров бабушка уходила в свой уголок, доставала из сундучка выцветшую фотографию и, нацепив на нос перевязанные суровой ниткой очки, долго разглядывала изображенных на ней двух веселых молодцов в лихо сдвинутых на ухо пилотках, вздыхала, сморкалась, утирая кончиком передника слезы... Никак старушка не могла забыть, что этих младших ее ребяток погубил проклятый немец с пуговичными глазами...

С утра хмурилось низкое небо. Тяжелые, грязные, с белыми гребешками, медленно плыли ненастные тучи. Несколько раз налетал мгновенный дождик и, сердито отстучав по крыше, затихал, оставляя на запотевших стеклах окон прозрачные, чистые капельки слез.

Таня сидела в зальце, забравшись с ногами на диван, зябко кутаясь в большой, как одеяло, бабушкин платок. Ей было холодно и скучно, она ненавидела воскресенья, вообще праздники, когда особенно кипели разные домашние хозяйственные дела и с утра до вечера не умолкал визгливый голос матери, все с кем-то бранившейся, распекавшей то отца, то бабушку, то, наконец, вот как нынче, мрачного, длинного старика Савосю, исполкомовского сторожа, которого позвали резать свинью.

Как все нервные люди, Таня болезненно-остро переживала ненастье. Шум дождя, унылый свист ветра, хлопающего чердачной дверцей, лохмотья бесконечных туч в заплаканном окне — и без того невесело, а тут еще эта окаянная свинья! Ее истошный визг, перешедший в дикий, полный смертельного ужаса вопль, так внезапно оборвавшийся, доносившиеся со двора веселые, тревожные голоса отца и матери, хриплый Савосин смех — все было как ножом по сердцу... Потом космы густого черно-желтого дыма заметались над двором, в комнате сделалось еще темнее, отвратительная смрадная вонь паленой щетины проникла в дом, тошнота подступила к горлу... Таня с головой закуталась в платок, забилась в самый угол дивана. Она только маленькую щелочку оставила в платке и не мигая глядела в нее на пеструю ткань диванной спинки — на какие-то серые елочки, между которыми паслись похожие на головастых лошадей черные закорючки. Боже мой, какая скука, какая беспросветность!

Когда из кухни потянуло сладковатым чадом от поджариваемой «свежинки», Тане вспомнилось давно где-то прочитанное описание людоедского пиршества: окончился бой, связанных пленников победители убивали возле самого костра; те, до которых еще не дошла очередь, с ужасом глядели, как их товарищей разрубали на части и, насадив куски кровоточащего мяса на железные палки, поджаривали... И, верно, так же черно-желтый дым метался над хижинами, и такой же сладковатый чад стоял, и люди, может быть, и не хотели есть, но ели, потому что это был ритуал. Кому в Гусаровском доме нужна поджаренная свежинка? Ведь утром плотно позавтракали, в печи стоит обед, но... нынче резали свинью, и ритуал велел жарить и жрать эту проклятую свежинку! «Бежать, бежать! — вскочила Таня. — Все равно куда — в дождь, в холод, на речку, в лес, к черту... только бы подальше от людоедского пиршества!» Она вскочила, оделась кое-как, торопливо, опрометью кинулась из дома и на крыльце столкнулась с Беатой.

— А я к тебе, Танечка, — сказала Беата. — Можно?

Она стояла в светлом проеме двери, вся в сверкающих капельках дождя, окруженная этими капельками, как сиянием.

— Товарищу доктору привет! — выходя из кухни и жуя, помахал рукой Викентий Петрович. — Милости про-

сим! А мы, знаете, сегодня свинку прирезали... Славная такая, знаете, на восемь пудиков вытянула. Была чушка— и нет чушки! — он шутливо потрепал Таню по щеке.— Sic transit gloria mundi![1] — совершенно некстати добавил он. И смешно, с какой-то нелепой ужимкой расшаркался и распахнул дверь в комнаты, широким жестом приглашая войти.

Тане сделалось стыдно за отцовское кривлянье, за его заляпанные салом и кровью штаны, за его латынь. Она поняла, что отец под свежинку выпил с Савосей. Опустив глаза, покраснев до самой шеи, Таня умоляюще сказала: «Ну что ты, папа, в самом деле!» Викентий Петрович обиделся. «А что ж такое? Вот, товарищ доктор, как нас молодежь-то критикует!» Продолжая смешно суетиться, он проводил гостью в переднюю, галантно принял Беатин плащ, понес какую-то чепуху насчет хороших манер, но, зарапортовавшись, пробормотал: «Пардон!» — и стушевался.

— Ну что ты, деточка, все так близко к сердцу принимаешь! — ласково сказала Беата, когда они с Таней остались вдвоем. — Мы с тобой видим глубже многих, но невидящих не порицать нужно, а жалеть и прощать... Да, да, вот именно, прощать!

— Ах, Беата Адамовна! — прошептала Таня. — Если б вы знали, как мне тяжело... Мне родной дом стал чужим.

— Знаю, знаю! — живо и даже чуть ли не весело отозвалась Беата. — Нам всем тяжело в этом бедном мире слепых. Но есть одно, — в Беатином голосе послышался восторг, — есть одно, милая сестра, что облегчает нам жизнь, что помогает терпеть, что не дает утонуть в бездне отчаяния!

— Я не знаю... Что это? — робко спросила Таня.

— Ожидание нашей второй жизни. Будущей. Вечной. Я тебе это сейчас объясню. Вот — огромный мир, в котором ты, как пылинка, затеряна. Все темно в этом мире, оглушительно, смрадно... нелепо! (Тане вспомнились грязные тучи за окном, дикий визг свиньи, чадная вонь из кухни, расшаркивающийся отец.) В этом мире — все лживо, все непрочно. Люди улыбаются друг другу в лицо, а за спиной держат кулак. Люди преклоняются перед каким-то созданным ими кумиром... но стоит потускнеть позолоте— и отвернутся равнодушно... (Таня невольно взглянула на

[1] Так проходит земная слава (*лат.*)

вышитую картинку с цветами.) Ты понимаешь? — строго спросила Беата.

Таня кивнула. «Да это самое у нас в доме», — подумала она.

— И вот, наконец, смерть, — продолжала Беата. — Но что такое смерть? Это, моя деточка, порог, за которым — новая, настоящая жизнь, та самая, для которой наша теперешняя — это, ну, как вокзал, что ли, где мы ожидаем. Или, нет, — Беата сосредоточенно помолчала.— Лучше сказать, как коридор.

— Понимаю, — улыбнулась Таня, — сколько человеческих жизней, столько и коридоров.

— Умница! — похвалила Беата. — Вот именно. Темные и светлые коридоры. Кончена жизнь — пройден длинный коридор. Перед тобой — дверь. Смерть. Открой ее — и ты в настоящей жизни.

— Но что же это за жизнь? Какая она?

— Все зависит от того, по какому коридору ты к ней придешь. Как попасть в нужный коридор? То есть, как сделать свою земную жизнь легкой и радостной? Вот ведь о чем мы начали с тобой разговор, помнишь?

— Вы сказали — ожидание второй жизни, — напомнила Таня тоном понятливой ученицы.

— Ожидание — да. Но главное, главное! — Беата крепко обняла Таню, прижала ее к себе и каким-то словно бы кричащим шепотом дохнула ей на ухо: — Главное — яростно верить в то, что она наступит. Наступит — эта лучшая жизнь!

В безмолвном крике горело пламя, звучала искренность и непреклонная вера. Что ж, тут Беата и в самом деле была искренна, ничего не скажешь.

5.

Боже мой, как все дальше устроилось нелепо и отвратительно! Увлеченная необычайным разговором, Таня не слышала, как в столовой зловеще позвякивали ножи, гремели тарелки. Супруги Гусаровы хлопотливо готовили сцену, на которой получасом позже суждено было разыграться дикой и вовсе не смешной комедии.

Началось с того, что в дверях зальца появились подчеркнуто-торжественные, в пух и прах разряженные родители. Викентий Петрович задыхался в воротничке и очень

тесном парадном костюме, черном с красной ниточкой, который он надевал только при поездках в область; мать для чего-то вырядилась в шелковое зеленого, бутылочного цвета платье и прицепила совершенно немыслимую брошку в виде летящей стрекозы. Супруги Гусаровы вышли пригласить Беату Адамовну к столу.

— Мы вам так благодарны, так благодарны! — сыпала скороговоркой мать. — Вы себе и представить не можете, как мы вам благодарны! Пожалуйте, чем бог послал...

— Свежинки, — сказал Викентий Петрович, — между делом, знаете, откормили...

— Думали: дай бог на пять, а она все восемь без малого вытянула! — мелким горошком рассмеялась мать.

— Пожалуйте! — шаркнул Викентий Петрович. — Мы вам так благодарны!

Таня похолодела. Что же это они делают? Глупейший парад, ужимки, дурацкая брошка-стрекоза. И главное, опять проклятая свинья, восемь пудов, людоедский восторг... Таня отвернулась, чтобы не глядеть на Беату, которая сейчас, конечно, с презрением откажется, уйдет оскорбленная: неужто ж потому только выходила она Таню, чтобы в конце концов ей предложили кусочек жареной свежинки!

— Благодарю вас, не откажусь, — преспокойно сказала Беата. — Я очень люблю свиное мясо. Хотя, как врачу, мне лучше, чем кому-нибудь, известно, что излишний холестерин в нашем возрасте...

Она договорила улыбкой и развела руками.

— Э! — весело воскликнул Викентий Петрович. — Чего там холестерин! Все равно придем к роковому, как говорится, концу! Vanitas vanitatum et omnia vanitas![1]. Суета сует, знаете...

За столом оказалось, что свежинка только к слову пришлась: на парадной, расшитой диковинными петухами скатерти было наставлено такое множество тарелок, блюд, тарелочек, судочков и соусников, что сковородка со злополучной свининой терялась среди них, как скромный провинциал теряется в пестрой толпе столичных стиляг. И надо всем этим кулинарным великолепием, вся в золотых медалях, в янтарных бликах и искорках, возвышалась длинногорлая бутылка венгерского токая.

— Пожалуйте, пожалуйте! — приговаривала мать, а

[1] Суета сует и всяческая суета (*лат.*)

сама глаз не спускала с мужа, который что-то очень уж раскраснелся, очень уж что-то суетился возле стола и буфета. Она даже какие-то угрожающие знаки ему делала глазами, но Викентий Петрович их как бы не замечал. Наконец все уселись, началось угощение. И тут случилось то, чего так боялась мать: Викентий Петрович вдруг сразу и неожиданно опьянел.

Товарищ Гусаров не был пьяницей, наоборот, все знали его за человека совершенно непьющего. Но когда ему случалось пропустить рюмочку, за ним надо было глядеть да глядеть: могло так рюмочкой и кончиться, но если взыгрывала фантазия, то тут ему уже и удержу не было. Он быстро, как-то непостижимо даже быстро хмелел и во хмелю бывал нехорош. Мысли судорожно метались в его отяжелевшей голове, он делался необычайно разговорчив и нес черт знает что.

Ранним утром Викентий Петрович распил традиционную четушку с Савосей, и на этом, верней всего, дело и кончилось бы, но пришла Беата Адамовна, мать шепнула, что докторшу надо бы угостить, — и Викентий Петрович взыграл. Под шумок, пока накрывался стол, вторую четушку он опорожнил самостоятельно. От этой дополнительной дозы его толстые щеки покрылись младенческим румянцем, он сделался шумен и болтлив, однако еще, как говаривала мать, «держался в рамке». Первый же стаканчик золотистого токая, выпитый за здоровье многоуважаемой Беаты Адамовны, сыграл с Викентием Петровичем злую шутку: он забыл имя докторши и к ужасу всех стал называть ее запросто — Адамовной. Через пять минут перешел на ты.

Беата, казалось, не замечала такой неуместной развязности, она с аппетитом ела то, что ей накладывали на тарелку, спокойно разговаривала с матерью, изредка взглядывала на смущенную Таню и ободряюще улыбалась ей. А товарища Гусарова несло: из него, как из дырявого мешка, сыпались какие-то сомнительные рыболовные шуточки, парочка довольно соленых анекдотцев сорвалась с языка; невероятная латынь делала его не очень-то ясную речь еще туманнее; кое-что даже просто неприлично звучало (юный Гусаров, видимо, страсть как был памятлив на латинские непристойности).

— Вика, — наконец не стерпела мать, — держи себя в рамке. Что об тебе Беата Адамовна подумает?

— Ничего, пустяки, — кротко сказала Беата.

— Пониме? — Викентий Петрович показал матери язык.— Ву компрене? Homo sum, nihil humanum a me alienum puto! [1].

Мать только рукой махнула.

— А ты не махай! — грозно сказал Викентий Петрович. — Размахалась! Адамовна — свой человек. Она хоть и немка... а душа у нее... этого... русская, да! Верно, Адамовна?

Беата натянуто улыбнулась.

— Верно! — рявкнул Викентий Петрович. — Она, брат, сама этих немцев... презирает! Презираешь, да? Ну, скажи, Адамовна, презираешь?

— Вот привязался, как не стыдно! — возмутилась мать.

— Папа! — умоляюще сказала Таня.

— Ну, и все, и никаких! — Викентий Петрович ударил ребром ладони по столу. — Финита ля комедия, как говорится... Давай, брат, Адамовна, выпьем... Мы — люди простые, советские... да!

Он хотел налить Беате, но рука и глаз изменили ему: золотистая влага, пролитая на белую скатерть, превратилась в уродливое бурое пятно. Беата посыпала пятно солью. Мать уже и не охала: она только беспомощно всплескивала руками. В это время в дверь постучали.

— Антре! — сказал товарищ Гусаров.

Вошел Карасев.

— А! — воскликнул Викентий Петрович. — Сейте разумное, доброе, вечное... Работникам народного просвещения пламенный привет!

— Извините, — неловко кланяясь, сказал Карасев, — я вам помешал... Я на одну минутку... Танечка! От наших ребят тебе персональное приглашение. — Он передал Тане конверт. — Сегодня в семь часов.

— Что это? — удивленно спросила Таня.

— Открытие клуба. Приходи, пожалуйста. До свиданья. — Карасев мотнул головой и пошел к двери.

— Стоп! — Викентий Петрович тяжело поднялся. — Стоп, говорю, Василий... как там тебя! Ну, не важно... Этак, брат, у русских людей не водится. Пришел к столу— садись за стол: Мать, проси! Танька, умоляй! Садись, Васька, кому говорят!

[1] Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо.

Карасев опешил. У него даже очки запотели от смущения и рот как-то по-детски приоткрылся.

— Садитесь, Василий Иваныч, — пролепетала мать,— уж вы извините нас...

— Ничего не извините! Вины за собой не знаю! Какая вина? — хлопнув по гладкой спине Беату, захохотал Викентий Петрович. — Вино — да, а вины — нету! Верно, Адамовна?

Карасев прошептал: «Простите, пожалуйста!» — и пулей вылетел из комнаты.

— Куда? — завопил Викентий Петрович. — Куда, поросенок? Ну, черт с тобой... Вот, Адамовна,— он уставился бессмысленными глазами на Беату, — вот видишь... Васька Карасев... Щенок! Я его еще этаким помню... он еще в штаны мочился... а вот — видишь! Одно названье, что русский, а душа у него... этого... немецкая... да! Нарушил пакт... и этого... совершил вероломное нападение на наши... священные...

Голова Викентия Петровича упала на грудь. Он спал.

— Не знаю, как вам и в глаза глядеть, — всхлипнула мать, — уж ради бога, Беата Адамовна, не сочтите за обиду... Хотели от всего сердца, а вышло... бог знает, что вы о нас подумаете...

— Фу, пустяки какие! — вставая, сказала Беата. — Выпил лишнее — только и всего, с кем не случается. Не расстраивайтесь, пожалуйста. Спасибо вам, все было очень вкусно. Какая вы, однако, мастерица!

Мать расцвела от похвалы.

— Ты меня проводишь, Танечка? — надевая плащ, сказала Беата.

Они вышли на улицу. Дождь кончился, облака пошли выше. Сквозь их ватную толщу робким белым пятнышком просвечивало как будто ненастоящее солнце. Как-то особенно тихо, хорошо было на улице после кухонного чада и пьяной болтовни Викентия Петровича.

— Видели, как я живу? — не поднимая глаз, прошептала Таня. — Как тут найти верный путь, как попасть в нужный коридор?

— Да ты уже попала, милая моя сестра! — нежно и торжественно сказала Беата. — Сегодня вечером приходи ко мне. Я покажу тебе того, кто ведет всех нас заветным путем. Его внешняя оболочка проста, он необразован, но

господь избрал именно его. И если господь захочет, ты поверишь и поклонишься ему. Прощай. Жду.

Придя домой, Таня, не вскрывая, разорвала конверт с пригласительным билетом и кинула его в форточку.

6.

Таня почему-то наивно решила, что архангел должен быть в длинной белой одежде, с густой шапкой золотистых волос, может быть даже босой, очень нежный, женственный. Трудно сказать, отчего она так себе его представляла. Тут, наверно, кое-что осталось из детских впечатлений, когда бабушка тайком от родителей водила ее с собой в церковь и Таня с изумлением рассматривала там иконы; тут и чьи-то, давно позабытые, в старой, растрепанной книжке прочитанные стихи:

Златокурый, белоснежный,
Божий ангел пролетел...

Наконец, само понятие непогрешимого божества, высокого и чистого, безусловно, как-то связывалось с белизной, со светом, с необычайной нежностью.

Но ничего похожего не было. Перед Таней стоял высокий, бритый, жилистый старик в чистеньком сером пиджачке, в расшитой украинской рубахе. Все очень обыкновенно, буднично. Разве вот только глаза — маленькие, но острые, живые, затаившиеся в глубоких темных впадинах, как два осторожных хитрых зверька.

— Ну, Христос воскрес, Татьянушка, милая, — положив большую, с диковинным перстнем руку на голову Тане, весело сказал он. — Нашла, значится, дорожку? Небось, плохо, страшно было во тьме-то? Да что об этом толковать, забудь, сестренка, про все... Тихо у нас, хорошо, святой дух, голубенок, над нами, ах, что ж за красота!

Гаврила легонько подтолкнул Таню к скамье: иди, мол, садись! — и обернулся к Симе.

— И тебе, Серафима неутешная, то же скажу: воскрес! воскрес! Воистину, сестренка, воскрес! Таковое слово запомни, а прочее позабудь! Все.

И Симу подтолкнул к скамейке, а сам сел в углу за накрытый белой скатертью столик, на котором, до краев наполненная водой, стояла тарелка с прилепленными к ободку восковыми свечами и толстая черная книга виднелась.

как-то чудно, торчмя поставленная возле тарелки; опершись локтями на стол, сложил руки ладошками вместе так, что как бы пригоршня получилась, закрыл пригоршней лицо, и стало похоже, будто он там, в сложенных ладонях, разглядывал что-то.

Так минута, другая, третья прошли. Гаврила — ни звука, и все молчат, только тяжелое, со свистом, дыхание толстого Конопацкого нарушает тишину, да глухо брякнет Гулюшкина цепь, да бедная Сима никак не может сдержать нервный озноб, и слышно, как в мелкой дрожи, словно от жестокого холода, постукивают ее зубы.

Сначала Тане даже немножко жутко стало. Беата привела их с Симой, поставила перед архангелом и исчезла. Усевшись, как ей было велено, на скамью, Таня стала украдкой разглядывать собравшихся и что-то мало знакомых лиц нашла — портной Конопацкий, бакенщик Михайла Иваныч да вот еще Гулюшка. Удивительно, как он сюда попал? Всю скамейку напротив Тани какие-то черные, чужие женщины заняли. Они так тесно прижавшись друг к другу сидят, что их черные платья слились в одно расплывчатое, длинное пятно, только руки да лица белеют... Картину, изображающую Гаврилу-пастыря, Таня не вдруг разглядела. Она сначала просто не обратила на нее внимания — мелькнул перед глазами белый ягненок на руках у человека — и только, может быть, старый плакат по животноводству, бог весть как попавший в эту убогую, заброшенную избушку... Впрочем, где их сейчас нет, этих скучных, однообразных плакатов! В них только фоны и бутафория меняются, а герой — все тот же, человек с мертвой выправкой манекена. В одном случае в руках у него — сноп, в другом — отбойный молоток, в третьем — молочная фляга. У этого был ягненок — что ж тут интересного? Таня мельком скользнула глазами по картине.

Но пока длилось молчание, пока архангел в украинской рубашке что-то такое разглядывал в больших ладонях, она почувствовала на себе чей-то очень пристальный взгляд. Таня подняла глаза и вздрогнула: с картины на нее двумя черными точками уставился архангел, эти точки прямо-таки впивались в нее. Удивительно удался художнику взгляд Гаврилы-пастыря! Не первую Таню он приводил в трепет. Но что за странная одежда была на архангеле: какой-то темный, до пят, хитон, голубая лента через плечо, похожая на неведомый орден звезда на груди,

и длинный, с крючком на конце пастушеский посох, и лучи, золотыми стрелами расходящиеся от головы, разумеется, признак божества...

— Ну, детки, — отнимая, наконец, руки от лица, сказал Гаврила, — веселитеся! Господь нам нонче милости послал.

— Видел?! — вся подалась вперед одна из черных женщин.

— Видел, Даша! — Гаврила встал, и все встали.— Видел, милые дети, и возвещаю вам великую радость: вспорхнул светозарный голубок! Вспорхнул дух свят, летит... Ну-те, ну-те! — опускаясь на колени, вскрикнул Гаврила. — Кинемся, взовьемся навстречу! Ну-те, любезные!

С грохотом все повалились на пол, и женщины в черном, сидевшие напротив Тани, сделали это проворней всех, да так мягко, так ровно рухнули, не разрушив очертаний своего расплывчатого черного пятна, что было похоже, что будто не пятеро их тут, а десятирукая, пятиголовая — одна.

Таня тоже встала на колени. Все, даже грузный, тяжелый Конопацкий, сделали это необыкновенно резво, привычно, а она замешкалась. Заметив свою оплошность, Таня смутилась, но увидела, что бакенщик Михайла Иваныч, совсем, видимо, растерявшись, продолжал сидеть. Его неловкая, напряженная поза и то, как он таращил удивленно округлившиеся глаза на Гаврилино изображение,— все говорило об откровенном недоумении, даже страхе, и Таня сразу догадалась, что старик, как и она, тут тоже впервые.

— Влачим мы, братья, свое бремя, — стройно, слаженно запели два голоса из черного женского пятна.—Ах, как нам горько, тяжело...

— Но вдарит гром,— подхватили остальные,— настанет время, — настанет наше торжество!

Как уголь, жизнь твоя истлела,
Глупец, запомни навсегда:
Подвластно смерти наше тело,
Но дух наш божий — никогда!

Настанет час, и ты воспомнишь,
Твоя погибель отчего.
Кого, глупец, кого ты гонишь?
Ты гонишь бога своего!

Эта песня была знакома по Беатиным вечерам, и обе девушки уверенно вступили в хор. Когда Таня в первый раз услышала ее, она спросила у Беаты, что это за тиран, о котором говорится в песне. «Как бы тебе сказать? — подумав, ответила Беата. — Тиран — это, ну, злое начало, что ли... противоположность добра и света...» Тогда песня не произвела на Таню особого впечатления — все-таки корявый стих был беден, слаб, его вытягивала Беата необыкновенно красивым аккомпанементом. Но здесь... трудно сказать, что было причиной — многолюдность ли, исступленные ли вопли дискантов, или дикий, страшный звон Гулюшкиных вериг (он не пел, а только в такт гремел своей цепью) и странная, непривычная обстановка: полумрак в бревенчатых углах, жарко горящие свечи и длинные, уродливые тени на стенах — все здесь зазвучало с новой, неожиданной силой, и даже слезы подступили к горлу. Таня услышала всхлипывания: припав головой к Симиному плечу, плакал толстый Конопацкий, да и Симины глаза были полны слез.

— Эй, братья! — крикнул Гаврила. — Что ж крылушки опустили? Летит голубенок-то! Воспаримте-ка святой песней, дюжей воспарим!

И сразу же на какой-то, вроде плясовой полечки, мотив зачастили черные женщины:

Человек идет в пустыне,
Он — пылинка, он — ничто.
Над ним смерть уже витает,
Он погибнет ни за что...

И Гаврила с Конопацким вступили, один — звонким тенорком, другой — хрипловатым басом:

А свят дух на небеси,
Господи, благослови!
Что людям-то тяжело,
Святу духу — ничего!

— Святу духу ницаво, подавай мине тово! — Гулюшка вскочил и, громыхая цепью, сильно топая пятками, заскакал, завертелся по горнице.

Странно, дико было смотреть на этого больного, старого человека. Он безобразно оскалился, в его седой бороде черной дыркой зиял разинутый рот... Лохмотья ветхой телогрейки тряслись, развевались, задевали лица стоящих на коленях. Он дважды обошел вокруг Тани, крикнул:

— Плясы, девка! Не залей басмаки, батюска новые купя!

И Таня с ужасом глядела на Гулюшкины синие, заросшие кровавыми струпьями ноги. Тяжкий запах грязной одежды вызывал тошноту. Она побледнела, ей сделалось плохо, щербатые доски пола поплыли перед глазами, и если б не Сима, крепко обхватившая ее руками, она, верно, упала бы. Словно сквозь сон до ее слуха донесся голос Гаврилы: «Сядь! Сядь!» — кричал он кому-то. «Это он, должно быть, Гулюшке, — крепче прижимаясь к Симе, подумала Таня. — Милая, милая Сима... как хорошо, что ты рядом... Но что же это?»

Конопацкий хрипло простонал: «Батюшка!» — и мешком повалился на пол. Уткнув лицо в согнутый локоть левой руки, кулаком правой он отчаянно колотил по лысому, багровому затылку и что-то неразборчиво, косноязычно выкрикивал рычащим басом. Таня только два слова и поняла: «окаянный» и «помоги», остальное и на человеческую речь-то не походило, звериный рык, уханье филина, полуночное бормотание осеннего ветра... темная музыка темной души. И все это звучало в зловещей, непробиваемой тишине, в такой тишине, что только хриплое дыхание слышалось да легкое потрескивание оплывающих свечей. И все это — тишина, вздохи, бормотание, черное облако приникших друг к другу женщин, безумный старик, прижимающий к голой костлявой груди железную цепь,— все это было похоже на длинный болезненный бред. Сколько он продолжался? Минуту? Час? Трудно сказать, время как бы остановилось, остекленело, сделалось осязаемым, приобрело вес. Тяжесть его давила, терпеть больше стало невозможно, хотелось вскочить, крикнуть, вернуться к жизни. И вот черное облако разорвалось, одна из женщин взметнулась, взвизгнула, затопала ногами... За ней другая, третья отделились, замелькали, запрыгали, завизжали...

— Сядьте! — поднимаясь с колен, строго сказал Гаврила.

И они послушно, как дети, сели на скамью, снова слиплись в одно пятиликое пятно.

Гаврила подошел к Конопацкому, положил ему на плечо руку. «Будет, братик! — сказал. — И так хорошо помолился». Конопацкий, охая, поднял голову, по его толстому, измятому лицу текли слезы. «Услыхал ли?» — смешно

стоя на четвереньках, спросил он. — «Услыхал, хорошо услыхал», — сказал Гаврила. Конопацкий встал, вытащил из кармана грязный платок, вытер мокрое лицо и тихонько уселся на свое место.

— Вставайте, душеньки! — шепнул Гаврила девушкам и быстро провел широкой ладонью по Таниному лицу, словно умыл. На мгновенье перед ее глазами сверкнула искорка большого камня на перстне. Гаврилина рука была сухая, теплая, она славно пахла ременной сбруей, конюшней, и столько ласки показалось Тане в его жесте, так хорошо, легко ей вдруг стало. И она почему-то подумала, что вот догадался же этот необыкновенный человек сделать то, чего ни разу не сделал родной отец...

— Ну-те, деточки, — весело сказал Гаврила, — вот бы повести вас сию минуту наружу, что б за красоту узрели! Да нет, нельзя, не велено на святость глядеть...

Он стоял за своим столиком и, положив руку на книгу, к чему-то прислушивался. Затем, словно защищаясь от сильного света, поднес ладонь к глазам и глянул на потолок.

— Голубенок, дети, прилетел! — тихо, таинственно прошептал он. — В небесах-то братья, чернота, ночь... ветер, сивер... а ему, батюшке, все нипочем... Ей, господи! — дико вдруг крикнул Гаврила, обеими руками закрывая глаза.— К тебе, свят-дух, припадаем!

Тане показалось, будто яркое пятнышко света мелькнуло наверху. Да и не только она — все глядели туда, наверх, на темные, небеленые доски потолка, словно ждали чего-то. И верно, там, в черноте, вдруг задрожало, засияло круглое, светлое пятнышко... задрожало и померкло, снова задрожало и этак, трижды появившись, исчезло.

— Вот так-то, братья,— сказал Гаврила,— святой дух милости послал. Все видали? Ну, идите с богом.

И одну за другой стал тушить свечи.

7.

Молодые люди стояли на самом высоком из ракитинских холмов, там, где село сливалось с шумной территорией заводского строительства. Отсюда видно было почти все раскинувшееся по буграм Ракитино с его большей частью красно-бурыми кирпичными избами, садами, кри-

выми, сбегающими по крутизне проулочками; строительство с многоэтажной громадой еще не оштукатуренных поблескивающих заляпанными известкой стеклами корпусов, с долговязыми, похожими на колодезные журавли кранами, с чудовищными штабелями бетонных плит, кирпичей, досок, с гигантской, как бы пронзающей всю панораму стрелой узкоколейки; наконец, могучую излучину реки было видно, с десяток редко разбросанных по самому берегу домишек, среди которых Михайла Иванычев особенно выделялся разлапистыми меловыми узорами, выведенными по кирпичу между окошками; и дальше — необозримое, беспредельное, теряющееся в нежнейшей дымке заречье, серовато-голубая полоска леса и чуть видимая каланча гореловской водокачки.

Молодые люди стояли, разговаривали. Они случайно сошлись: у Валентина был выходной, и он с утра побежал на лыжах к буграм отрабатывать восхождение «елочкой», Ласточкин, закончив смену, шел домой; Карасев и завклубом Засядько направлялись в комсомольский комитет строительства договариваться о совместном проведении самодеятельного концерта. Сойдясь, все они, разумеется, сразу же закурили и принялись толковать о новой затее Карасева поставить на клубной сцене «Грозу». Петяша Засядько только о ней и думал. Сделавшись завклубом, он решил отвести драмкружку самое почетное место, и в этом ничего не было удивительного, потому что кружковцы, действительно, отлично показали себя: «Женитьба», как и «Шторм», не прошла незамеченной, две хвалебных статьи об этом спектакле появились в районной и областной газетах, и это чего-нибудь стоило. Петяша помалкивал, но честолюбивые мечты о народном театре ему покоя не давали. Пришлось даже сразиться с товарищем Гусаровым, который очень рьяно выступил против серьезных спектаклей, всячески ратуя за «малые формы».

— Оперативность, оперативность! — говорил он. — Нам не два спектакля в год, а двадцать два нужно, а вы тут со своими классиками, на которых минимум пять месяцев надо ухлопать!

Но Засядько упрямо гнул свою линию.

— Хиба ж вы сами, товарищ Гусаров, — лукаво улыбался Засядько, в горячих спорах всегда сохранявший завидное спокойствие,— чого ж вы сами пескарей не ловите? Ось яке гарно дило: бац-бац — и полна торба! Ни,

вы, я кажу, лещика, який покраще, альбо щучку килограмма на два шукаете... Шо, не верно говорю?

Разговор на бугре как раз и начался с обсуждения этой распри завклубом с товарищем Гусаровым.

— Ось навязался, чертяка, на нашу шею! — возмущался Засядько. — Два года на клубной постройке каменюкой висел, ходу не давал. Теперь от таке дило... Ну шо ты скажешь?

— Путаник он, ну его к черту! — сердито сказал Карасев.

— Путаник? — усмехнулся Засядько. — Не такий уж вин дурень, як ты розумиешь. Ему главное, чтоб побольше галочек в отчете понаставить.

— Вот ведь посадят такого руководить культурой! — пожал плечами Ласточкин. — Почему? Неужто получше не нашлось?

— Номенклатурный сундучок! — рассмеялся Карасев. — Вещь тонкая.

— Начальство критикуете? — подал голос Валентин. Он возился с лыжным креплением. — Так и запишем.

— Оно, кстати, легко на помине, — сказал Ласточкин, прислушиваясь к оглушительной стрельбе еще не видимого мотоцикла. — Фесенко. Я его машину из тысячи отличу.

— Ну, то яке начальство! Павло — наш хлопец.

Из-за серой цепочки бараков стремительно вырвался мотоцикл. Павлик любил быструю езду и всегда гнал так, будто спасался от смертельной опасности. Увидев ребят, он резко затормозил машину.

— Вас-то мне и надо, — сказал он. — Долго провозитесь с «Грозой»?

— Да к маю, не раньше, — пожал плечами Карасев.— А что?

— Такое дело, Вася. Отложить придется.

— То есть, как это — отложить? — возмутился Карасев.

— Очень просто — отложить, да и все.— Павлик старался говорить спокойно, но его длинные руки уже начинали свою хлопотливую работу. — Дела, братцы, так оборачиваются, что трошки обождать придется с «Грозой».

Подмигнув ребятам, Засядько приложил ладонь к Павликову затылку.

— Семьдесят четыре градуса! — театральным шепотом прогудел он.

— Иди ты! — отмахнулся Павлик. Дальше уж рукам сдерживаться было невмоготу: одна кинулась похлопывать кожаное седло, другая неожиданно повернула кепку козырьком назад.

— Спокойствие, джентльмены, спокойствие! — сказал Ласточкин. — Подожди, Вася, не уничтожай его сейчас, возможно, он нам еще и пригодится. Мы вас слушаем, товарищ секретарь.

Повоевав малость с неугомонными руками, Павлик рассказал, в чем дело: в Гореловской церкви утопили ребенка. Как? Очень просто — при крещении. То ли поп был пьян, то ли еще почему, но факт остается фактом, ребенок захлебнулся.

— Поп перетрусил, конечно, пустил хитрую версию, будто ребенок вообще был при смерти, что родители спешили, хотели, чтобы он умер крещеным, да вот, мол, видите... «При чем, говорит, тут я? У него жизненного тонуса не было». А? Ну, не подлец ли? Жизненный тонус! — Павликовы руки взметнулись и повернули кепку на прежнее место. — Ну, мы ему показали тонус! Докторша вскрыла мальчонку, а в нем воды полно. Попу и крыть нечем.

— Арестовали? — деловито спросил Ласточкин.

— Конечно. Но подумать — дичь какая! Из-за чего погиб человек! Уж это Горелое, черт его побери! Летом там какой-то чеботарь-проповедник действовал, да, говорят, скоропостижно смылся. Все это, ребята, сигналы, и сигналы тревожные. Я в райкоме партии советовался, мы решили...

— Смылся, говоришь? — перебил Карасев.

— Кто, чеботарь-то? Ага. Смылся. А что?

— Вот что, Павел, — Карасев строго, по-учительски, поглядел на секретаря. — Мерзавец-поп ребенка утопил, это, конечно, возмутительно, мы, естественно, бьем тревогу, но... тут явная уголовщина, тут легко применить кодекс, что и сделано: преступник арестован. А вот скажи, как быть, когда у нас на глазах топят взрослых людей, а мы себе преспокойно проходим мимо, а? Как тут быть, товарищ секретарь райкома?

— Постой, постой! — изумился Павлик. — Ничего не понимаю. Кто топит? Кого топит?

Краснея и запинаясь, Карасев довольно сбивчиво рас-

сказал Танину историю. Когда он упомянул о Беате Адамовне и ее связи с гореловским чеботарем, у Павлика глаза на лоб полезли. Он даже про руки забыл и только время от времени ошалело восклицал: «Иди ты!» Василий, видимо, немало потрудился: личность и деятельность Беаты приобретали определенные очертания. Частые переезды врачихи с места на место, гореловский чеботарь, Дарья, Конопацкие, сестры-чернички — все это, хотя туманно, расплывчато, но уже в какую-то строилось взаимосвязь. Карасев побывал в Горелом и кое-что узнал о Гавриле, толкнулся в райздрав — кое-что и там нашел. И одно совпадение поразило его: оказывалось, что (правда, в разное время) Беата и Гаврила приехали в Ракитинский район из одного и того же места — из города Туапсе. Тут было над чем призадуматься.

— Фу, черт! — плюнул Павлик. — Никак, понимаешь, в голове не укладывается: советский врач, и вдруг... Ну, а этот хлюст, проповедник-то, он ведь, действительно, исчез из Горелова. Ты знаешь?

— Ну, и что? — усмехнулся Карасев.

— Как — что! Значит, он уже вне твоей, ну, схемы, что ли... поскольку его сейчас уже нет возле докторши.

— Наоборот, — прищурился Карасев, — сейчас-то, дорогой товарищ, он как раз и находится в непосредственной близости к ней.

— Черт тебя подери! — заорал Павлик. — Ты долго будешь загадками говорить?

— Едет, — негромко сказал Петяша.

— Кто едет? — обернулся Павлик.

Засядько скосил глаза. Из-за бараков на дорогу выплыли крошечные санки-бегунки. Закутанная в теплую клетчатую шаль, в них, копна-копной, сидела Беата. Длинный, как колодезный журавель, кучер в напяленной по самые глаза заячьей шапке лениво помахивал кнутиком над жирным крупом огромного, мохноногого серого мерина. Павлик приветственно помахал рукой, Карасев вежливо двумя пальцами дотронулся до козырька, и Беата проплыла, подарив молодым людям мертвую улыбку. Ребята молча проводили ее глазами.

— Видал? — кивнул Карасев на удаляющиеся сани.

— Ну видал, ну, и дальше? — Павликовы руки снова пришли в движение. — Я ее нынче, может, сто раз видал: мы на вскрытии вместе были.

— Нет, ты кучера ее видал?

— При чем тут кучер?

— При том, Павлуша, что он-то и есть гореловский проповедник, пророк или черт его знает кто.

— Иди ты! — растерянно сказал озадаченный Павлик. — Так чего ж ты, голова садовая, молчал до сих пор? — после минутного замешательства накинулся он на Карасева.— У нас под носом этакая чертовщина, а ты...

— Чего я? — огрызнулся Карасев. — Не беспокойся, сложа руки не сидел — следил, справлялся, сопоставлял... Это, брат, тебе не утопленный младенец, тут потоньше работенка...

— Следил, сопоставлял... — пробурчал Павлик. — Скажи, какой Шерлок Холмс нашелся!

С минуту стояли молча, глядели на неохватные раскинувшиеся перед ними просторы. Далеко внизу, весело, звонко крича, по синему речному льду бегали на коньках ребятишки; в сквозной чаще леса, один за одним, цепочкой мелькнули олени; старуха с вязанкой хвороста шла через белую гладь луга; где-то у самого горизонта тянулась длинная полоса дыма — шел невидимый поезд; и светлое, высокое небо так ласково, по-матерински обнимало всю родную ракитинскую землю, что просто каким-то черным поклепом на этот светлый и радостный мир казалось существование иного, темного и страшного подспудного мирка, где все было связано с ложью, изуверством и преступлением.

— Ну, ладно,— сказал, наконец, Засядько, — це усе ясно. Но вот ты, Павло, казав за «Грозу», чтоб отставить. Почему?

— Насчет «Грозы»-то? Да... Пьеса, конечно, великолепная, золотой, так сказать, фонд русской драматургии и все такое, но... сами видите, друзья: сейчас — первейшее дело — по господу богу ударить, вот что. Давайте срочно готовить антирелигиозный спектакль. Вот так.

— А где, Павлуша, пьесу найти? — спросил Карасев.— Наши писатели, ох, как не любят марать ручки об эту грязь. Пьес-то нету, вот в чем дело.

— Какие пьесы! — махнул рукой Ласточкин. — По нынешним временам такие пьесы писать — дело каверзное. Чуть что — ты же, Павел, первый завопишь: караул! Оскорбление чувства верующих! Что, не так?

— Ну, разумеется, — сказал Павлик, — надо без оскорблений. Тактично.

— Тактично! — передразнил Карасев. — Когда это настоящий, боевой атеизм расшаркивался перед попами? Возьми хоть к примеру «Гаврилиаду», хоть «Декамерон»... да того же Демьяна Бедного возьми, чего далеко ходить,— сплошное оскорбление, сплошной плевок в великопостную рожу верующего!

— Ну, так то — классики, — неуверенно сказал Павлик. — Вот что! — вдруг оживился он. — Давайте, ребята, антирелигиозный концерт сколотим, а? Ей-богу! Тут и Бедного, и Маяковского можно двинуть, верно? Инсценировочку небольшую, а?

— Это идея, — согласился Карасев. — Об этом стоит поразмыслить.

— Давайте, ребята! — повеселел Павлик, усаживаясь на мотоцикл. — Не откладывая в долгий ящик, да? Договорились?

— Точка! — сказал Петяша.

— А Татьяну мы на бюро вызовем! — уже на ходу крикнул Павлик.

Карасев сделал движение, точно хотел что-то еще сказать, но мотоцикл поднял такую стрельбу, что Павлик все равно не услышал бы.

8.

Деревенская зима шла своим чередом. Декабрь всех удивил морозной лютостью. Оленьи табунки, не боясь собак, жались поближе к человеческому жилью, и как ни берегли, как ни прочно загораживали от них стога на задворках — все-таки ухитрялись разорять загородки; если очень уж крепко было построено, перепрыгивали через жерди и кормились до утра, а когда проснувшийся хозяин, матерясь на чем свет стоит, гнал их прочь, медленно, неохотно уходили в лес. В декабрьские трескучие морозы горела рыба: задыхаясь под плотной толщей льда, кидалась к прорубям и так кишела у самой поверхности, что казалось, будто ледяная вода кипит.

Каждое утро Михайла Иваныч брал сачок, шел на промысел к проруби и никогда с пустыми руками не возвращался. Неожиданно у него с Дарьей наладились отношения, враждебная отчужденность первых недель их совме-

стной жизни сменилась чувством настоящей родственной близости и внимания. Михайла Иваныч прямо-таки нарадоваться не мог на жену; Дарью, действительно, точно подменили: навела в избе чистоту, приучилась управляться по хозяйству, и управлялась отлично — вовремя затапливалась печь, стряпался обед, стиралось бельишко, чистилась козья закута. Она даже доить козу наловчилась и с чисто женской ухваткой делала это скорей и ловчее, чем сам Михайла Иваныч. Те из ракитинских женщин, что жили поближе к Михайла Иванычевой избе и забегали иной раз по соседству проведать или чем одолжиться, бросили свои презрительные ужимочки при разговоре с Дарьей и прониклись к ней уважением: чем-то брала она, что-то такое в ней было в особицу. Все это радовало Михайлу Иваныча, и он охотно прощал ей и молчаливость, и некоторые странности, какими она нет-нет да и поражала старика: то заплачет вдруг ни с того ни с сего, то задумается, вся уйдет в себя, забудет про все: зови, кричи — не откликнется. Однако эти ее странности не только, как прежде, не раздражали Михайлу Иваныча, но даже, наоборот, внушали ему к жене этакую уважительную робость. Сказать по правде, она ему ни в чем не давала поточки, заставляла с сигареткой выходить в сенцы, каждую субботу скоблить бороду, ежедневно, как урок, читать что-нибудь из Библии. Положим, чтение Михайла Иваныч и сам любил, в Библии иной раз такие, как он говорил, чепухенции попадались, что только диву дашься. Так, прочитав историю Лота и его дочерей, живших с отцом как жены, старик плюнул даже и пустил матерка, за что Дарья вытянула его по спине скалкой и сказала, что тут духовное супружество понимать надо. «Вот так духовное! — засмеялся Михайла Иваныч.— А дети у них, что ж, нешто тоже от свята духа рожались?» Дарья стала дуть на него, крестить, отчитывать, гнать бесов, а Михайла Иваныч покачивал головой и думал, что вот кабы из ней самой дурь-то повыдуть, так бабе и цены бы не было.

Через неделю после первого посещения Гаврилиной кельи он сходил в райисполком и записал избу и все хозяйство на Дарьино имя. Там еще над ним подшутили: «Эй, дед, гляди не промахнись! Заведет хахаля, выгонит тебя молодая жена!» Михайла Иваныч сердито отмахнулся от шутников: «За своими дюжей глядите, а моей не трожьте!»

Всю зиму собирались в тесной Гаврилиной избушке, читали Евангелие, пели, ждали сошествия святого духа. Он почему-то не каждый раз появлялся, и тогда особенно колотил себя Конопацкий, бился головой об пол, каялся; Марфута-Страмота плакала навзрыд или безумно смеялась, будто ее щекотали; и яростно, до пота, до хрипенья, прыгали, бесновались женщины — жены Конопацкого и Агафья. И Дарья не раз вскакивала с визгом, но Гаврила всегда молча грозил ей пальцем, и она сразу съеживалась, затихала; он зорко следил за ней, потому что ее порывам удержу не было: со всего маху кидаясь на пол, она в кровь, до полусмерти могла себя разбить. Мало-помалу и святая чаша появилась на столе. Таня попробовала, проглотила ложку крепчайшей самогонки, и ей вдруг стало легко, хорошо, звонче сделался голос, непринужденней движения. Однажды, когда святой дух особенно долго не являлся, увлеченная общим исступлением, Таня, сама того не замечая, стала мелко-мелко перебирать ногами и тут же почувствовала внутри себя какую-то сильную, вот-вот готовую разжаться пружину, и с восторгом дала ей разжаться...

Первое, что, опомнившись, ощутила Таня, была страшная, смертельная усталость; мокрая от пота одежда прилипла к телу, холодила, и от этого озноба зубы неприятно выбивали мелкую дробь. Она лежала на лавке, а все стояли возле нее на коленях и кланялись ей до земли. Потом подошел Гаврила и, тоже опустившись на колени, поцеловал ее в душку, сказал: «Ну, ангел божий, спасибо! Кабы не ты — не бывать бы голубенку в нашем храме...»

С этого вечера Таня часто прыгала и кружилась, призывая святого духа, и всякий раз чуяла внутри себя пружину дикого восторга и не сдерживала ее.

Беата никогда не присутствовала на вечерушках. Таня как-то спросила ее: почему? «Так надо, — ответила Беата, — не спрашивай меня...»

Вскоре на моленьях появились двое новых — бабка Феша с четырнадцатилетней внучкой Зиночкой. Эта Зиночка была бледна, худа, в чем только душа держалась. Ее, видно, пугало здесь все — и дикое выкрикиванье евангельских текстов, и песни, и самоистязание Конопацкого, и Гулюшка со своей цепью, а главное, исступленные прыжки черных женщин. Сначала она пряталась за бабку, дрожала дрожмя и все шептала: «Уйдем, бабушка, миленькая, мне страшно!» Бабка гладила ее по льняной головке, уго-

варивала: «Ничего, милушка, ничего, молчи... скоро боженьку увидишь...»

Всякий раз у Гаврилы для Зиночки находились то конфетка, то пряничек, и она понемногу привыкла, перестала плакать, но в глазах по-прежнему таился страх.

А бабке Феше тут нравилось больше всего потому, что неожиданно в убогой своей жизни она встретила человеческое участие и поддержку. Ведь с чего началось-то? Все с декабрьской стужи, с насквозь промерзшей избы. Бабка прихварывала (у нее что-то с печенью не ладилось), Зиночка ходила в школу. Кому было добывать топку? Прежде бабка Феша в лесу сушняк, хворост промышляла, тем и отапливались. Но болезнь выбила из силы, ходить за дровами стало невмоготу, а Зиночка-сиротка и так, прости господи, на ладан дышала, чего бы она принесла? Вот бабка толкнулась разок в сельсовет: так и так, холодом погибаю с девчонкой. Ей не отказали, но и не помогли. Она — в собес, но и там оказалось то же, что и в сельсовете: пообещали, да, видно, забыли. Наконец она и вовсе слегла, а тут и Зиночка прихворнула. Лежат, бедняги, в нетопленой избе.

Вдруг как-то раз вечерком заявляется Гаврила, весь в морозном инее, но веселый:

— Принимай, божья старушка, дровишки! Господь милости послал...

Вот ведь с чего началось-то.

Обосновавшись под боком у своей Беатушки, Гаврила точно помолодел, снова почувствовал неиссякаемую силу, снова вспомнил, ради чего он катает свои шары. О Геленджике больше не упоминалось. Арест отца Митрофана окончательно успокоил Гаврилу — враг был уничтожен, раздавлен, посрамлен, дела шли отлично. Но тем более грозной показалась ему неожиданная повестка из районного отдела милиции: Гавриле предлагалось назавтра прийти в такую-то комнату к оперуполномоченному такому-то.

— Э, пустяки! — сказала Беата. — Это, верно, тот старый поповский донос насчет того, что ты Гулюшку подстрекал. Так кто ж теперь попу поверит?

Гаврила струсил. Он что-то недоброе почуял — и не ошибся. Оперуполномоченный встретил сурово, недружелюбно, долго протомил в ожидании, наконец вызвал, пред-

ложил сесть и молча стал его разглядывать. От этого разглядыванья Гавриле не по себе сделалось, однако он ничем не выдал своего страха. Смиренно сидел на краешке стула, ждал вопросов.

— Вон, значит, ты какой! — усмехнулся уполномоченный.— Ну, рассказывай, откуда прибыл, чем занимаешься.

Гаврила охотно и связно рассказал.

— А почему из Горелова ушел? — спросил уполномоченный.

— Должность подвернулась, — сказал Гаврила. — Все ж таки чеботарствовал я, вроде бы, как частник, а тут, хоть и плохонькая, да госслужба.

— Так, так... — уполномоченный покопался в каких-то бумагах. — Значит, госслужба, говоришь... А с гражданкой Вернер Беатой Адамовной с какого года знакомы?— в упор спросил он.

— Что за такая за Верная? Докторица, что ли? — Гаврила это спокойно спросил, а у самого пальцы на ногах похолодели.

— Вот что, — строго сказал уполномоченный, — вы, Светличный, дурака-то не валяйте. Вернер фамилия, а не Верная.

— Какого дурака, что вы, гражданин уполномоченный! — воскликнул Гаврила. — Извиняйте, не разобрал, дюже, сказать, мудреная фамилия.

— Вы ее раньше знали?

— Да откудова ж я ее знаю, господь с вами! Сроду и не видывал.

— Но ведь вы из Туапсе прибыли?

— Точно.

— И она оттуда же.

— Землячка, значит! — радостно изумился Гаврила.— А ведь глядела мои документы — и виду не показала, что мы с ней вроде бы на одном солнышке онучки сушили... Сурьезная женщина, ничего не скажешь!

«Черт его знает, — подумал уполномоченный, глядя на простецкое лицо Гаврилы,— тут Карасев насчет докторши, верно, нафантазировал... Смело, открыто говорит. Но уж если этак врать умеет, то артист, ей-богу!»

— Ну, ладно, — сказал он, — это мы еще проверим. Тут вот какое дело, Светличный... Что это у вас за сборища в больничном кильдимчике устраиваются? А?

— Какие сборища? — удивился Гаврила. — Никаких

сборищев, гражданин уполномоченный, брехня. Другой раз, верно, кто из сельских забежит побалакать, ну, там полмитрича раздавим, песенку споем... так какая ж тут беда?

— Песенку! — хмыкнул уполномоченный. — Знаем мы ваши песенки... Евангелие читаешь?

— Это верно, читаю, — охотно согласился Гаврила.— Я, гражданин уполномоченный, человек верующий, сознаюсь, не воспоряю.

— Ну, так вот, предупреждаю, Светличный, чтобы этого больше не было! — уполномоченный постучал карандашом по столу. — Ишь ведь что выдумали — в больничном помещении дурман разводить! Ясно? Можете идти.

Гаврила не шел — летел. «Только-то и всего? — весело думал он. В таком разе, братик-уполномоченный, где сел, там и слез... А храм из кильдима все равно не миновать переводить — тесно делается...»

И храм был переведен в Михайла Иванычеву избу. Да тут еще и лучше, спокойней было — на отшибе от села, совсем дикое место.

9.

Гвоздем антирелигиозного концерта решено было сделать одноактную пьеску, однако оказалось, что достать ее не так-то просто. Петяша с Нюськой перерыли всю районную библиотеку, но ничего хоть мало-мальски подходящего не нашли. Наконец ездивший на учительскую конференцию Карасев привез из области две тощеньких антирелигиозных пьески. В одной из них центральной фигурой был поп-пьяница, то и дело попадавший в самые нелепые и смешные положения. Эту, с позволения сказать, комедию кружковцы отвергли единодушно: поп-анекдот не возбуждал ненависти, дармоделье было беззубо. Другая понравилась — там черные поповские дела показывались во всей неприглядности, но действие происходило в Литве: костел, ксендз, нерусский говор, нерусская жизнь.

— Не богато, — сказал Засядько. — От тоби и область.

— Перерыл все библиотеки и книготорг — ни черта! Всякие есть пьески — и про доярок, и про железнодорожников, даже про пожарников, ей-богу! А насчет господа бога — вот все.

Решили ставить про ксендза, но переиначить так, чтоб было похоже на русское село: ксендза сделать русским попом, костел — деревенской церковью, и самым решительным образом исправить язык действующих лиц.

Тимка раскопал где-то старый, изданный в двадцатые годы «Чтец-декламатор». Из этой видавшей виды, растрепанной, зачитанной до дырок книги было что выбрать. Резкий, подчас грубоватый, но разящий на смерть тон воинствующего безбожия двадцатых годов пришелся по душе ребятам.

— О це дило так дило! — восхищенно крутил головой Засядько. — Давали наши батьки усим боженятам киселя!

Нюська сочинила ядовитые частушки о том, как некий поп не поладил из-за клиентов с неким проповедником. Имен не называлось, но и так все было ясно: упоминание собачьей цепи, которой проповедник избил попа, раскрывало карты, объяснений не требовалось.

Павлика осенила, как он говорил, гениальная мысль— после лекции затеять с верующими спор о существовании бога.

— Это, разумеется, дельно, — сказал Карасев, — боюсь только, что спорить не с кем будет.

— Что, не придут, думаешь, верующие?

— Уверен, что не придут.

— Иди ты! — покосился Павлик.

Милиционер Филюшкин, исполнявший в пьесе роль старика-партизана, прислушался к разговору ребят.

— Придут, — уверенно сказал он. — С места не сойти — придут.

«Нет, — думал Карасев, идя из клуба, — что-то не совсем то̀ мы делаем... Тут кавалерийским наскоком не возьмешь, тут другая тактика нужна. Нам пропаганду по-другому строить надо... Мы ведь как? Соберем на безбожную лекцию четыреста человек — и рады: охватили! А что толку? Формальность одна. Не-ет, они, черти, по зернышку, по одному собирают, да зато уж крепенько... Как в паутинку».

Была мартовская ночь, влажный ветер, звенящая битым стеклом дорога. Было то же, что и в тот проклятый вечер год тому назад, только вдали над Чертовым логом не одинокая звездочка мерцала, как тогда, а крылатое белое зарево электрических огней охватывало полнеба. И зады-

хающийся движок не стучал, и огни в окнах домов не вздрагивали, а ярко, бело горели: Ракитино подключилось к высоковольтной линии завода.

И вот немножко грустно сделалось Василию. Такая ночь может неожиданно словно туманом тебя овеять, охватить каким-то необъяснимым, щемящим чувством не то одиночества, не то смутного воспоминания о чем-то несбывшемся, но удивительно хорошем.... «Коварнсе чувство! — точно от холода, поежился Карасев. — От такого, наверно, пьяницу к рюмочке тянет...» Не очень-то хотелось идти домой: холостяцкая комната при школе, стопа тетрадок с контрольными сочинениями, остывшая печка...

Вдруг он остановился, словно кто велел ему это сделать, минуту постоял, глядя под ноги на смутные блестки льдинок, сосредоточенно, тяжело думая о чем-то; затем улыбнулся, пробормотал: «Черт с ней, что поздно!» — и быстро пошел в противоположную сторону.

Таким же голубым сиянием, что и тогда, светилось окно Беатиной комнаты. Карасеву даже музыка послышалась та самая — плавная, торжественная, с изумительным хором нежных женских голосов... Он затаил дыхание, замер: нет, в доме стояла мертвая тишина, это сработало воображение. Мысленно чертыхнувшись, Карасев постучался.

Беата не удивилась, увидев его. Она как будто ждала этой встречи. «А! — сказала. — Это вы? Проходите, раздевайтесь». У Карасева и в мыслях не было раздеваться, разговор с проклятой врачихой представлялся ему словесным поединком, очень коротким, но страшно напористым, ожесточенным: вопрос, ответ, вопрос, ответ... «ах, так!» и — ультиматум: или — или. Откровенно говоря, он и сам хорошенько не знал, что это будут за вопросы и что за ультиматум, но всем существом своим стремился к откровенному и решительному разговору. Играть с Беатой в прятки он больше не мог, он вызывал ее на честную битву.

И вдруг все повернулось иначе, совсем не так, как это ему представлялось: он снял пальто, уселся на предложенный стул, аккуратно протер очки. «Что это я не то делаю, — поморщился он, — словно в гости пришел чаи распивать...» И только он так подумал, как Беата сказала с улыбочкой:

— Хотите чаю?

Такой вопрос был для него сейчас вроде красной тряп-

ки перед глазами рассвирепевшего быка. Он почувствовал, как горячей волной приливает к сердцу спасительная злоба.

— Вот что, — сказал Карасев, — снимайте-ка маску.

— О чем это вы? — Беата сделала удивленные глаза.

— Я говорю: снимайте маску! — не громко, но откровенно угрожающе повторил Карасев.

Беата пожала плечами.

— Вы, верно, выпили лишнее? — участливо осведомилась она. — Вам плохо?

— Да хватит вам притворяться! — сказал Карасев.— Давайте начистоту.

— Ну, хорошо, давайте, — как бы в недоумении Беата развела руками. — Говорите, но, пожалуйста, без театральных штучек. А то заладил: маску, маску! Ну?

— Мне наплевать, — сказал, помолчав, Карасев, — чем вы торгуете в вашей религиозной лавочке. Пожалуйста, заманивайте туда полоумных Гулюшек и Конопацких... Но зачем... зачем вы калечите молодую девушку? Зачем? Мы будем драться за нее, слышите? Драться!

— Ах, вон что! Только теперь поняла. Это вы про Таню?

Боже мой, какой подлейшей улыбочкой она расцвела!

— Да, про Таню! — Карасев задохнулся от ненависти. — Именно про Таню!

— Так что же вы хотите от меня? — не глядя на Карасева и поигрывая кончиком пояса своего пестрого халатика, спросила Беата.

— Сейчас скажу. Или вы оставите Таню в покое, отступитесь от нее, или...

— Ну, что — или? Что? Договаривайте. — Беата играла пояском.

— Или я... нет, мы... сделаем так, что вы... что вам горячо будет ходить по нашей земле! Вот что я хотел вам сказать.

Беата весело расхохоталась. Карасев пристально поглядел на нее — она просто вся тряслась от смеха. «Вот, черт, актриса! Какой талант пропадает!» Он грубовато оборвал ее:

— Чему это вы так обрадовались?

— Да как же... ох! — Беата кончиком пояса вытерла слезы. — Ну, ну, не буду! — замахала она руками, видя, что Карасев готов вспыхнуть. — Не буду... ох! Теперь я

уж окончательно все поняла,— успокаиваясь, сказала Беата. — Религиозная лавочка, Гулюшка... Откуда вы взяли, что я причастна ко всему этому? Да я самая, если хотите знать, убежденная атеистка! Вас, видно, это навело на мысль? — она указала на распятие и мадонну. — Так эти вещи остались от покойного отца, это... ну, вещи моего детства, что ли, понимаете? А Гулюшка... ха-ха-ха! — снова затряслась Беата. — Нет, выдумает же! Гулюшка! Конопацкий какой-то... Да я и не знаю такого.

— Не врите! — крикнул Карасев. — Я сам видел, как они возвращались от вас. Из сада, через пролом. Что, нет?

— Ну, вот что, безумный юноша, сейчас вам все объясню. Теперь, когда все выяснилось, мне легко говорить с вами.

Карасев сердито фыркнул.

— Не от меня они возвращались, нет, — продолжала Беата, — вы ошиблись, товарищ... Карасев, кажется? Верно, через пролом, и верно, из сада. Видите ли, в чем дело. Месяца три тому назад больничный кучер был призван в армию. Некий гражданин из соседнего села поступил на его место. Это довольно уже пожилой человек, ходить на работу за семь километров ему трудно, да и вообще кучер должен постоянно находиться при мне — мало ли что? Ну, я и разрешила ему жить в заброшенной хибарке, в саду. А он, оказывается, какие-то моления начал там устраивать. Меня предупредили, и я строго-настрого запретила эти сборища. Ясно?

Карасев собирался с мыслями. У него было такое ощущение, как будто поймал ужачонка, зажал в руке, а он извивается, извивается, вот-вот выскользнет...

— Теперь о Тане, — в Беатином голосе послышались нотки задушевности.— Тут, видите ли, совсем другое дело. Я — женщина, я очень тонко чувствую вас, вашу... ну, ревность, что ли... И очень понимаю. Но я-то опять-таки при чем? Я полюбила эту милую, одаренную девушку, мы увлеклись с ней классической музыкой — я ведь немножко музыкантша, вы знаете? — улыбнулась Беата. — Ну... мы с ней музицировали, читали, много говорили. Ее домашний мир узок, тесен — не правда ли? И тут... можно, я вам напомню наш давнишний разговор?

Карасев почти не слушал. Он понимал, что от ужачонка в горсти один хвостик остался.

— Помните, мы говорили о Бахе и о песнях этих ваших... «Елочки-сосеночки» и прочее? Вы еще сказали тогда, что это — «нашенское». Помните? Так вот, дорогой товарищ Карасев, ваша беда заключается в том, что этого самого «вашенского» мало оказалось для Танечки. Ей, видите ли, Бах по душе пришелся, нечто более тонкое, чем «елочки-сосеночки». Понимаете? А вы бог знает что выдумали: религия, лавочка, Гулюшка... да еще маски какие-то. Вот так-то, милый друг.

— Но ведь я сам видел, — чуть ли не простонал Карасев, — видел, как она шла ночью через пролом!

— Что ж тут такого? — пожала плечами Беата. — Она часто бывает у меня, иногда, случается, и через сад уходит. Да вот, пожалуйста, минут за десять до того, как вы постучались, она ушла от меня... и, кажется, через сад. Что?

Карасев молча одевался. Ужачонок выскользнул, спрятался в щель. Холодно стало на улице. Карасев поднял воротник. «Бах ей по душе пришелся! — вспомнились Беатины слова. — Нет, сударыня, Бах тут ни при чем!

10.

Зима лишь в декабре пугнула морозами, а потом надолго установилась — мягкая, влажная, с мокрым снегом, с гнилыми туманами. И вдруг в половине марта, точно спохватившись, что мало сделала, закурила метелями, снегопадами, словом, раскуражилась напоследок. Бураны такие закрутили, каких старейшие из сельских дедов не помнили на своем веку.

Хорошо слушать дикую, пьяную музыку вьюги! Разумеется, сидя в тепле, в уютной комнате, за чаем, за книгой, среди милых и близких; разумеется, находясь в состоянии нравственного покоя, в состоянии прямо противоположном тому, что творится за окном... А если никого нет возле тебя? Да трубу в остывшей печке забыли вовремя закрыть? Да стая разъяренных чертей — тревожных мыслей и сомнений — не дает отдохнуть бедной голове? Ох, как страшна, как чудовищно неуместна покажется тогда эта воспетая стихотворцами музыка вьюги! Не поддавшись ли жуткому обаянию диких голосов бурана, места себе не найдет, беспокойно шагает из угла в угол в своей одинокой комнате Беата Адамовна? Мертвая улыбка на

бледном, напряженном лице; крепко, до боли, стиснутые пальцы маленьких, цепких рук. Как метроном, отстукивает она четкие шаги — от распятья к двери, от двери — к распятью... И невидимый, жестокий демон мечется за ней, вздыхает, посмеивается, нашептывает: «Ошибка, ошибка... вся жизнь — ошибка... Все — выдумано, все — ненастоящее... даже и медная дощечка с известной готической надписью — не выдумана ли она? А жизнь проходит, проходит... Что?»

Или вот — в Гусаровском домике. Там тихо, мирно, тепло. Сверчок на кухне у бабушки, жарко натопленная печь. Довольная прожитым днем, мать отдыхает за пяльцами. В мелких клеточках канвы — черные и красные квадратики, квадратик за квадратиком — на полотне намечается птица-павлин... Уют, покой, довольство. Вот где, казалось бы, хорошо, весело слушать дикое пение вьюги... Но нет, что-то сумрачен, хмур сам хозяин, две толстые складки врезались в лоб между густыми, клочковатыми бровями. Викентий Петрович не бегает, подобно Беате, по комнате, у него все-таки нервишки — славу богу, ничего, надежные, но... черт бы его побрал, этого Ваську, Василия Иваныча... или как там его, ну, учитель, в общем, такой шибздик, в общем, в очках... драмкружковский, в общем, заправила. Черт его нынче принес в районтдел. «Я к вам, товарищ Гусаров, по очень неприятному делу».— «Ну-те?» — «Не как к заву, не как к лицу официальному...» — «Ну-те, ну-те?» — «Известно ли вам, что ваша дочь посещает сектантские сборища, является их активной участницей?» — «Позвольте...» — «Нет, уж позвольте мне! Я вижу, что вы ничего не знаете, ни о чем не догадываетесь. Впрочем, такие вещи со стороны всегда виднее. Выслушайте, и давайте вместе подумаем — что делать?» Боже мой, какой позор! Родную дочь не уберег! Да ведь теперь этот Васька... Василий Иваныч, или как там его, по всему району раззвонит, до райкома партии дойдет!.. И Викентию Петровичу уже представляется вызов к «самому», который ставит вопрос о его пребывании на посту руководителя районной культуры... И снимут! Очень даже просто, снимут да и засунут потом куда-нибудь на фруктосушильный завод, изволь там с планом изворачиваться! Ну, разумеется, и Татушку жалко, какая нелегкая ее туда занесла? Надо бы, все ж таки, с ней поговорить... откровенно, по-отцовски...

— Танюша! — зовет Викентий Петрович. — Танечка!

— Чего разорался? — ворчит мать. — Ушла Танька.

— Куда?

— Господи, откуда я знаю? Она никогда не говорит...

В бешеном круговороте воющего снега идет Таня, оступаясь с тропинки, проваливаясь в сугробы. Все безумные ветры сорвались с цепей, со всех сторон налетают одновременно, не дают вздохнуть, оглядеться... На лугу под горой как будто ослабли порывы бурана, стало тише, спокойней. Смутно сквозь вьюжную завесу завиднелась изба, чей-то еще не занесенный снегом след... Троекратный условный стук в черное, занавешенное изнутри окно... «Кого господь принес?» — глухо, точно из-под земли, спрашивают. Визжит промерзшая дверь, разбуженная, вдруг пронзительно, дико орет коза в сенях... Все избранные пришли, все собрались под святой кров. Дарья зажигает свечи, и вскоре в дикую музыку вьюги вплетаются приглушенные кирпичной стеной стонущие звуки Игнаткиной песни... Ах, хорошо, привольно «божьим людям» в Михайла Иванычевой избе! Тут уж никто не услышит, никто не осудит, не возьмет на заметку... разве только тощий одинокий волк, выбежавший на опушку леса, издалека почуявший вздрагивающими ноздрями сладкий козий дух... Ну, да что волка бояться, волк — не человек. Принюхался, прислушался и, низко опустив лобастую башку, ленивой рысцой побежал прочь, держась поближе к темной стене берегового ольшаника. Видно, что-то встревожило зверя, но что? Мы не сразу узнаем это. Проходит столько времени, сколько требуется волку, чтобы уйти чуть ли не за километр от орущей козы, сколько нужно четырем неистовым ветрам, чтобы столкнуться в отчаянной схватке над Михайла Иванычевым огородом. И лишь тогда мы смутно различим в седых космах бурана черную фигуру человека, медленно, с трудом пробирающегося от села по снежной целине... Нет, он не стучится условным стуком в занавешенное окно, он, видимо, вовсе не собирается войти в избу. И раз, и другой, крадучись, обходит кругом, останавливаясь у окошек, прислушивается, пытается найти хоть малую щелку в плотных занавесках, и, кажется, находит, потому что приникает вплотную к крайнему окну и так, замерев, остается с четверть часа, пока жестокий холод не заползает под легонькое пальтишко и не гонит любопытного прочь.

Но как неожиданно кончается буран! Он словно только того и ждал, чтобы неизвестный потоптался вокруг избы: за пятнадцать считанных минут, пока тот подслушивал да подглядывал, один за другим улеглись сердитые вихри, утих снегопад, и в черных дырах разорванных облаков яркими стекляшками сверкнули звезды. И какой-то нежный, призрачный свет разлился над крутыми волнами присмиревших снегов, и, озаренный этим светом, долго виднелся медленно подымающийся в гору человек, и свежи, четки были его следы: двумя петлями окружив Михайла Иванычеву избу, длинной цепочкой глубоких вмятин они уходили к селу.

11.

Взобравшись на кручу, Карасев остановился передохнуть. В нежной серебряной дымке далеко внизу, за рекой, лежали припорошенные свежим снегом леса; шибко, словно вперегонки, то открывая миру звезды, то снова хороня их, мчались разорванные лохмотья туч; черным пятнышком едва виднелась Михайла Иванычева изба. «Так, Вася! — усмехнулся Карасев. — Докатился, миленький, ходишь по ночам под чужие окна подглядывать... ничего себе ролька! Шерлок Холмс!» — вспомнились Павликовы слова. — «Ну, и пусть Шерлок Холмс, ничего не поделаешь...»

В маленькой комнатке Карасева было холодно и неуютно. Третий год он жил кое-как, точно на вокзале, ожидая обещанную товарищем Коноплиным квартиру, чтобы привезти к себе мать и меньшую сестренку. До него все очередь не доходила: то надо было устроить многосемейного агронома, то оказывалась досадная заминка с жилищным строительством, то попросту забывали о скромном и неназойливом учителе. Так шли годы, все как-то ловко, напористо улаживали свои житейские делишки, а Васенька Карасев, занятый по горло школой и драматическим кружком, по-прежнему ютился в холодной тесной, наспех переделанной из чулана комнатушке. Он, впрочем, и таким жильем удовлетворился бы, ему только перед матерью было совестно: каждый год он писал старушке, что вот скоро приедет за ней, и каждый год переезд откладывался на неопределенное время. Он искренно недоумевал, почему Федор Иваныч так тянет это дело; то, что това-

рищ Коноплин сердит на него за давнишнюю заметку, ему и в голову не приходило.

Чулан промерз насквозь. Когда Карасев включил свет, в сырых углах сверкнули искорки пушистого инея. «Эх,— поежившись, пробормотал Василий, — жизнь ты моя бесприютная!» Что-то похожее на жалость к себе кольнуло в сердце. Карасев ненавидел это чувство, оно изредка навещало его и всегда казалось оскорбительным. Он громко загорланил: «Будет буря, мы поспорим и помужествуем с ней!» — разыскал в темных сенях топор и пошел колоть дрова. Через полчаса печная плита была оранжево-красной, в дымоходе весело гудело пламя, дробно бренчал крышкой забурливший чайник.

Возня с дровами и печкой, две кружки горячего чая — все это согрело озябшего Карасева. Его тело наполнилось теплом, но он никак не мог отделаться от какого-то внутреннего озноба. В ушах все еще посвистывала метель, дребезжали истошные крики козы; к ним присоединялось унылое пение в избе и полные не то восторга, не то отчаяния женские вопли...

Хоть и мала оказалась дырочка в занавеске, а все-таки кое-что удалось разглядеть. Прямо перед Василием, спиной к нему, стоял на коленях грузный лысый человек с необыкновенно покатыми плечами. «Портной», — догадался Карасев. Чуть левее, ближе к переднему углу — кончик накрытого белой скатертью стола. Кто-то сидел за столом, но кто — рассмотреть было невозможно. Напротив дырочки, у обклееной газетами стены, стоял длинный, заваленный одежей, деревянный диванчик. Рядом, на скамейке, какие-то женщины сидели, тесно прижавшись друг к другу. Тани не было среди них, но пестренький ее жакетик виднелся между сваленных на диван полушубков и пальто. Что-то крикнул тот, невидимый, за столом, и женщины вскочили, размахивая руками, стали прыгать, высоко поджимая ноги, как будто играя в скакалку. Толстая спина портного оползла куда-то вниз, на пол. Черные тени скачущих людей заметались на стене. Но дикая пляска оборвалась так же внезапно, как и началась, женщины уселись на скамейку. Раздалось довольно стройное пение. Пели невероятно долго, простенькая мелодия напоминала популярную песенку «Когда на улице Заречной», но слова невидимыми певцами произносились тягуче, невнятно, и как Василий ни напрягал слух — так ничего и не разобрал.

Один женский голос выделялся среди остальных, немножко резкий, но чистый, звонкий, берущий за душу. «Кто бы это?» — удивился Карасев. Он перебрал в памяти всех тех, кого встретил у Михайлы Иваныча в прошлую субботу,— и ни на ком не мог остановиться: тогда в избе собрались пожилые люди — портной, гореловские чернички, Нюськина тетка, — Карасев некоторых видел впервые. Да никто и не пел тогда, никто даже и рта не раскрыл. Битый час Михайла Иванычева жена читала Евангелие, а все чинно, молча слушали, изредка поглядывая на учителя: когда же, мол, ты уберешься, незваный гость? Ни больничного кучера, ни Тани, разумеется, не было: Карасеву показывали фальшивку. А на что другое он мог рассчитывать, сам напросившись на посещение «божьей вечерушки»? Его ждали, к его посещению готовились. Следовало бы хитрее подойти к этому делу: сперва поближе познакомиться со стариком, разок-другой зайти к нему просто так, между прочим, ну, хотя бы о рыбной ловле потолковать, а уж потом, невзначай, нагрянуть на сборище. А то ведь как получилось? — «Здравствуйте, Михайла Иваныч! Я здешний учитель, хотел бы поглядеть, что это у вас за новая вера, как вы молитесь. Разрешите зайти?» — «Пожалуйте, милости просим. Только, дорогой товарищ, — Михайла Иваныч смутился немного, — только, я извиняюсь, кто это вам такую сплетку сплел про новую веру? Мы, дорогой товарищ, святое писание читаем, фактически, громкую читку проводим — и никаких!»

Третья кружка чаю была выпита. Стало жарко, внутренняя дрожь унялась, успокоилась. Итак?

Итак, он, Василий Карасев, наделал массу глупостей.

Во-первых, этот идиотский разговор с Беатой, разговор, после которого она, как и прежде, осталась в маске, вне каких бы то ни было подозрений, а он откровенно показал себя яростным противоборцем. Невыгодность такого положения не замедлила сказаться: у Михайлы Иваныча его приняли как опасного человека, как явного врага, замкнулись и сделали фальшивку.

Во-вторых, надо было бы давно рассказать Викентию Петровичу про Таню, а вместо этого все зачем-то откладывалось да откладывалось. Как-никак, хоть и пустой человек, но ведь отец же, черт возьми!

И, в-третьих, самая главная глупость заключалась в том, что он, Василий Карасев, решил в одиночку вести

борьбу за Таню (и только за Таню, надо признаться!) и очень как-то скрытно все делал. Недаром его Павлик Шерлоком Холмсом прозвал...

Но тут — особая статья: его личные отношения к Тане. Если бы на ее месте оказалась, допустим, Нюська или еще кто из девчат — все было бы гораздо проще. Ведь вот, например, сказал Павлик: на бюро вызовем. И вызвал. И ничего путного, разумеется, из этого не получилось, райком хватил через край: или — или. И Таня положила комсомольский билет. Плохо, очень плохо.

А что сделал Василий Карасев для того, чтобы предупредить райкомовскую горячку? Ничего. Хотел вмешаться, да не вмешался, не посмел. Застенчивость и мнительность, черт бы их побрал! Думалось тогда, что если станет возражать, сразу начнутся насмешливые подмигивания, многозначительные покашливания: все отлично знают о его безнадежной влюбленности. Да, чертовски сложно запутались, переплелись события. Вопрос сейчас в том, как не только самому разобраться в этой путанице, но, главное, и другим помочь. До сих пор все, что предпринимал Карасев в этом направлении, делалось ради одной Тани. Ему в голову не приходило, что ведь и кое-кто из тех, что втянуты в секту, — ну, скажем, сам Михайла Иваныч, горбатенькая Сима, — попали, как и Таня, в болото, что ведь и они нуждаются в помощи, в протянутой руке.

Так, конечно, могло продолжаться и дальше, если бы как-то раз Карасев не заметил, что с одной из его семиклассниц творится что-то неладное. Прежде очень внимательная, Зиночка сделалась рассеянной на уроках; напряженное, даже, пожалуй, испуганное выражение появилось на лице, словно бы какая-то назойливая мысль ее мучила постоянно, не давала покоя. Несколько дней внимательно приглядывался к ней Карасев, не зная, чем объяснить такую перемену в хорошей, способной девочке. Он решил посмотреть, как она живет.

На пороге ветхой, с перекошенными окнами избенки его встретила бабка Феша. Карасев поздоровался и попросил разрешения войти.

— Что ж, заходите, — не очень-то дружелюбно сказала бабка.

В избе было холодно, углы чернели уродливыми пятнами сырости. Закутавшись в рваное ватное пальтишко, Зиночка сидела за колченогим столиком и, склонив голову

набок, что-то старательно переписывала из растрепанной тетрадки. Увидев Карасева, она растерялась, вскочила и сунула тетрадку под пальто.

— Прохладно у вас, — дыша белым паром, покачал головой Карасев.

— Спасибо еще добрые люди, дай бог им здоровья, подмогнули, — сердито сказала бабка Феша, — а то и вовсе померзли бы не хуже тараканов...

— Как так? — не понял Карасев.

— Да уж так, — поджав губы, бабка замолчала: Гаврила не велел ей сказывать, кто привез дрова.

Карасеву сделалось неловко, в бабкиных словах чувствовалась какая-то обида. Но как он ни допытывался, в чем была эта обида, бабка только отмахивалась: что, мол, вспоминать, дело прошлое.

Зиночка же все время стояла, испуганно переводя взгляд с бабки на учителя. Она, видно, была смущена чем-то, у нее даже бледные щеки порозовели.

— Что это ты писала? — близоруко приглядываясь к лежащему на столе листку, спросил Карасев. — Стихи?

— Просто так, — прошептала Зиночка.

Карасев взял листок с еще не высохшими чернилами. Первые же строчки его озадачили: «О боже, боже, что нам делать, куда бежать от зол от всех?»

Соединение полудетской старательной прописи с тупостью и темнотой мысли было особенно нелепо.

— Откуда ты списала эту чепуху? — строго, по-учительски, глянул на Зиночку Карасев.

Зиночка молчала, потупившись.

— Ну?

Девочка вдруг заплакала навзрыд.

— Не нукай! — крикнула бабка Феша. — Не запрег! Ишь ты — «ну»! — передразнила она Карасева. — Начальнички... Чего девку-то растравил? Что, писано не по-твоему? Не ндравится? А мы, милок, у тебя и не спрашиваем, тебе до нас заботы ни грамма нету! Ты с Зинки в школе уроки требовай, вот и вся твоя дело... Расчухал ай нет?

Карасев оторопел. Неловко стал он утешать плачущую Зиночку: «Ну, успокойся, ну, что ты расплакалась...» Бабка Феша пошла к печке, сердито загремела заслонкой, рогачами, раздраженно бурча себе под нос: «Начальнички... делать вам нечего...»

Карасев подождал, пока Зиночка успокоилась, и ушел. Ну что ему оставалось делать? Было очевидно, что одним ударом не разорвать нитей, опутавших девочку: паутина плелась хитро и крепко. Однако Карасев решил не отступать. В тот же день он пошел в райком партии и выложил все, что знал и о чем догадывался, но о Тане не сказал ни слова. Разговаривал с Василием сам секретарь. Это был пожилой, болезненный и, видимо, усталый человек по фамилии Листопад. Как у всех сердечников, его лицо постоянно сохраняло выражение печали и затаенной тревоги. Осенняя фамилия удивительно шла к нему.

— Да, мне Фесенко докладывал, — выслушав Карасева, сказал он. — Вы там какой-то вечер затеваете? Это, разумеется, хорошо, но... — Листопад запнулся, изучающе поглядел на Карасева. — Хорошо, ну, как первый шаг, что ли, в большом наступлении.

Василий сказал, что, безусловно, одним только вечером они и не думают ограничиться, что мыслится провести ряд мероприятий...

— «Ряд мероприятий», — улыбнулся Листопад. — Это, брат, вздор. Мероприятиями тут не пробьешь. Тут не общие слова нужны, а живая, кропотливая, индивидуальная работа с людьми. Тут, милый друг, речь пойдет о настоящей войне. С атаками, с боем, с разведкой. Да, да, с разведкой, — он лукаво подмигнул Карасеву, — с той самой разведкой, какую ты и ведешь... И правильно делаешь: надо знать, по каким точкам нацеливать огонь.

Листопад встал и прошелся по кабинету.

— Вот очень хорошо, что ты у этой Зиночки побывал. Откуда у девчонки взялись стишки? Ох, как маскируется враг, пойди, разгляди его! Зиночкина бабка — темнота, а чем мы ее просвещаем? Гусаровскими лекциями? Так он два раза в год выступает — на рождество да на пасху... Обленился, отсырел на своей рыбалке. Ну, я поговорю с ним.

Карасев прикусил губу: приходилось рассказать и о Тане.

— Экая размазня! — поморщился Листопад. — Собственную дочь прошляпил! Ну, ладно. Лектора из области, кандидата наук, выпишем. Когда у вас вечер-то? Через неделю? Отлично, действуйте. Насчет вечера у меня одно соображение есть, может здорово получиться... Ну, об этом после.

Оставшись один, Листопад прислушался к чему-то, вы-

нул из бокового кармашка пиджака коробочку с валидолом и положил таблетку под язык.

— Вот не было печали, — пробормотал он, — район с молоком зашивается, а тут...

Дососав спасительную таблетку, он позвонил в отдел культуры и вызвал товарища Гусарова.

12.

Все это, разумеется, было превосходно: областной лектор, кандидат наук, атеистический вечер, но...

Павлик размахивал руками, доказывал Карасеву, что нечего пороть горячку, что упорная, систематическая пропаганда сделает свое дело, что чрезвычайные меры тут, так сказать, противопоказаны. И это тоже все было верно, но...

Концерт сколачивался на славу, и спектакль обещал быть интересным. В милиционере Филюшкине скрывался талант; Засядько великолепно читал Маяковского и Демьяна Бедного; о Нюськиных частушках и говорить было нечего. Павлик показал наброски своего выступления — оно было дельно, остро, с потрясающими фактами из местной действительности. И опять-так «но...»

От этих окаянных «но» у Василия голова шла кругом. Он всем своим существом чувствовал, что все-таки мало этого, что какие-то чрезвычайные меры нужны, что слишком уж нянчимся мы с неприкосновенностью чувства верующих, с ложной боязнью оскорбить это чувство.

Больше всего Карасева сейчас тревожила история с Зиночкой. Он расспросил о ней своих товарищей педагогов. Кое-кто из них, как и он, заметили, что девочка, действительно, изменилась, однако причиной такой перемены казались им дурные бытовые условия: материальная необеспеченность и влияние неграмотной бабушки. Что? Секта? Да, верно, о каких-то сектантских сборищах ходят слухи, но чтобы тринадцатилетняя девочка... нет, нет, этого не может быть, что вы, что вы! Абсурд!

Карасев толкнулся к директору. Тот прежде всего перепугался: «Как! Школьница — сектантка?! Нет, нет и нет!» Его, по правде сказать, не столько Зиночкина судьба тревожила, сколько те личные, служебные неприятности, которые могли приключиться, если бы это действительно так оказалось и получило огласку. Директор желал видеть причину исключительно в трудных житейских обстоятель-

ствах. И он, не мешкая, отдал приказ о покупке нуждающейся ученице зимнего пальто. Несмотря на то, что такой шаг вызвал у Карасева очередное «но», все-таки тут, пожалуй, для Зиночки можно было видеть больше пользы, чем от неведомой лекции неведомого кандидата наук.

Наконец Карасева осенило: писать, писать надо! Писать в центральную газету, на всю страну закричать: «Спасите, товарищи! Люди гибнут!»

Толчком к такому решению была отвратительная сценка на школьном дворе, которую Василий наблюдал из окна учительской. С утра валил снег, от белизны все казалось необыкновенно радостным, праздничным. В седьмом классе окончились уроки. Весело галдя, ребята потянулись из школы. Несколько семиклассников столпились у ворот и что-то непонятное делали. Карасёву показалось, что они крестятся. «Что за чепуха!» — подумал он, стараясь получше разглядеть ребятишек. Тесной толпой окружив Зиночку, они в самом деле смешно, неумело крестились на нее, размахивая руками, кланяясь ей чуть не до земли. Прижатая к забору, Зиночка в своем новом пальтишке старалась вырваться, отбиваясь холщовым портфельчиком, отчаянно кидалась на ребят, но куда же ей, болезненной, слабенькой, было их одолеть!

Выйдя во двор, Карасев прекратил эту нелепую забаву. Утирая слезы, Зиночка побежала прочь.

— Зачем вы ее обижаете? — спросил Карасев.

Озорники молчали, посмеивались.

— Да вы не знаете, — наконец сказал один из мальчиков, круглолицый, веснушчатый, в потрепанном летном шлеме. — Она, Зинка-то, — богородица!

Ребята захихикали.

— Какая ерунда, что за богородица?

— Нет, верно, — продолжал веснушчатый. — Они с бабкой к деду Мишаке богу молиться бегают... У них там так: мужик — то ангел, баба — то богородица.

— Ну, ладно, — сказал Карасев, — дразнить-то все-таки нехорошо. Вон вы ее до слез довели.

— Василий Иваныч! — пропищала толстая, добродушная девочка, которую прозвали Клашкой-Пирогом, — я знаю, мне Зинка сама говорила: ее бабка заставляет богу молиться...

— Ну, и дура! — презрительно сказал веснушчатый.— Подумаешь — бабка! Я бы этой бабке...

Он не договорил, засмеялся и зашагал, не спеша, поддавая ногой обледенелые комочки снега. За ним потянулись и остальные. Веселым табунком шли они через площадь, затевая на ходу игры, то разбегаясь, то вновь собираясь в шумную ватагу. Вдалеке чернела одинокая фигурка Зиночки. «Как бы опять к ней не привязались», — подумал Карасев и быстро пошел вслед за ребятами. А те, видно, уже и думать про Зиночку позабыли, разбежались по площади, затеяли делать бабу. Сложив при дороге в кучу портфели и сумки, ребята так увлеклись, что и не заметили Карасева. Он набавил шагу, чтобы догнать Зиночку; ему хотелось поговорить с ней с глазу на глаз, узнать, откуда взялись у нее эти нелепые стишки. «Беата, Беата! — словно нашептывал ему чей-то голос. — Ее коготок... Правильно, товарищ Листопад: маскируется враг... Да как еще маскируется-то! Ну, чтоб я провалился, выведу эту змею на чистую воду! Обязательно выведу!»

Мокрый снег залепил стекла очков. Карасев, чертыхнувшись, стал их протирать, а когда протер, увидел, что Зиночка исчезла, улица впереди была пуста. «Ну, это уже мистика какая-то! — сердито пробормотал Карасев. — Ведь я только что видел ее возле пожарного сарая... не провалилась же она, в самом деле!»

И вдруг он остановился: цепочка четких следов тянулась в сторону от дороги, заворачивала за дощатый балаган. Скрытая высоким сугробом, Зиночка стояла, прижавшись к стене сарая. Карасев не сразу разглядел ее, — такая она была маленькая, серенькая, словно ушедшая в стену.

— От меня спряталась? — засмеялся он.

— Ну, что вы! — покачала головой Зиночка. — Это я жду, чтоб ребята прошли... а то опять пристанут. Этот Андрюшка конопатый, он всех подговаривает...

— Слушай, Зина, — сказал Карасев, — зачем ты ходишь к этим... — он запнулся, — ну, ты знаешь, к кому.

— Бабушка велит, — прошептала Зиночка. — Вы не думайте, — быстро, горячо заговорила она, — я нисколько не верю в бога, и бабушка раньше не верила... А этот ихний старик два раза нам дрова привозил, и он все что-то шептал бабушке, и велел ей ходить к ним... и чтобы я ходила... А у них, знаете, как страшно! Там один, такой толстый, всегда кричит, по полу катается... И Гулюшка... и бабы какие-то полоумные...

Она спешила, проглатывала слова и все оглядывалась, словно боясь чего-то.

— Постой, постой! — перебил ее изумленный Карасев. — Какие дрова? Кто привозил?

— Ну, этот ихний главный старик. Он и мне пряники давал и велел переписывать из своей тетрадки какие-то глупые стихи... да вы тогда видели. Какие-то такие непонятные, вроде молитвы. Они их хором поют.

Зиночка все без утайки рассказала. Уставное пьянство, появление на потолке святого духа, самоистязания Конопацкого — все это, конечно, поразило Карасева, однако самое удивительное было в том, что о Беате ни словом не упоминалось, ее как бы не существовало.

— Ну, что вы! — воскликнула Зина, когда Карасев прямо спросил ее насчет докторши. — Зачем она пойдет туда?

— Да ты знаешь ли ее в лицо-то? — не отставал Карасев.

— А как же, сколько раз видела, когда к бабушке в больницу приходила.

«Вот тебе и доказательства! — с досадой подумал Карасев. — Неужели же я, действительно, ошибаюсь? Неужели всему причиной — Бах? Но как же Нюськина тетка тогда говорила? Впрочем, мало ли что ей с пьяных глаз могло показаться...»

— Ну, вот что, — сказал он, — ты, Зина, все-таки не ходи туда. Ладно?

Зиночка молчала, опустив глаза.

— Мы поговорим с твоей бабушкой, не бойся. В конце концов, что она тебе сделает, если ты наотрез откажешься?

Сдерживая слезы, Зиночка кусала губы.

— Она сказала, — всхлипнула Зиночка, — сказала, что... кормить меня... не будет...

— Фу, черт, дичь какая! — возмутился Карасев — Слушай-ка, когда у вас собираются? В субботу? — Наморщив лоб, он задумался. — Ладно, мы вот как сделаем... Скажи бабушке, что я тебе велел прийти в школу. Стенгазету, скажи, будем делать. Мы тебя в редколлегию введем, идет?

Зиночка кивнула.

— Вот так и решили! — весело сказал Карасев. —

Иди и ничего не бойся. Ты не одна, у тебя вся школа — союзники. Ясно?

«И все-таки я тебя, распроклятая Беата, поймаю за хвост! — сердито думал Карасев, возвращаясь домой.— Вас, сударыня, нигде нет, вы стоите в сторонке, но какие-то ниточки все-таки тянутся к вашей милости: не случайно, черт возьми, и Таня, и Сима, и бабка Феша прошли через ваши руки в больнице... Не случайно, очень даже не случайно, именно больничный кучер, именно ваш земляк, привез бабке дрова... И, чтоб вам пусто было, ваша нелюбовь к радио и электрическому свету — тоже не случайна! Вы, Беата Адамовна, хитрите, путаете. Что ж, давайте, продолжайте в том же духе: сложа руки сидеть не будем, распутаем ваши петельки...»

Ребят на площади уже не было. Громадная снежная баба красовалась возле дороги. Вместо носа и глаз у нее торчали, видимо, на дороге подобранные комочки конского навоза, а на груди чернел сделанный из палочек крестик. «Андрюшкина затея! — усмехнулся Карасев. — Вот подлинный атеист, чертенок!»

13.

Наконец-то сердитый март выбился из сил, покорился солнцу, и в Ракитино пришла настоящая весна. Ее радостные приметы сверкали всюду: в ярко-красных, с серебристыми почками, прутиках тальника, в расплавленном золоте отразившегося в воде жаркого солнца, в неожиданно засиявшей радуге, в звонком, веселом свисте синиц и базарной трескотне воробьев. Сюда, само собой, шли и чисто вымытые, горящие алым отблеском заката, стекла всех двенадцати передних окон нового клуба, и оглушительный рев радиолы, и ярчайший фанерный щит с глазастой надписью:

ЛЕКЦИЯ
«ПРАВДА О РЕЛИГИИ»

Читает кандидат историч. наук
т. П. Н. ЕЛКИН

Листопад сдержал свое слово: приехавший из области лектор был, действительно, кандидатом наук, доцентом университета. Его ученость и опытность, разумеется, ни в какое сравнение не шли с ученостью и опытностью того

же товарища Гусарова; он сам сочинил пару атеистических брошюрок и, в общем, был, по выражению Петяши Засядько, «велыкой фыгурой». Но что-то в нем не понравилось ракитинским ребятам. Во-первых, манера говорить, употребляя множество иностранных слов и выпячивая букву э: идэя, тэма, пионэр. Затем — внешность: лисья мордочка, излишняя суетливость движений, густо осыпанный перхотью воротник, даже дымчатые очки и козлиная бородка. Особенно очки не понравились.

— Цей чоловик, — сказал Засядько, — довжен не тилькы языком — очами пропагандироваты... А воны у него як за дымовой завесой, яка ж то пропаганда?

Лекция называлась «Религиозная мораль». Встретившись в клубе с лектором, Карасев заметил, что лучше бы слово мораль заменить другим: людьми не очень-то грамотными оно может быть неверно истолковано, понято как грязь, клевета. П. Н. Елкин хихикнул, засучил ножками.

— Позвольте, позвольте, — залотошил он, — какие неграмотные? Вы, дорогой мой, недооцениваете аудиторию!

— Дооцениваю, — сказал Карасев. — В том-то и беда, что большинство деревенских верующих — малограмотно. Какая-нибудь старушка, — он вспомнил бабку Фешу,— услышит такое название и ни за что не пойдет, скажет: «Опять, окаянные, мораль на релегию наводят!» То есть марают, грязнят... понимаете?

— Странно, — пожал плечами кандидат наук, — мне никогда не приходилось встречать подобные... э... претэнзии. Но что вы, — он сделал ударение на вы, — предлагаете? Давайте поищем другое... э... адэкватное название...

— Та чого ж тут, к бису, шукаты? — сказал Засядько.— Поставим на ахвыше «Правда о религии» — та и годи!

П. Н. Елкин нехотя согласился.

— Хотя это несколько и не соответствует тэме, но... раз вы настаиваете, что ж... А скажите, во сколько часов идет в город последний поезд? — неожиданно спросил он.

— Спешите? — усмехнулся Карасев. — А почему бы вам не заночевать у нас? Вопросов будет масса, да, может, с кем-нибудь из верующих индивидуально поговорите...

— Что вы, что вы! — ужаснулся кандидат наук. — У меня завтра в девять лекция. Ну, пока, до вечера!

Он помахал ручкой и побежал в Дом колхозника отдохнуть с дороги.

— Бачишь? — подмигнул Засядько. — От-то лекторы! От-то кандыдат! Ну, ничого, у нас для верующих и покраще кандыдата сурпризик е! Верно, Васыль?

За час до начала в клубе набилось полным-полно. Засядько, довольный, потирал руки: «А ты боявсь, шо народу не буде?»

Викентий Петрович пришел и, как-то съежившись, незаметно пристроился в средних рядах. Карасев удивился перемене, происшедшей с ним: задумчив, печален, даже похудел как будто. Он, бывало, вваливался по-хозяйски, прямо за кулисы, к делу и не к делу всюду совал нос, распоряжался, словом, «руководил и направлял». Сейчас было не то, и Карасев догадался, что его, верно, вызывали в райком в связи с Таниным делом.

Затем приехал Листопад в сопровождении какого-то щупленького, тщедушного старичка, одетого в брезентовый дождевик с огромным капюшоном. Засядько тотчас же увел старичка за кулисы, а Листопад прошел в зрительный зал.

Ровно в семь погасили матовые плафоны и из жаркого пламени занавеса вышел Павлик. Подождав, когда утихнет шум, он сказал:

— Товарищи!

Но возле дверей вдруг началась какая-то непонятная возня, послышался смех, веселые крики: «Ведут! Ведут!» — и, конвоируемые Филюшкиным, в зал вошли Гаврила, Дарья, Михайла Иваныч и Сима. Согнав кого-то с места в заднем ряду, Филюшкин усадил приведенных и, довольный тем, что так хорошо выполнил свое дело, пошел за кулисы приклеивать себе партизанскую бороду.

По залу пошел гул, все оборачивались назад, чтобы рассмотреть, что там случилось. Гаврила сидел, опустив голову, Михайла Иваныч растерянно озирался; женщины испуганно жались друг к другу.

— Господи! — громко шептала Дарья. — Да что ж это, батюшка? Да за что ж нас так-то?

— Молчи, сестренка, молчи, — не поднимая головы, так же, шепотом, отвечал Гаврила, — не плакать, дети, ра-

доваться надо... Послал господь претерпеть... Попили, милые, сладкого, попьем и горького...

«Да ведь это скандал! — стремительно пронеслось в голове Павла. — Перестарался чертов Филюшкин!»

— Тише! — раздались голоса. — Тише!

Наконец тишина водворилась.

— Товарищи! — повторил Павлик. — Разрешите наш антирелигиозный вечер считать открытым.

В зале захлопали. «Давай!» — крикнул кто-то из задних рядов.

— Сегодня мы с вами, — продолжал Павлик, — послушаем лекцию на тему «Правда о религии». Затем будет небольшой спектакль и концерт. Мне поручили сказать вступительное слово. О чем же я хотел поговорить с вами? Да прежде всего о том зле, какое приносит всякая религия в жизнь нашего общества. О том, что, как ни прикрываются попы и сектанты овечьей, так сказать, шкуркой,— все равно по своей природе они враждебны нам, враждебны нашему делу, все равно из-под ихней показной святости волчьи когти торчат, факт! Я, товарищи, не хотел быть голословным и поэтому собрал кой-какой материал, вот тут в газетах разоблачения сектантских и поповских махинаций, судебные дела и прочее... (Павлик потряс пачкой газетных вырезок.) Но мне думается, что обо всем об этом мы в другой раз поговорим с вами, а сейчас... сейчас вместо меня вы послушаете человека, который сам побывал в сектантском болоте. Вы все его знаете, он вам кой-чего из личного, так сказать, опыта расскажет... Слово предоставляется товарищу Демьяну Михайловичу Зимину!

— Демушка! — удивленно ахнули в зале.

Споткнувшись, неловко вышел он на сцену и поклонился на три стороны. Щупленький, по-цыгански черноватый, с косматыми смоляными бровями, но совершенно седой, серебряной головой, в вековечной своей застиранной солдатской гимнастерке. Да, это был очень хорошо известный всем Демушка, гореловский столяр-искусник, золотые руки, около года тому назад уехавший куда-то в Сибирь...

— Значит, так, — сказал Демушка, — это он верно про меня обозначил: в болоте. Сказать, мужики, по правде ежели, откровенно, так прямым даже путем из болота, без пересадки... еще, может, и грязь-то на сапогах не обсохла...

— Обсыхать, что ли, приехал? — весело, со смешком спросили из зала.

— Обсыхать, — согласился Демушка. — Хочу, мужики, мало-маленько человеком пожить. А то ведь глянешь назад — господи боже мой! — без малого двадцать годов, ну, прямо сказать, чисто кобыле под хвост кинул с этими религиями, будь они неладны! Я вам сейчас автобиографию своей жизни опишу... все, как есть, чего только ни начепушил от своей, значит, от дурости...

«Господи милосливый! — в страхе поежился Гаврила. — Откуда он взялся, бегун проклятый? Пропали наши головушки!»

— Послушайте! — нервно теребя бороденку, возмущался у выхода на сцену кандидат наук. — Он ведь может и два часа свою автобиографию проговорить! Если через сорок минут мне не будет предоставлено слово, я уеду! Клянусь честью, уеду! У меня завтра лекции... да! И что за идэя выпустить в самом начале этого божьего теленка! Безобразие!

Напрасно Засядько с Павликом объясняли ему всю важность Демушкина выступления, кандидат упрямо стоял на своем.

В крошечной уборной, где гримировались актеры, Карасев отчитывал Филюшкина. Тот никак не мог понять, за что на него все обрушились. Он был уже загримирован — в огромной седой бороде, в косматой шапке и полушубке, опоясанном пулеметной лентой.

— Какое же насилие? — искренне удивлялся Филюшкин. — Никакого насилия я не применял. Зашел к деду Мишаке, а у него этот кучер долговязый, еще какая-то бабенка, Симка-официантка, ну, все, в общем сказать, из ихней шатии-братии... Так и так, говорю, вас что, культурные мероприятия не касаются? Давайте, говорю, собирайтесь, следуйте за мной!

— Что ж это, по-твоему, не насилие? — Карасев сердито сверкал очками.— «Следуйте за мной»... Ведь ты в форме был?

— Само собой.

— Ах, черт! Теперь, знаешь, какие разговоры пойдут?

— Ничего, пускай говорят, — не сдавался Филюшкин. — С ними, поганцами, давно бы так-то... Ишь ты, цацы какие!

В зале грохнули аплодисменты. Натыкаясь на бутафор-

ский хлам, за кулисами пробирался Демушка. Из зала пришел Листопад.

— Спасибо, Демьян Михалыч, — сказал он столяру.— Очень хорошо выступили, от всей души поздравляю. Это ведь у вас нынче вроде бы как день рождения...

— Ей-богу, чисто гора с плеч свалилась! — утирая с лица пот, улыбнулся Демушка.

Кандидат наук, то и дело поглядывая на ручные часы и пробрасывая листы конспекта, уже барабанил свою лекцию, когда в зрительный зал вошел Филюшкин.

— Можете быть свободны, гражданин, — тронув за плечо Гаврилу, официально сказал он.

Гаврила ошалело уставился на вооруженного до зубов старика; не сразу признал он в нем переодетого милиционера, а признавши, плюнул и, сопровождаемый женщинами, пошел к выходу.

А Михайла Иваныч остался.

14.

Демушка за полчаса ухитрился рассказать свою жизнь. Она у него вся прошла от горя к горю, от разочарования к разочарованию. Оглянувшись на прожитое, он необыкновенно отчетливо, ясно увидел причину всех своих ошибок и злоключений. Все начиналось от одного зла, и все сводилось к нему же. И этим злом была религия. Он так прямо всенародно и сказал: «Все мои беды, мужики, не от чего-нибудь — от религии». Начиная с мальчишеских лет, с того пасхального дня, когда отец, хмурый, изломанный хворью человек, больно отхлестал семилетнего Демушку хворостиной за то, что тот кинул собаке Найде кусок освященной пасхи, с того самого времени все беды, торовато выпадавшие на Демушкину долю, неизменно связывались с религией. Он рано задумываться начал о боге (тут влияние истерически богомольной матери сказалось). Перед первой мировой войной один за другим померли родители, он остался круглым сиротой. В армию его забраковали: не вышел ростом. Куда ему было деваться? Он подался в монастырь, попал в столярную мастерскую, стал краснодеревцем, послушествовал, но иноческий постриг принять не успел: революция разогнала монастыри. Да он едва ли бы и остался в обители: развратная, скотская жизнь монахов слишком уж претила ему. Там не было того

бога, которого он искал. Случай привел его в молитвенный дом евангелистов. Несколько лет ходил он к ним, относил все, что заработает. В конце концов оказалось, что и евангелисты не лучше монахов: у тех были игумны, архимандриты, а тут — «братские советы» — слова разные, а пьянство, разврат и жадность до денег те же. Но он не отчаивался, все искал и в исканиях менял секту за сектой, и от каждой веры оставалось разочарование и горький осадок на душе: всюду жил грех и не было правды. Да в конечном счете все они, эти секты, одним, как говорится, миром были мазаны, все они всячески вытягивали из своей паствы все до донышка, ничего не давая взамен. Демушка даже их религиозную рознь позабыл, перепутал, а запомнилось только, каким сектантским главарям и что он сделал: такому-то «брату» — столовый гарнитур, такой-то «богородице» — дубовый шифоньер с резьбой, такому-то пресвитеру своими руками дачу выстроил. Так он и через Гаврилин «духов храм» прошел, так и в город Иркутск попал к иеговистам, «божьим свидетелям», где перед ним, наконец-то, во всей неприглядной наготе открылась сектантская правда: религия, оказывалось, не столько богу служила, сколько каким-то заокеанским политическим бандитам. Ужаснувшись, Демушка хотел было бежать, но был арестован и вместе с другими «братьями» попал под суд. Он, как говорится, ни сном, ни духом ничего не знал, и его оправдали. Опрометью кинулся он из Иркутска на родину, в Горелое. Там его никто не ждал, родни не было никакой, домишко продал, уезжая в Сибирь. Не заходя в село, Демушка прямо со станции махнул в Ракитино, на стройку. В отделе кадров его встретили с распростертыми объятиями, приняли на работу и устроили в общежитии. Он уже вторую неделю жил на строительстве, никуда не выходя с территории завода, оставаясь в тени. Когда услышал в цеху, что ракитинская молодежь готовит антирелигиозный вечер, крепко задумался, дня два ходил хмурый, бледный, словно больной. Потом вдруг решился, посветлел; и однажды, пошабашив, умылся, почистился и отправился в райком партии. Его принял Листопад. Был вечер. В кабинете горела яркая лампа, и от этого сумеречное мартовское небо за стеклами окон превращалось в синее и поражало необыкновенной глубиной цвета.

— Ну, товарищ секретарь, — усмехнувшись, сказал Демушка, — буду я тебе свою жизнь объяснять. Напрям-

ки скажу: хорошего сделал мало, а глупостев наворочал— без числа. Будешь слухать ай нет?

Листопад внимательно вгляделся в темное, изможденное лицо своего необычного посетителя, в его тревожные, глубоко затаившиеся глаза и понял, что нелегким путем пришел этот человек в его кабинет.

— Давай, — сказал он, — выкладывай...

Когда Демушка кончил свою исповедь, Листопад задумался.

— А что, Демьян Михалыч, — помолчав, сказал он, — что, если бы ты все это народу рассказал?

— Так чего ж я и пришел-то! — воскликнул Демушка.

Очутившись в клубе, Михайла Иваныч сперва испытывал некоторое смущение и неловкость. Было совестно, что ему, старому, коренному жителю Ракитина, пришлось, словно шпане какой, через все село идти под охраной милиционера. Потом в зале не по себе стало, когда на них, как на диковинных зверей, пялились, подмигивали, посмеивались. Он даже мысленно ругнул себя, что сдуру впутался в эту Гаврилину веру, но ведь Даша... Да, разумеется, все дело было в ней, а не в тех песнях, скаканье и зайчиках на потолке, которые жуковатый Гаврила делал при помощи своего диковинного перстня. Михайла Иваныч довольно скоро раскусил длинновязого «архангела». Он, правда, угадал одну только сторону его «деятельности»— доходную, коммерческую. Вся кутерьма со святым духом, по его мнению, сводилась к тем троякам, пятеркам и десяткам, которые «божьи люди», уходя с вечерушек, подсовывали под черную толстую книгу. Другая сторона, наиболее важная, пока оставалась в тени, — ну, да ведь до нее и докопаться-то было мудрено, тут только двое знали: Гаврила да Беата.

Все дело было в Дарье, в ней, голубке... Как ни подъезжал, как ни ластился Гаврила к Михайле Иванычу — тот оставался холоден к вере. Сперва, верно, многое удивило его, но то беспомощное, старческое сомнение («Шут его знает, а может, бог и вправду есть!»), которое он когда-то высказал Гавриле, с приходом в секту не стало уверенностью («Есть!»), а продолжало жить опять-таки сомнением, только уже накренившимся в противоположную сторону («Ни шута, наверно, никакого бога нету!»).

Потом его и то насторожило, как Гаврила переполошился, когда узнал о желании Карасева посетить их вечерушку. Он ведь и сам тогда не пришел и кой-кому еще почему-то не велел приходить. А когда спустя неделю ночью после бурана увидел следы на снегу возле избы, так даже весь с лица сошел: «Плохо, братья, — воскликнул, — чую, пострадать придется! Змея, братья, змея стоглавого чую! Пожрет он нас, мало о боге стараемся!» Многое, многое Михайле Иванычу было сомнительно, но он прямо не решался высказать свои мысли и сомнения, потому что тогда у него нарушились бы хорошие отношения с женой. Ему волей-неволей приходилось мириться и с Гаврилиным нахальным вмешательством в его жизнь, в его хозяйство, и с шальными сборищами «божьих людей». Да, да, все в Дарье дело было, в ней одной...

Но то, что он в клубе услышал от Демушки, положило конец его сомнениям — есть или нет. В самом деле — что такое он, Михайла Иваныч, никогда всерьез и не думавший о боге? Ноль без палочки, пыль, козявка. Демушка же всю жизнь положил на искание бога, трудным, отчаянным шел путем и уж ежели, в конце концов, пришел к тому, что — нету, то, значит, тут и толковать нечего: действительно, фактически — нету!

И когда бородатый, опоясанный пулеметными лентами старик, в котором Михайла Иваныч сразу признал милиционера Филюшкина, сказал: «Можете быть свободны» — и Гаврила с женщинами ушел, его точно кто за полу ухватил, приказал: сиди! — и он не кинулся за Гаврилой, прослушал не только доклад, но и концерт и остался так доволен вечером, что и домой-то не сразу пошел, а еще посидел, покурил с мужиками на бревнах возле клуба, потолковал о том, о сем. Кто-то над ним подшутить вздумал:

— Ну, как, мол, все молишься?

— Молчи! — вздохнул Михайла Иваныч.

— Это его баба подзуживает, — сказал один, — верно, дед? На хрен бы ему бог, кабы не баба.

Михайла Иваныч смущенно молчал.

— Баба! — презрительно сплюнул другой. — Да я бы такую бабу в три шеи со двора... Какую чертовину развели на селе!

Легкое, хорошее настроение было сбито. Михайла Иваныч незаметно отделился от компании и зашагал домой.

Было поздно, первый час, но в избе горел свет. «Ишь ты! — ухмыльнулся старик.— Не спит, дожидается...» И только тут пришло в голову, что как бы не досталось ему от Дарьи Степановны за то, что остался в клубе, не пошел вслед за ней.

Дарья, действительно, дожидалась старика, но вместе с ней его дожидался и Гаврила.

— Так, братик, — ядовито сказал он, едва Михайла Иваныч переступил порог, — по киатрам, значит, по блудодействам на старости лет вдарился? Другим делом, значит, теперчи по кинушкам зачнем бегать? Под граммофоны плясать? Позабыл, слабец, что намедни читали? — заорал он вдруг, наступая на старика.— Позабыл, блудня вавилонская, а? Про зверя, из бездны выходящего? Про число человеческое — шестьсот шестьдесят шесть? А про змея стоглавого пели что? Тоже, мешок дырявый, тля вонючая, позабыл? Духа ногами пинают, с милицией по улице водят! Вокруг храма святого соглядатайствуют! Демьяшкой-июдой, чисто кобелем, травят, а? Зубы и когти вкруг нас, змей — слышишь ли? — змей стоглавый сто зевов разверзил, пожрать нас хощет, а ты что? Ты что, гад ползучий, творишь? Куда устремляешься блудными мыслями?

Маленькие Гаврилины глазки в глубоких впадинах, как злые хорьки из норок, выглядывали, казалось, вот-вот кинутся, вцепятся, острыми зубками, станут рвать, кусаться... Дарья закрыла лицо руками, заплакала. «Миша! — всхлипывая, шептала она. — Миша!»

— Молчу про нее, — указывая на Дарью, воскликнул Гаврила, — молчу, хоть жаль, хоть, прямо-таки сказать, сердце надрывается, глядючи на покинутую... На подвиг, спасти тебя шла в вертеп твой дьявольский голубонька непорочная! А что об тебе сейчас понимать? Что? Молчишь, черт! Бес! Кал демонский! Хайло неумытое!

Михайла Иваныч столбом стоял возле двери, забыв снять шапку, словно в чужую избу попал. Он растерянно глядел на беснующегося Гаврилу, на плачущую и такую сейчас жалкую, такую родную жену. А Гаврила не унимался: костлявый, длинный, с поднятой вверх рукой и словно бы давящийся ругательствами, до того он гадок, до того нелеп в своей дикой злобе показался Михайле Иванычу, что глядел он и глазам не верил: да уж не привиделась ли этакая чертовщина? Неужто ж вчера только этот человек медоточивым языком что-то такое про незримые крылья

заливал, сам собирался вознестись на святые небеса, да и всех присных с собой сулился захватить? И чего это, с какой стати, невесть откуда заявившийся жучок, как хозяин, распоряжается тут, кричит, сквернословит... а он, хозяин-то настоящий, Михайла Иваныч, как последний пацанишка стоит, шут его знает, в чем провинившийся, у двери, выслушивает эту брань! «Нет, погоди! — осерчал Михайла Иваныч. — Что ты мне за начальник за такой нашелся... Ишь, сволочь, распрыгался!»

Старик не спеша разделся, повесил полушубок на гвоздь, сел на диванчик и преспокойно, вопреки Дарьину запрету, закурил любимую свою елецкую вонючую сигаретку. При виде такого открытого непокорства бранное слово, как мосол, застряло в глотке у изумленного Гаврилы. С минуту он молча глядел на Михайла Иваныча, терзал, рвал на части старика своими глазками-хорьками, а потом вдруг, видно поняв, что перехватил, зарвался, спрятал злобный взгляд, сложил ладошки, смиренно опустил голову, зашевелил, зашлепал, шепча, губами. Михайла Иваныч курил, молчал, сплевывал даже на пол, что ему уж и вовсе запрещалось, потому что изба-то теперь была не просто изба, а духов храм... Изредка поглядывал он на Гаврилу — тот все молился.

— Брось, Миша, брось папироску-то! — умоляюще прошептала Дарья. — Ох, да что ж это нашло на тебя, миленький... Брось! Батюшка! — отчаянно воскликнула она, когда, кончив шептать, Гаврила взялся за свой заячий треух.— Неужто ж так и покинешь нас? Неужто ж не простишь его? Слепенького-то?

— Молчи, Даша! — сказал, наконец, Михайла Иваныч. — Ты, Степановна, сейчас, фактически, в нашу свару не лезь... да! — Он ловко, через всю избу кинул потухший окурок в лоханку с помоями. — А ты, Гаврила Тихоныч, по-свойски тебе скажу: ты мою бабу не подзуживай, брось... Я все помалкивал, но сейчас, поимей в виду, категорически говорю: брось!

Широким крестом осенил Гаврила старика и, не сказав ни слова, шагнул за порог. Михайла Иваныч вышел за ним в сенцы запереть дверь.

— Прощай, брат, — сказал из темноты Гаврила.

«Черный кобель тебе брат!» — сердито громыхнул задвижкой Михайла Иваныч.

15.

Карасев засел за статью. Сначала он хотел написать фельетон о сектантах, но скоро понял, что выходит плохо. Оказывается, это было не так-то просто. Фактов накопилось столько, что, пожалуй, для трех фельетонов хватило бы, но, как ни силился Карасев вогнать их в литературную форму,— они упрямо не лезли в нее, не получалось стройности, была беспорядочная словесная свалка, лапша. Он вздохнул, перечеркнул все написанное, взял чистый лист бумаги и крупно вывел заголовок: «Письмо в редакцию». Так-то оно было лучше.

Случай с Зиночкой он особенно выпятил, подробно написал про Гаврилины дрова, про то, как бабка Феша стращала Зиночку, грозилась ее не кормить, как заставляли запуганную девочку переписывать, размножать сектантские стихи. О Тане — ни слова, «некоторые девушки» и — все. И чрезвычайно подробно — о самих сборищах в Михайла Иванычевой избе, о ритуале. Тут уж Карасеву все было доподлинно известно: рассказы Демушки дополнили то, что удалось увидеть ему самому. О таинственной роли Беаты во всем этом деле, разумеется, тоже упоминалось, впрочем, в виде личных догадок. Письмо получилось довольно длинное. Василий отправил его заказным и принялся ждать.

А с Зиночкой, между прочим, все устраивалось отлично. Она пришла, как они тогда договорились, и старательно переписывала газетные заметки. В тот вечер и другие члены редколлегии собрались, и среди них оказался тот самый конопатый Андрюшка, которого она так боялась. Но он, увлеченный своим занятием, ни на кого не обращал внимания — сидел и рисовал карикатуры. Тут он, надо сказать, считался великим мастером: как будто внешнее сходство и отсутствовало, но что-то такое — в позе, в общем очерке фигуры, в детали — что-то такое было, отчего человек узнавался сразу и с самой смешной стороны. Рисуя, он вдруг начинал громко хохотать — это значило, что рисунок удавался. Зина и Клашка-Пирог переписывали, Карасев поправлял заметки и сочинял передовую. В пионерской комнате, где они работали, было тепло, тихо, только маятник на больших часах деловито постукивал, скрипели перья да шуршала бумага. Карасев оторвался на мгновение от работы, взглянул на ребят и улыбнулся. То, что

Зиночка не пошла к Гавриле, была здесь, представлялось ему, пусть и скромной, но все-таки победой, первой завоеванной высоткой в начавшейся битве.

Наконец все было готово, заметки и рисунки вставили в рамку. Смешные Андрюшкины картинки очень понравились Зиночке.

— Вот так здорово! — восхищенно сказала она.

— То-то! — ухмыльнулся польщенный Андрюшка.— Смотри у меня, а то и тебя нарисую — знаешь как?

Зиночка покраснела до слез.

— Нет уж, не придется, видно, тебе ее рисовать, — сказал Карасев. — Верно, Зина?

Было поздно, и он пошел проводить ребят. Зиночка жила дальше всех, почти у самого Чертова лога. Когда они остались одни, Карасев спросил:

— Ну, что, не пускала тебя бабушка?

— Заругалась было, а потом ничего. «Что ж, говорит, сделаешь, бог простит, иди пальто отрабатывай...»

Карасев рассмеялся: «Бог простит!»

— Бабушка твоя на пенсию живет? — спросил он.

— Да чего-то там немножко за папу получает.

— А сама?

— Ей не дают, говорят, какой-то бумажки не хватает.

На следующий день Василий побывал у Листопада. Тот при нем позвонил в собес, потом в райисполком, Коноплину, с которым довольно долго, и под конец раздраженно разговаривал. Повесив трубку, схватился за пакетик с валидолом.

— Хорошие строчки есть у Маяковского, — задумчиво сказал он, помолчав, — знаешь? «Коммунизм — это место, где исчезнут чиновники и где будет много стихов и песен». А?

— Это вас Федор Иваныч на поэтический лад настроил? — вежливо осведомился Карасев.

— Он. Понимаешь, в чем дело, оказывается? Двадцать три года эта самая бабка Феша служила сторожихой в исполкоме, так? Ну, разумеется, трудовая книжка потеряна — война и все такое. Собес требует справки от Коноплина, а тот говорит: «Не могу, я человек новый, откуда я знаю? Архивные дела сгорели, ничего не могу, извините, пожалуйста».

— Так ведь весь поселок может подтвердить!

— Да поселок-то может, а Коноплин — нет. Насилу

уговорил, давай, говорю, под мою ответственность. Значит, так: скажи ей, пусть завтра же зайдет в исполком за справкой. Очень хорошо, что ты это дело поднял, а то ведь что получается: там и дровишки, и пряники, а мы тут простую справку не можем дать!

На этот раз бабка гораздо ласковее приняла Карасева, а когда узнала, что Коноплин обещал подписать справку, — просто вся расцвела.

— Господи милосливый! — крестилась она, утирая слезы. — Радость-то, радость какая! Уж вот как вам, Василий Иваныч, спасибо... уж так спасибо, так спасибо!

— Я-то тут при чем? — смутился Карасев. — Пенсию не от меня — от Советской власти получать будете...

— Да мы теперь с девкой-то свет увидим! — всплеснула руками бабка Феша. — Вон ведь дело-то какое...

— Свет, говорите? — переспросил Карасев. — Вы, бабушка, не обижайтесь, что я вам скажу... Хорошая, советская вы женщина, да только друзья у вас — дрянь людишки, темный народец. Запутают они вас в свои плутни. Так запутают, что и не выпутаетесь.

Бабка зорко, с хитрецой глянула на Карасева, насторожилась. Потом равнодушно отвернулась к окну. По огороду, среди черных проталин с рыжими плетями картофельной ботвы, ходила рябая коза.

— Зинка! — крикнула бабка. — Гони ее, дьявола! Опять к груше налаживается... Такая вредная животная, всю шкуру у груши пообгрызла!

Зиночка опрометью кинулась гнать козу.

— Насчет того дела молчи! — весело, даже озорно как-то сказала бабка. — Выпутаюсь! На шута ж мне теперь ихние подачки? Ты, Василий Иваныч, сам посуди... ох, господи! От нужды ведь путалась с ними, окаянными!

Через неделю Карасев получил из столичной газеты письмо, в котором сообщалось, что по его сигналу из Москвы в Ракитино выезжает специальный корреспондент.

Был апрель. По зеленым буграм синими брызгами цвели веселые цветы — подснежники. В клубе полным ходом шли репетиции «Грозы». Петяша Засядько и Нюська отпраздновали свою свадьбу. Тимка купил справочник для поступающих в высшие учебные заведения. Товарищ Гусаров налаживал свои удочки, красил лодку и вставлял в раз-

говор латинские изречения. На нем ничто не отразилось, счастливый характер был у Викентия Петровича!

Как-то раз Карасев встретил Таню. Она медленно брела по самой кромке Чертова лога. Ветер шевелил, заставляя сверкать золотом солнца ее волосы. У Василия сжалось сердце: он понял, зачем она здесь. Это было то самое место, где год тому назад...

— Здравствуй, Танечка! — сказал он. — Позволь тебе от всей души... — он подал ей букетик подснежников.

— От «наших ребят»? — лукаво спросила Таня.

Карасев расхохотался — так она ловко его передразнила.

— Нет, персонально,— сказал он,— от меня. Это даже, знаешь ли, вроде взятки...

— То есть? — удивилась Таня.

— Помнишь, ты когда-то мне Катерину из «Грозы» читала? Знаешь, это: «Такая ли я была? Жила, ни об чем не тужила, точно птичка на воле... Встану, бывало, рано, все цветы полью... у меня цветов было много-много...»

Вся замерев, Таня с какой-то жадностью слушала Василия, она даже беззвучно вслед за ним губами шевелила. Что-то блеснуло в ее глазах такое, чего Карасев уже давно не видывал.

— Ну, так что? — как бы очнувшись, спросила она после некоторого молчания.

— Видишь ли, какое дело, — озабоченно сказал Карасев, — мы сейчас с этим спектаклем возимся. Что, если я как-нибудь зайду к тебе, ты мне кое-что покажешь по Катерине... У тебя ведь это здорово получалось, а? Можно?

— Конечно, можно, — улыбнувшись, кивнула Таня.

«Конечно, можно, тра-та-та, конечно! — возвращаясь в село, распевал Карасев на мотив шубертовского «Мельника». — Конечно, конечно, конечно, конечно-о!»

На репетиции он так был весел, так дурачился, что Засядько спросил:

— Ты, Васыль, часом, не именинник ли?

— Конечно, конечно, конечно, конечно-о! — пропел Карасев.

16.

Приехавший из Москвы корреспондент держал себя тихо, скромно и ничем не отличался от прочих смертных людей. Если бы он провел в Ракитином несколько часов, от

поезда до поезда, то, верно, так бы и остался незамеченным. Но ему нужен был ночлег, он пошел в Дом колхозника, где пришлось показать документы, и сразу же по всему селу разлетелась весть: корреспондент приехал!

Первым делом он заявился к Карасеву, и они долго разговаривали. Узнав, что корреспондент второй час сидит в карасевской каморке, директор схватился за голову: «Ну, начинается...» Он был робкий, мнительный человек, и ему представилось множество неприятностей, могущих возникнуть у него от вмешательства прессы — вплоть до снятия. «Экий черт этот Карасев! — сокрушенно вздыхал директор, с минуты на минуту ожидая появления корреспондента у себя в кабинете. — И на какого дьявола ему сдалось подымать шум из-за этой девчонки!» Однако его опасения оказались напрасными. Потолковав с Карасевым, корреспондент направился в райком комсомола, а оттуда — к Листопаду. Вечером москвич околачивался в клубе. Тут он всюду совал нос: посидел на репетиции «Грозы» и посоветовал ребятам взяться за современную пьесу; порылся на полках в библиотеке и похвалил Нюську за порядок: полюбопытствовал насчет планов клубной работы и очень сочувственно отнесся к Петяшиной идее о создании народного театра. Первый день он провел в официальных, так сказать, визитах.

На следующее утро его видели возле крутых обрывов Чертова лога. Он бродил явно без цели, фотографировал овраг, широкую панораму разлива и строительства, собирал подснежники. Но как и когда он спустился к реке и очутился возле Михайла Иванычевой избы, этого никто не приметил.

Старик возился на берегу со своей лодкой. Перевернутая кверху ободранным днищем, она лежала на двух осиновых поленьях; рядом дымился, потрескивал небольшой костер, в старом, щербатом котле пузырилось черное варево — смола.

— Здравствуйте! — приветливо сказал корреспондент. — К навигации готовитесь?

Михайла Иваныч вздрогнул — очень уж тихо подкрался человек — и опасливо оглянулся: кто его знает, что за хлюст, ну как из рыбнадзора? А у него вон на плетне вентеря развешаны, только что чинить собирался...

— Доброго здоровьица! — с напускной развязностью

отозвался старик. — Самая сейчас пора, дорогой товарищ, фактически, ежели у речки живешь...

— Браконьерствуете помаленьку? — кивнул корреспондент на вентеря.

— Ни боже мой! — замахал руками Михайла Иваныч. — Это, товарищ начальник, еще в запрошлом годе рыбный инспектор у одного субчика отобрал, кинул мне: сожги, говорит, старик! А я все — нонче да завтра, так до сей поры все и не доберусь до них... Да вы сами, товарищ начальник, поглядите — гниль, рвань, одно названье что вентерь...

— Какой я начальник! — усмехнулся корреспондент.— А вы, дедушка, все-таки не откладывайте, что вам инспектор-то поручил. Вон и огонек есть, а? Опять ведь позабудете.

Положение сделалось щекотливым. Соврал сгоряча, рассчитывал вывернуться, а оно вон как оборачивалось: своими руками, за здорово живешь, сжечь пяток отличных вентерей... «Фу ты, еж те в корень, чепухенция какая!» — в замешательстве подумал Михайла Иваныч. Его выручила Дарья.

— Миша! — звонко крикнула она со двора. — Я в лавку пошла, гляди, чтоб коза со двора не убёгла...

Михайла Иваныч со всех ног кинулся во двор и, привязав козу к плетню, поглядел вслед ушедшей Дарье. «Одна отговорка, что в лавку, — покачал он головой,— а ежели на поверку, так весь день у чертова сваточка хороводится... Вот ведь еще наказанье мне, этот Гаврила!» С того самого вечера, когда после клуба повздорили они с ним, Дарья опять отбилась от рук: и по хозяйству стала не так внимательна, и прежняя молчанка пошла у них... А главное, каждодневно стала бегать в больничный кильдимчик, и что уж там ей дул в уши преподобный Гаврила, неизвестно, но надо думать, не в Михайла Иванычеву пользу. Однако по-прежнему собирались «божьи люди» в его избе, и он молчал, терпел, но все это уже ему поперек глотки становилось. Разогнать же их Михайла Иваныч не решался: Дарья не простила бы ему такой поступок. Ох, все дело в ней, в Дашонке было...

Когда он вернулся на берег, корреспондент сидел на перевернутой лодке и что-то записывал в книжечку. У Михайлы Иваныча сердце похолодело: акт! акт пишет! Вот влип он с этими вентерями! И, наверно, страх и смятение

красноречиво отразились на его лице, потому что корреспондент сразу угадал, что происходило в душе старика.

— Да вы, дедушка, не тревожьтесь, — ласково сказал он,— я к вам не насчет вентерей, я совсем по другому делу.

— Так чего ж мы тут с вами на торчке-то сидим! — воскликнул повеселевший старик. — В избу пожалуйте.

— В избу так в избу, — согласился корреспондент.

Переступив порог, он зорко огляделся. Ничто не привлекло его внимания, все было как в тысяче других изб средней России, в которых ему довелось побывать: печь, накрытая пестрым одеялом кровать, какие-то старые, в черных узеньких рамочках фотографии, оклеенная газетами перегородка, отделявшая кухню от чистой горницы. Одна лишь яркая картинка, прилепленная в переднем углу, заинтересовала его: двое нерусских ребятишек и ангел.

— Немецкая штучка? — кивнул он на картинку.

— Сказал бы, да и не знаю, жена откуда-то раздобыла. А вы, извиняюсь за смелость, кто же сами будете?— обратился Михайла Иваныч к гостю.

— Я, дедушка, из газеты. Кой-какие дела тут у меня в вашем районе, — усаживаясь за стол, сказал корреспондент. — Вот, между прочим, и с вами хотел поговорить.

Михайла Иваныч сразу потемнел.

— Так вы, значит, извиняюсь, не знаю, как вас назвать, писатель?

— Ну, какой писатель! — махнул рукой корреспондент. — Далеко мне, дедушка, до писателя. Да что это вы так, словно бы встревожились? Что ж они, писатели, кусаются, что ли?

— Кусаться не кусаются, — сказал Михайла Иваныч,— а лучше бы и кусались. Мне однова такой-то писатель прямо-таки, фактически, выше завязки насолил... Брешут они, извиняюсь за грубое слово, сверх меры, а ты потом моргай через ихнюю брехню...

— Интересно! — улыбнулся корреспондент.— Расскажите, как он вам насолил.

— Да как? Вот так-то однова, не хуже вас, заходит в избу гражданин, гладкий такой из себя, чистый, в очках. Ну, туда-сюда, оказывается, на своей машине просто так, проветриться, приехал; палатку вон там, чуть пониже моей избе поставил. «Я, говорит, дедушка, писатель, хочу, говорит, жизню наблюдать». Ну, мол, говорю, наблюдайте, пожалуйста, хотя, говорю, ничего такого особого у нас тут

нету. «Как так, дескать, а природа?» Ну, природа, мол, действительно. Вот так-то день живет, два живет, заходит когда покурить, побалакать. Это — пожалуйста, я сам языком почесать не против, а тут тем более —человек образованный, писатель, лестно даже. Но вот — дальше-больше, одна мне у него вещь не нравится: сидим, разговариваем, разные небылицы в лицах представляем, а он нет-нет — цоп книжечку, вроде как у вас, из карманчика да чтой-то туда и запишет. Мне еще Клаша-покойница, баба моя, бывало так-то скажет: «Гляди, мол, дед, договоришься ты с ним!»

Корреспондент рассмеялся.

— Да вот вы смеетесь, а мне не до смеху в последствии дела оказалось. Сидим мы раз так-то на лавочке вечерком возле избе. покуриваем. А в лесу за речкой ктой-то — тюк да тюк, дерево рубит, ну, просто сказать, ночным делом ктой-то себе по хозяйству промышляет. Писатель-то возьми да спроси — что, мол, это такое, почему ночью рубка леса производится? Ну, я, конечно, объяснил. Он тогда этак головой покачал: «Ай-яй-яй! — говорит, — такая несознательность! А ежели, мол, лесник накроет, тогда что?» Я ему обратно объясняю, что из такой мелочи лесник и связываться не будет: велико дело — жердинку человек срубил! «Ну, а ежели, мол, не жердинку? Ежели большое дерево?» Это, говорю, поаккуратней делают, ночь чтоб потемней, место поглуше. Задумался он, а потом спрашивает: «А бывали, мол, случаи, чтоб лесника так-то грешным делом лесные воры убили?» Да нет, говорю, у нас, слава богу, таких делов не слыхать. Как это так — из-за дерева человека убить? Легко сказать! Ну, ладно. Уехал вскорости мой писатель, сколько-то там время прошло, я об нем и думать забыл. Вот однова мне дочка говорит: «Вы, папа, ничего не знаете?» — Ничего, мол, а что такое? — «Да вот, говорит, я в читальне журнал «Огонек» читала, там про вас рассказ есть, как вы лесника убили».— Господь с тобой, говорю, Липка, ты что — сдурéла? — «Нет, верно, говорит, все как есть описано — и изба наша, и вас с мамой точно, по имени называют, и даже поговорка ваша «еж те в корень» — и та есть. А самое главное, описывается, как вы ночью пошли лес воровать и вас там лесник прихватил. А вы будто взяли да и зарубили его топором...» Нет, ты понял? — в запальчивости переходя на ты, воскликнул Михайла Иваныч.

Корреспондент совсем уж и говорить не мог, он только руками махал, задыхаясь от смеха.

— Смешно, конечно, — раздраженно сказал Михайла Иваныч. — Как не смешно! Наклепал на человека — и будь здоров...

— Что ж вы его... потом... — утирая слезы, насилу выговорил корреспондент, — потом-то встречались с ним?

— А как же, встречались. Он обратно таким же манером летом подкатил на машине, обратно палатку разбил, пришел покурить, как будто, значит, и он — не он. Ну, я тогда осерчал ужас как! «Что ж ты, говорю, бесстыжие твои глаза, что ты про меня понаписал? Когда я, говорю, окаянный ты человек, когда я лесника убивал?» Он сначала удивился вроде: «Об чем это вы?» А потом: «Ах, это рассказ, «Ночью» под заглавием! Ну, так что ж такое, говорит, я только вашу обстановку в рассказе описал, остальное все — вымысел». — Вам, говорю, вымысел, а мне ребятишки проходу не дают, как увидят, так давай галдеть: «Дед, дед, ты за что лесника зарубил?»

— Ну, нет, — отдышавшись, сказал корреспондент,— мое дело такое, что выдумывать нельзя. Меня за вымысел со службы разгонят.

— Правильно! — одобрил Михайла Иваныч. — За это следует.

Потолковав еще немного о том о сем, корреспондент решительно взял быка за рога.

— Расскажите-ка, Михайла Иваныч, — сказал он напрямик, — что это за новая вера у вас объявилась? Я коечто слышал, да и сам догадываюсь, что вы-то лично в нее, как говорится, так, за здорово живешь влипли...

Старик от удивления рот разинул: «Ну, шельма, ну, прокурат малый! Вот уж, именно, действительно, фактически влип!»

— Верно? — спросил корреспондент.

— Очень даже верно! — охотно согласился Михайла Иваныч. — Уж так, дорогой товарищ, верно, еж те в корень, что верней и быть некуда!

И он рассказал всю забавную историю своей женитьбы: и как распроклятый Гаврила через Дашонку влез в его жизнь, влез чуть ли не с сапогами; как избу на женино имя отписал; как терпит теперь шальные сборища, а сказать ни хрена не может: изба-то не его — Дарьина.

— Боитесь, значит, что выгонит она вас? — спросил корреспондент.

— Она бы ничего, — вздохнул Михайла Иваныч.— Да ведь она — ноль без палочки. Тут все дело, как он, черт долговязый, поворотит. Да признаться сказать, — помолчав, добавил он, — не об избе речь, я об избе-то и не думаю. Тут главная вещь — Даша...

— Любите, верно, ее?

— Ну, какая любовь! — смутился старик. — Не молоденькие... Но прямо скажу: жалею я ее, Дашу-то. Очень даже жалею. Ведь она у этого, у сукинова сына, ну, просто, фактически, чисто крепостная, ей-богу! Скажи он ей: гори в огне! — сгорит. Скажи: человека зарежь! — зарежет. Вон ведь что...

— Экий прохвост! — сказал корреспондент.

— Да еще бы не прохвост! Он, знаете, чего выдумал? Повесит икону, вроде бы как он Исус Христос, да так, еж те в корень, похоже написан, ну — вылитый, и, значит, все ему молятся. А? Не жук?

— Жук, — согласился корреспондент. — А можно на эту икону поглядеть? Она ведь у вас, наверно?

— Да оно бы, конечно... — замялся Михайла Иваныч. — В сундуке она. Минуточку, погляжу — Дашонка не идет ли?..

Он вышел наружу, огляделся: никого, дорога была пустынна. «Показывать ли? — шевельнулось сомнение.— Э! — махнул он рукой. — Была не была, рубить — так под корень!»

Вскоре корреспондент распрощался со стариком и, крепко пожав ему руку, ушел, унося с собой не только от доски до доски исписанный блокнот, но и фотографический снимок Гаврилина изображения.

Михайла Иваныч, действительно, рубил под корень.

17.

«Артисты» появились в поезде задолго до его отправления. Их было двое: один — кривой на левый глаз, но притворявшийся слепым, грузный, с какой-то медвежьей косолапостью в поступи, с наглой рябой рожей и сиплым, пропойным басом; другой — щуплый, горбоносенький, седоватый, с тонким лицом, тенористый. Он слегка припадал на одну ногу. Оба, видно, пропились вдребезги, одежа на обоих такая была, что — кинь на дороге, никто не подбе-

рет. Впрочем, у горбоносого еще какой-то намек был на башмаки, на телогрейку, а рябой, тот уж совсем чуть ли не голый шел — одни клочья, сквозь которые могучая голая спина, расцарапанное плечо, грязные коленки сверкали с откровенным бесстыдством.

Пройдя из конца в конец поезда, постучав в каждом вагоне ложками, прокричав осипшими голосами какие-то куплеты, они вышли на вокзальную площадь и, усевшись в чахлом скверике, подсчитали заработок: хватало только на закуску.

— Дрянь дело! — пробасил рябой. — Поправиться бы надо, а нечем.

— П'госпали база'г-то, — пожал плечами его товарищ, — се'гчать, Дим Димыч, не на кого.

— «Пгоспали, пгоспали!» — сердито передразнил рябой. — Ну, я, ладно, я спать, избавь бог, как силен, а ты-то чего смотрел?

— Да уж больно и я г'азоспался, — оправдывался горбоносый,— п'гохладно, хо'гошо было... А главная п'гичина, Дим Димыч, по п'гавде сказать, и наг'гузились же мы с тобой вче'га... эх!

— Вчерашним, брат, пьян не будешь, надо нонешнее соображать... Ну, ладно, — рябой сосредоточенно посопел,— ты вот что, Кронька, вали с полкила жареной трески на всю наличность возьми, а я тут, может, чего промыслю... Нам с тобой ночью работать, без заправки нельзя.

Горбоносый поплелся через площадь в магазин. Оставшись один, Дим Димыч зорко огляделся вокруг. «Черта лысого тут чего промыслишь! — выругался он. — Город тоже, называется...»

Мимо него, гремя порожними бидонами и громко разговаривая, к поезду шли возвращавшиеся с рынка колхозницы, рабочие в замасленных спецовках; пестрая кучка цыган мелькнула черными бородами, шляпами, яркими раздувающимися юбками; ученики из ремесленного промаршировали, и снова — бидоны, снова — чумазые спецовки...

«С этих возьмешь, как же!» — раздраженно пробормотал Дим Димыч. Вдруг он рванулся: его внимание привлекли двое — коротенький, пухлый человечек в очках, в отличном светло-песочного цвета костюме, и его спутница — красивая, темноволосая женщина, болезненно-полная, тяжело несущая свое грузное, расплывшееся тело.

— Слышьте, явреи! — угрожающе рыкнул Дим Димыч, напирая на обомлевшую пару. — Гони четвертной, пока я те очки не раскрошил! Ну? — он быстро окинул глазом площадь: бидоны и цыганские юбки были далеко.— Ну, дашь, что ли, ай самому брать?

Человечек безмолвно зевал, как рыба на суше, онемев от изумления и страха. Его спутница с нескрываемым презрением посмотрела на него, нахмурилась и, покопавшись в сумочке, подала Дим Димычу две десятирублевки.

— Мало! — прохрипел Дим Димыч. — Еще пятерку...

Женщина заплакала.

— Нате! Нате! — взвизгнула она, тыча скомканными бумажками в страшную харю Дим Димыча, — И не думайте, что я от жадности плачу... мне за него... обидно! Какой же ты мужчина! — накинулась она на своего друга. — Нет, вы видели что-нибудь подобное?

Дим Димыч хмыкнул: «Мужчина! Название одно...»— и вразвалочку, не спеша, пошел к магазину.

В дверях он столкнулся с горбоносым и, подмигнув, показал ему деньги.

— Ишь, че'гт! — сказал тот, усмехнувшись. — Ну, действуй, я на скамейке подожду.

До отхода поезда оставались считанные минуты. «А что — взять да и тикануть, пока он там в очереди путается! — подумал горбоносый. — Врежусь я с ним, с рябой задницей... Как пить дать, врежусь!» Ох, как не хотелось идти на задуманное Дим Димычем дело! Весна, солнышко, травка.... чудесно! Разве он, косой черт, может это понимать? Ему, дикому, человеку, все равно, что сирень цветет, что — мордой в помойку, а он, Кронька-то, он — художник, артист! Он очень даже понимает эту самую, допустим, сирень... И уж никак не желательно ему данный чистый воздух, дыхание весны, если можно так выразиться, менять на провонявшую карболовкой, душную камеру городской тюрьмы...

«Положим, — продолжал он размышлять, — ларек на таком пустыре, что не только ограбить — сжечь, по тесинке растащить можно, ни одна живая душа не услышит. А дальше? Дальше — милиция, собаки-овчарки... ведь найдут, провалиться на этом месте, найдут! И — вот тебе, будь здоров, три года в северной местности, гоняй железо поперек дерева... эх! Утеку, ей-богу, утеку!»

Легкий ветерок поднялся; померкло, спряталось за длин-

ное облако солнце. Звонко запыхтел паровоз, гугнявый голос проблеял в репродуктор, что пять минут осталось до отправления поезда. К скамейке, на которой томился разнесчастный Кронька, ветром пригнало заляпанную жирными пятнами газету. Она, словно балуясь, заигрывая, подвернулась под самые ноги так неожиданно, что Кронид даже вздрогнул. И уж хотел отпихнуть ее, поддать ногой, чтоб летела дальше, но вдруг кинулся, схватил газету, да так и впился в нее глазами. «Батюшки! — прошептал он. — Да неужли ж?» С помятого газетного листа глядело известное ему изображение: худощавое лицо, глазки-точечки, ягненочек на руках и расходящиеся сиянием лучи... Известное изображение! Мало сказать — известное, сам рисовал — он, Кронид, Кронька, — называй как хочешь, — сам! Так, значит, жив Гаврила Тихоныч, так, значит...

Он жадно читал текст, запачканный темным жиром, издавая какие-то бессвязные восклицания, вскрикивая, хохоча. Подошедший Дим Димыч ошалело вытаращил единственный глаз, но Кронька не замечал друга, читал.

— Эй, малый! — наконец сказал Дим Димыч. — Трекнулся, что ли?

— Пошли! Ско'гей! Ско'гей пошли! — Кронид потащил Дим Димыча на перрон. — Да пошли же, че'гт, опоздаем! Господи, вот дело-то! Димка! Кончилась окаянная наша жизнь! Лаковые полусапожки завт'га наденем, высший со'гт папи'госы заку'гим! Коньяк ма'гочный, экст'га, а'га'гат, чайными стаканами хлестать будем! Да ско'гей же, дьявол меченый, бежим... ох, отп'гавляется!

Дим Димыч только хрипел да испуганно ворочал глазом, косолапо поспевая за юрким Кронидом. Он даже и вопросов не задавал, его рябая образина одно лишь выражала — полную растерянность.

Они вскочили в поезд на ходу.

---

5. КРОНИД



Тогда по Русской земле
редко пахари покрикивали,
но часто вороны граяли,
трупы между собой деля...

Слово о полку Игореве.

1.

Осенью 1941 года на одном из участков Юго-Западного фронта, под городом Глуховом, собралось огромное количество невоенных людей. Мобилизованные в разных концах России, они должны были сооружать противотанковые рвы, завалы и другие оборонительные укрепления.

В течение недели этих людей привозили эшелонами на затерявшийся среди несжатых полей полустанок и, выгрузив из вагонов, вели в большой лес, где и приказывали им размещаться кто как может.

Некоторые эшелоны еще в дороге испытали на себе весь ужас авиационной бомбежки, и многие из людей при этом погибли. Те же, что, наконец, добрались до леса, боязливо прислушивались — не идут ли немецкие бомбардировщики — и боялись, что в этом лесу случится с ними то, что случилось с их товарищами там, на железной дороге.

Прибывшие стали сразу устраивать себе жилища: кое-кто растягивал палатку, иные из веток и сена мастерили незатейливые шалаши, но большинство норовило уйти поглубже: копали землянки.

Так в короткое время в лесу, называвшемся Максимовой Балкой, возникло странное поселение, в котором жило около тридцати тысяч забракованных военкоматскими комиссиями, невооруженных, слабых мужчин и, наоборот, очень здоровых и сильных женщин.

Никто из них как следует не знал, зачем их привезли сюда, в Максимову Балку, и что за работу придется им выполнять. Они спрашивали у сопровождавших их гражданских начальников, но те сами ничего толком не знали и отделывались неопределенными и маловразумительными отговорками, что вот, мол, скоро прибудет военное начальство и тогда все станет ясно.

Между тем жалкие харчишки, какие были привезены из дому, быстро растаяли. Мешки опустели, и люди стали требовать хлеба. Начальство растерялось, положение сделалось напряженным, в народе пошли нехорошие разговоры — голод ожесточил людей. Стали брать за глотку начальников, и те, смалодушествовав и опасаясь за свою жизнь, один за другим ударились в бега. Это, разумеется, еще больше взволновало людей, и неизвестно, чем бы все кончилось (верней всего, народ разбежался бы по домам), если б вдруг не приехали военные инженеры и техники. Они успокоили народ, наладили питание и, разбив людей на бригады, принялись за сооружение противотанковых рвов.

Однако не успели строители и полдела сделать, как немцы неожиданно очутились в непосредственной близости к Максимовой Балке. Несколько артиллерийских сна-

рядов попало в те кварталы, где жили землекопы. Началось смятение, змеями поползли слухи: «окружают!..» И несмотря на то, что руководившие работой военные специалисты пытались урезонить встревоженных людей, никто не верил им: бодрость инженеров казалась фальшивой, веселость — наигранной.

Когда же в одну из темных, дождливых сентябрьских ночей где-то совсем близко, в глубине Максимовой Балки, затрещали длинные пулеметные очереди, а между землянками и шалашами стали рваться мины, безоружных людей охватил панический страх, и они побежали.

Перед рассветом дождь утих. В черных дырах разорванных туч сверкнули звезды. По скверной, разбитой скотом дороге, тяжело дыша, бежали тридцать тысяч человек. Они молчали. Лишь изредка раздавался стон или краткий возглас боли, отчаяния, злобы.

Иногда их обгоняли грузовики и конные упряжки, на которых, так же молча, сидели солдаты. В одном месте бегущие увидели остановившуюся машину: у нее заглох мотор, и водитель, подняв капот, впотьмах пытался исправить повреждение. Солдаты посоветовали несчастным беглецам торопиться, потому что мост впереди через большую и быструю реку вот-вот может быть разбомблен гитлеровцами. И тогда люди побежали еще быстрее.

Каждый из бегущих старался не потерять спину переднего. У одного перед глазами смутно маячил заплечный мешок с привязанным к нему чайником; у другого — шляпа с безобразно отвисшими от дождя полями; у третьего — конец лопаты, на которой в такт шагам раскачивался клетчатый узелок...

И вот так, точно слепившись друг с другом, бежали эти люди, не зная местности, неизвестно куда — лишь бы только в ту сторону, где узенькой бледной полоской занималась холодная утренняя заря.

Максимова Балка осталась далеко позади, хлопки выстрелов звучали все тише, и, наконец, их стало совсем не слышно. Иногда только, как отдаленный гром, доносились редкие орудийные залпы. В клочьях грязных туч взошло мутно-красное осеннее солнце, и люди разглядели друг друга и все, что делалось вокруг.

Дорога, по которой они бежали, шла по гребню длинной цепи поросших неубранным подсолнухом холмов, и люди видели далеко перед собою. На десятки километров

лежала перед ними гладкая, как блюдо, равнина, по которой вилась большая река. Несколько озер на пойменных зеленых лугах медными бляхами поблескивали в оранжевом свете солнечного восхода. Кое-где белыми облачками шевелился туман. И такая тишина была в этих лугах, в этом медленно и спокойно подымающемся солнечном круге, что у каждого на мгновение мелькнула мысль: а что же это страшное было ночью? И что это там, — на западе, где среди обрывков туч еще поблескивают звезды, что там такое делается, от чего приходится, задыхаясь и падая, бежать? А главное, как получилось, что фронт, еще вчера глухо погромыхивавший где-то вдали, вдруг оказался рядом?

И, не сговариваясь, люди замедлили шаг и, повернувшись к яркому солнцу, остановились. В наступившей тишине чей-то голос негромко простонал: «о господи!» — и глухо звякнула брошенная наземь лопата... Но очень короткой была эта минута размышления и созерцания: в западной стороне, словно приблизясь, загрохотали орудийные выстрелы, и люди, забыв про то, о чем они только что подумали, снова кинулись бежать.

А на обочине дороги остался лежать человек. Завалившись головой в куст полыни, он зябко ежился и, поджав к подбородку колени, пытался закутать в рваную телогрейку свое небольшое, бьющееся в жестокой лихорадке тело. К нему подошел товарищ.

— Плохо, Кроня? — наклонился он над больным.

— П'гопадать... видно... — стуча зубами, картавя, сказал тот. — Не могу больше... ноги не идут...

— Ах, ты ж, головка горькая! — качая головой, жалостливо воскликнул товарищ.

Он, видно, еще что-то хотел сказать больному, но увидев, что тот человек с клетчатым узелком за плечами, за которым он держался всю ночь, ушел далеко вперед, махнул рукой и кинулся догонять уходящих.

2.

Вскоре вдалеке зачернел небольшой лесок. И хотя все отлично знали, что ни отдых, ни пища не ждут их в этой маленькой кучке деревьев и что они пробегут через нее, как уже несколько раз ночью пробегали через такие же рощицы, всем почему-то хотелось поскорее добраться до леса. И каждый, следуя за идущим впереди, невольно

ускорял шаг, а тот, передний, чувствуя это, старался в свою очередь идти еще скорее.

Так, подгоняя друг друга, добежали они до леса, но едва вошли в его влажную, прохладную тень, как впереди послышался мужской голос, фырканье лошади, скрип колес, и среди пестрых березовых стволов замелькала ныряющая по глубокой, разбитой колее телега. Сначала представилось даже, что она едет сама по себе, без лошади — так сливалась с березами причудливая пегая масть небольшой вислоухой кобылы. Телега ехала навстречу, два человека сидели в ней, виднелась поклажа: мешки, чемоданы. И это было особенно удивительно: люди бежали, спасаясь от гитлеровцев, на восток, за всю ночь ни одна живая душа не попалась навстречу, а тут двое, да еще, видимо, со скарбом, едут туда, где сейчас, наверно, уже хозяйничают враги...

Между тем, телега показалась из-за поворота и стали хорошо видны сидевшие на ней люди. Тот, что правил лошадью, был высок, худощав. Белая грязная свитка болталась на нем, как на вешалке. Из-под широких полей соломенного бриля, беспокойно перебегая с предмета на предмет, поглядывали маленькие, бисерные глазки. Трудно было сказать, сколько ему лет: он принадлежал к той породе никогда не полнеющих, как бы засушенных людей, возраст которых трудно угадать, — может быть, сорок, а может, и шестьдесят. Другой проезжий был так закутан в полинявший брезентовый дождевик, что если б не маленькие, обутые в красные сафьяновые сапожки ноги, высовывавшиеся из-под плаща, его легко было бы принять за мешок, набитый какими-то мягкими вещами. Видимо, это была женщина.

Поравнявшись с передними из бегущих, человек в бриле остановил лошадь, спрыгнул с телеги и, раскинув руки в стороны, закричал:

— Опомнитесь, братья! Куда бежите?

Люди остановились, окружили телегу.

— Куда? От кого бежите, братики? — снова воскликнул человек в бриле. — Там... там! — он замахал своими длинными руками в ту сторону, откуда бежали люди. — Там, братья, спасители наши пришли! Их, милые, с песнями, с ликованием встревать надо, а вы... Кончилось, братья! — визгливо крикнул он. — Кончилось антихристово засилье! Се — ангелы грядут, слава тебе, господи!

Он сорвал с головы бриль и стал креститься.

— Гаврила Тихоныч! — негромко окликнула его спутница.— Поедем, что ты, право... Ну, Гаврила Тихоныч!

Между тем все больше и больше народу собиралось вокруг телеги. Задним не видно было, отчего получилась остановка, — они слышали какие-то крики и, желая узнать, что происходит, сворачивали с дороги и по лесу обходили передних.

— Кто это? — спрашивали они у тех, какие стояли поближе. — Что он говорит?

— Да кто ж его знает, — усмехались ближние. — Говорит: назад идите, куда, говорит, бежите от добра...

— А может, и вернó, ребята, — раздался чей-то неуверенный голос, — может, и верно, напрасно бежим?

— Напрасно, дети! Ох, напрасно! — услышав этот одинокий, усталый возглас, завопил Гаврила. — Нонче, братья, день великий, второе Христово рождество! Слышите? — вскинул он руку туда, откуда снова доносился грохот боя. — Слышите? Пал, пал Вавилон! Се ангел господень сокрушает сатану... Двадцать пять лет без малого мордовали нас, окаянные! Настал день... Новый Христос нарóдился!

— Гаврила Тихоныч! — снова зашевелилась женщина.— Ну, прошу тебя, миленький, поедем!

— Всех! Всех зову на пир великий! — не слушая ее, выкликал Гаврила. — Яко Христос, пятью хлебами накормлю, яко в Кане Галилейской, воду в вино претворю! Идите за мной, хочу вас к избавителям привести, ей, господи! Прости заблудших овец сих!..

Как бы в молитвенном восторге, простерши руки вверх, стоял проповедник перед усталыми, испуганными и озлобленными людьми. Минуту длилось молчание. Где-то, совсем рядом, звонкую барабанную дробь выбил дятел на старой березе и, пискнув, перелетел в глубь рощи.

— Так, так, — нехорошо усмехнулся рослый, жилистый мужик в рваном полушубке, стоявший впереди других. — Значит, говоришь, спасители пришли? Новый Христос, говоришь, народился? Ах, ты...

Он не договорил, сжал зубы, отступил на шаг и вдруг, размахнувшись и коротко крякнув, как работник, бьющий тяжелой кувалдой, ударил Гаврилу. Тот, охнув, упал под ноги лошади. Пегая кобыла махнула головой и попятилась. Женщина взвизгнула, ухватилась за чемодан.

— Дура! — презрительно сказал мужик в полушубке. — На хрен мне твои чемоданы... Жалко, некогда,— он пнул ногой Гаврилу, — а надо бы ему еще пару слов сказать...

И он решительно пошел вперед, а за ним двинулись и другие. И снова люди шли на восток, но уже не было в них того оцепенения, той молчаливой подавленности, какие всю ночь сковывали их волю и разум. Послышались смех, шутки, лес наполнился перекликом человеческих голосов. Те, кто видели и слышали происшедшее на дороге, смеясь, рассказывали другим, не видевшим, и те тоже смеялись; и все оживленно говорили о том, как ловко их товарищ залепил долговязому проповеднику, да только мало, времени не было, а то и еще следовало бы...

Люди как бы очнулись, пришли в себя, стали думать, что же им делать? До моста оставалась самая безделица, и то, что они успеют убежать от немцев, было ясно. Но там-то, за мостом, что?

— Главное, ребята, нам теперь штаб найти, — говорил подвижной, лысый, в очках и грязном рыжем пальто человек. Еще ночью, убегая из своей землянки, он со страху не мог найти шапку, и так и шел, непокрытый, сверкая своей розовой, чистой лысиной. — Главное, братцы, штаб, — размахивая руками, говорил он, — а уж они там разберутся...

— Штаб, штаб! — передразнил его товарищ. — Ты вон, с переляку-то, шапку потерял, в рубаху заместо штанов полез... Так и штаб твой, небось, бежит сейчас где-нибудь, сердешный, без оглядки..

— На третьей скорости! — засмеялся другой.

— Побежишь, — сказал мужик в полушубке. — Самая главная вещь — никто не ожидал.

— Война, не у тещи на блинах,— тяжело вздохнул лысый.

— Кабы нам какое вооружение, — продолжал мужик в полушубке, — тогда, конечно, другой разговор... а так что ж!

— Вот и главное-то, — поддакнул лысый, — кабы вооружение...

— Ты б тогда вместе с шапкой-то и винтовку кинул!— подмигнул его товарищ.

Все загоготали. Испуганный криками и смехом, из густого осинника выскочил большой, уже начавший по-зим-

нему буреть заяц. Он ошалело присел, приподнял ухо и вдруг опрометью кинулся по дороге.

— Тю! Держи! — заорали, засвистели вслед. Кто-то запустил в зайца палкой.

— Похлебка, братцы, ушла! — сокрушенно крякнул лысый.

Так, оживленно разговаривая, шутя и пересмеиваясь, люди вышли из леса. Перед ними снова было поле. Вдали поблескивала река. В дымке еще не развеявшегося тумана на горизонте виднелись прозрачные, точно кружевные, фермы железнодорожного моста.

Люди уходили от смерти и рабства.

3.

А тот, что не мог идти, лежал при дороге, уткнувшись головой в полынный куст, и, громко стуча зубами, бормотал:

— В'гешь... в'гешь! Не б'гал я твои се'гежки... Стану я г'уки ма'гать! Чего закопал-то? — он хрипло, точно прокашляв, засмеялся. — Чего закопал, то закопал... Иди ты со своими се'гежками!

Из рыжей чащи подсолнухов вышла белая кудлатая собака. Воровато озираясь, она подползла на брюхе к человеку и стала его обнюхивать.

— Г'ая! — вдруг громко сказал человек. — Г'аюшка! П'гости ты меня Х'гиста г'ади... п'гопил я се'гежки-то!

При первых же звуках его голоса собака отскочила в сторону и побежала вдоль дороги. Потом остановилась, потопталась на месте и, задрав кверху морду, завыла.

— Вот сволочь! — сказал человек. — Ну как с тобой, со сте'гвой, гово'гить!

Он застонал. Болезнь, видимо, с новой силой завладела им: его трясло так, что стебли полыни, в которую он упирался головой, шевелились и вздрагивали.

В таком отчаянном положении и нашел его проезжавший мимо Гаврила. И хотя после случившегося в лесу он был зол необычайно и в голове еще гудело от мужицкой оплеухи, он все-таки остановил лошадь, подошел к больному и, увидев, что человек еще жив, ухватил его под мышки и взвалил на телегу. Женщина было заспорила с ним, не хотела брать больного, но Гаврила настоял на своем. Уложив на телегу подобранного человека и накрыв его веретьем, он

снял бриль, устремил к небу бисерные, мышиные свои глазки и стал шевелить губами.

— Да будет тебе комедию-то ломать! — раздраженно сказала женщина. — Тут ехать надо, а он... Ну, на что,— она кивнула в сторону больного, — на что он тебе понадобился? Не на готовое едем, и сами-то, может, наплачемся, а ты еще этого.

— Молчи, сестричка, молчи, Беатушка! — надевая бриль, сказал Гаврила. — Про самарянина милосердного забыла, что ли? Ну-ка, признайся, забыла? «И, подошед, перевязал ему раны...» — начал он было, разбиря вожжи.

— «Подошед, подошед!» — сердито оборвала его женщина. — Ты мне лучше скажи, что мы с ним делать будем? Больной, заразный, может быть... Да и горбонос слишком что-то, — уж не из жидов ли?

— У господа, Беатушка, все равны, — сказал Гаврила, — что жид, что еллин... Выбросить всегда успеем, а он, глядишь, да и пригодится...

4.

Несмотря на то, что время приближалось к десяти и будничный день был в разгаре, на улицах Ямища стояла тишина. Все точно вымерло — ни скрипа тележного, ни ребячьей разноголосицы, ни стука, ни даже лая собачьего. Два-три петуха лениво перекликались на задворках, да тучи воробьев, облепивших плетни и деревья, трещали, скандалили и, время от времени, срываясь огромными стаями, с шумом разрываемого коленкора перелетали с места на место.

При въезде в село, на крыше крайней избы, поскрипывая, вертелась игрушечная мельничка. Но тонкий, жалобный скрип ее не только не нарушал мертвой, недружелюбной тишины, но даже, пожалуй, сильнее подчеркивал ее.

На завалинке сидел старик. Он ничего не делал. Положив костлявые руки на колени, подняв лицо кверху, старик, не мигая, глядел на солнце. Стук Гаврилиной телеги не привлек его внимания — он был слеп и глух.

— Что ж это, никого не видно? — оглядываясь кругом, спросила женщина.

— Попрятались, — покачал головой Гаврила. — Ах, люди, люди... темные дураки!

Проехав шагом по безмолвной улице, свернули в уз-

кий, с обеих сторон огороженный плетнями и заросший крапивой переулок. Дорога, виляя, пошла круто вниз. Гаврила соскочил с телеги, туго натягивая вожжи, зашагал у колеса. Шевеля ушами, кобыла задирала морду с налезавшим на нее хомутом, осаживалась назад. Наконец внизу, в заросли орешника и диких яблонь, показалась соломенная крыша. Дорога пошла ровнее.

— Ну, слава тебе, господи! — перекрестился Гаврила.— Приехали...

Телега остановилась возле крошечной, вросшей в землю избушки. Ни двора, ни сарайчика, ни огорожи — ничего не было при ней. Только дикая лесная яблонька нелепой раскорякой торчала возле черной, покосившейся стены, вплотную прилепившись к ней, словно бы из нее и росла. Мутно поблескивая единственным подслеповатым оконцем, стояла изба — старая, с растрепанной крышей, подпертая неошкуренными березовыми кольями, стояла, как сердитая старуха на ветру, как докучное напоминание о чем-то давно ушедшем, о том, про что позабыли уже все, к чему возврата нет, да и не будет...

— Спиридоновна! — негромко позвал Гаврила. — Жива, что ль, бабушка?

В избе послышался легкий вскрик, быстрые шаги, дверь распахнулась — и вместо бабушки на пороге показалась бледная, красивая, довольно молодая женщина. Одетая во все черное, с низко надвинутым на лоб черным платком, она была похожа на монашку.

— Господи! — воскликнула она. — Вот радость-то!

И, перекрестившись, мягко и плавно поклонилась Гавриле в ноги.

— Встань, встань, Даша! — сказал Гаврила. — Встань, ангельская твоя душка!

Он поднял Дарью, поцеловал ее, перекрестил. Приехавшая женщина, не слезая с телеги, с усмешкой поглядывала на них.

— Вот и приехали, бог дал, — продолжал Гаврила.— Ах, да как же, дети, славно заживем мы теперь! Вон и Беатушка с нами, голубочка наша умненькая...

— Ох, Беата Адамовна! — спохватилась Дарья.— Я было вас и не приметила!

Она помогла Беате слезть с телеги и расцеловалась с ней.

— Ну, входите, милые, входите в избу-то, отдыхайте,

желанненькие... Ах, господи, радость-то какая! Прямо чисто одурела, ей-право! Вот-то бабушка возрадуется, вот возрадуется!

— А где ж бабка-то? — спросил Гаврила.

— В куски, батюшка, в куски пошла, — вздохнула Дарья.— Другой день ходит...

— Ай-яй-яй! — сокрушенно покачал головой Гаврила. — В куски! Ну, да ведь он, Христос-то, вспомни-ка, Даша, тоже от подаяния, спаситель наш, питался... Учти, сестренка — Христос! А уж нам-то... Братик, а братик! — позвал он, приподнимая веретье. — Слезай, братик! Ну-ка, Даша, помоги убогому, ишь, обеспамятел... Да барахлишко-то, барахлишко в избу определи, управляйтесь тут с Беатушкой. А я тем часом кобылу с телегой в ложок сведу, чего им тут при дороге торчать...

Он торопливо поснимал с телеги поклажу, помог Дарье ввести в избу больного и, взяв под уздцы кобылу, повел ее в ложок. Без дороги, ломая кусты, спустились они в густо заросший орешником овраг, по дну которого бежал еле заметный ручеек. В чаще оказалась небольшая, притоптанная, вся в конском навозе, площадка: кобыле, видно, тут было стоять не впервой.

Гаврила отпряг ее, привязал к грядушке телеги; потом, сбив в кучу подстеленное под сиденье сено, подвинул к лошади и прислушался. Где-то, совсем близко, хлопали беспорядочные выстрелы. Время от времени, точно фыркая, простракивали автоматные очереди.

«Упирается Советская власть! — усмехнулся Гаврила. — Нет, видно, перед смертью не надышишься... Пришла, стало быть, пора... «Пал, пал Вавилон»!

5.

Весь день пролежал больной на печи в жару, мечась, разговаривая и вскрикивая, погружаясь временами в тяжелое забытье, в короткий сон с уродливыми и зловещими видениями, заставлявшими его снова вскрикивать и снова метаться. Как вспышка света, на кратчайший миг возвращалось сознание, и он с удивлением разглядывал нависший над головой потолок с лениво ползающей по нем осенней мухой. Затем потолок уходил куда-то ввысь, превращаясь в серое небо, в верхушки гнущихся под ветром деревьев... перед глазами мелькал привязанный к заплечному мешку чайник... топот тысяч ног гудел в ушах... и он падал, и не

мог поспеть за чайником... и снова кричал и стонал, и снова впадал в забытье...

К вечеру ему полегчало, и он, делая вид, что лежит попрежнему, без сознания, стал прислушиваться и потихоньку, сквозь полуприкрытые веки, приглядываться к окружающему. В сумеречном полумраке он разглядел двух женщин и высокого мужчину в белой свитке. Все они сидели за столом и негромко разговаривали. Мужчина, видно, недавно пришел откуда-то, он рассказывал про то, как по улицам села часа два подряд шли и ехали отступавшие советские войска, как чья-то изба загорелась и как люди, бросая хозяйство, побежали в лес.

— Великий час, дети, приходит, — закончил он свой рассказ и резким тенором запел какую-то, похожую на молитву, песню. Одна из женщин тоненьким голоском стала вторить, другая — молчала, словно прислушиваясь к чему-то.

Темно-красные отблески заката дрожали на чисто выбеленной стене. Поднялся ветер. Позванивая разбитым стеклом в окошке, подвывая в печной трубе, он как бы присоединился к поющим. И вдруг где-то далеко возник ровный гул. Постепенно нарастая, он приближался, иной раз даже изба вздрагивала. Похоже было, что множество тяжелых машин идет по земле.

— Слышите? Слышите? — перебивая поющих, воскликнула женщина.

Пение оборвалось.

— Они! — прислушавшись, восторженно сказал мужчина. — Слава тебе, господи! Дождались-таки... Пойдем, Беатушка!

Он широко перекрестился, нахлобучил шляпу и кинулся вон из избы.

— Батюшка! — отчаянно крикнула та, что пела. — Да куда ж ты? О, господи... Беата Адамовна!

— Молчи, Даша! — обернувшись в дверях, сказала другая. — Значит, надо, нам его не учить. Да мы скоро вернемся, а ты лучше спать ложись.

— Ох, царица небесная! — оставшись одна, вздохнула Дарья. — Да что ж это, страшно-то как!

Отодвинув стол, она постелила на полу.

«А что ж тот-то? Больно тихо лежит, уж не помер ли?» — Милый! — подойдя к печке, певуче позвала она.— Может, нужно чего?

Больной шумно вздохнул, притворно застонал, заворочался.

— Спит, — облегченно сказала Дарья.— Ну, миленький, спи, господь с тобой, поправляйся...

Она улеглась и затихла. Затихло и на дворе, замолчали моторы, поник ветер. Тогда больной сел на печке, прислонившись спиной к стене, и стал думать о своей непутевой жизни. Как беспризорничал мальчишкой, мотаясь под вагонами, ночуя в асфальтовых котлах; как душевный человек Илья Абрамыч Мозер пожалел его, посиневшего от холода, привел к себе в живописную мастерскую, одел, накормил, поставил растирать на большой мраморной доске краски; как потом сам он стал самостоятельно работать— писал вывески, прейскуранты, дважды ездил на заработки в Нижний на знаменитую Макарьевскую ярмарку; как женился там на официанточке из ярмарочного ресторана, покорил ее петушиным, очень модным тогда, пуловером, прической «демон» и остроносыми лакированными туфлями «джимми»... А потом как-то вдруг все поломалось: дурная компания, забросил работу, ежедневное похмелье, пьяные скандалы с женой из-за пропитых денег... По пьянке с одним из дружков магазин обворовал, в лагерях три года отстукал. Незадолго до войны вернулся домой, устроился рекламистом в кинотеатр «Модерн», и поначалу все ничего было, а потом — снова пить, снова скандалить с женой стал, пока не грянула война. По физическому недостатку (у него одна нога короче другой была) его забраковали, не взяли в армию, а погнали на окопные работы... И вот он попал сюда — в незнакомую сторону, в чужую избу, на эту теплую, пахнущую нагретым кирпичом печку...

Вся жизнь промелькнула перед ним, как скучное кино, как скверный сон, и ничего в ней не было ни яркого, ни радостного, не на чем было глазу остановиться. Вон другим — почет и уважение, у тех и деньжонки, и жизнь беспечальная, а он, как был Кронька-живописец базарный, по прозванию Жид, Полушка, так Кронькой и остался, хоть и на четвертый десяток перегнуло, и белая нитка в волосах запуталась... «Так почему же так — другим пирог, а ему— объедки? Почему? Может быть...»

Какой-то шорох под окном прервал Кронидовы мысли. Как будто бы лопухи зашуршали под ногами, как будто бы тихий стон раздался... Кронид замер, прислушиваясь. Нет, все было тихо. Должно быть, спящая женщина

вздохнула тяжело, охнула во сне. Кронид вернулся к своим мыслям.

«Может, оттого такая жизнь получилась, что каким-то пасынком с малых лет сделался он у Советской власти? Что не по нем советский порядок, где, видишь ты, даже такой закон выдумали: кто не работает, тот не ест. Сами-то гладчищие, в машинах ездят, а он две недели по лесам да по болотам таскался с лопатой, в кровь изодрался, заболел — и вот тебе, лежит, брошен, как собака! Да это еще, слава богу, добрые люди подобрали, а то...»

И он вздрогнул, представив себе, как бы он сейчас валялся при дороге, во тьме, в холоде... и так ему жалко себя стало, такой неприютной показалась жизнь, что слезы навернулись на глаза, побежали по грязным, заросшим черноватой щетиной щекам. Он плакал, наслаждаясь плачем, не в силах и не желая остановить его. И, раз дав потачку дурным мыслям, уже весь был в их власти, уже представил и погибель свою здесь, на чужбине. Отчаяние и злоба наполнили сердце. Гадкая жизнь была у него до сих пор, но, господи боже мой, как не хотелось умирать!

И вдруг озарила надежда на спасение: все к лучшему! И то, что попал он на окопные работы, и то, что, заболев, отстал от товарищей. Та жизнь, от которой одни тумаки он получал, отодвинулась куда-то, ушла; в грохоте боя приближается, да уже и приблизилась, новая — с иными людьми, с иными порядками. И вот эта-то новая жизнь и приласкает его, поставит на ноги, человеком сделает...

Хорошо и спокойно стало Крониду. Он лег, закрыл глаза, в сладкой дреме поплыл куда-то. Еще немного, и он, верно, заснул бы, да вдруг под окном опять зашуршали лопухи, послышались голоса: один был знакомый, Гаврилин, тенористый и въедливый, а другой — юношеский, с хрипотцой, словно бы задыхающийся.

— Ах, братик, братик! — бормотал Гаврила под окошком. — Видишь ты, какое дело-то... Ну, ничего, дорогуша... Христос-то, брат, вспомни-ка, чему он нас учил? Милосердию, братик, милосердию! Милосердию! — восторженно вскрикнул Гаврила. — Врагам прощать учил, вон как!

— Да какой же я... враг вам? — с трудом, со стоном отозвался юноша.

— А к слову, брат, к слову! — хихикнул Гаврила. — Ну-ка, держись, держись за меня... вот так, вот...

В сенцах послышалась возня, скрип двери, тяжелое,

прерывистое дыхание. Кронид напрягся, вглядываясь в темноту, вслушиваясь. Узкая полоска света вспыхнула в дверной щели: в сенях, видимо, зажгли огонь.

— А-а! — скрипнув зубами, застонал кто-то.

— Постой, постой, — сказал Гаврила, — дай разглядеть-то. Фу ты, господи батюшка, в самый крестец угодила... Чем же это, братик, тебя угораздило?

— Не знаю... осколок, наверно...

— Ай-яй-яй! Ну, потерпи, дорогуша, потерпи... Сейчас как-нибудь, попросту обмотаем, а завтра, бог даст, старушка наша вернется, она тебе и травку какую ни то приложит, и перевяжет... все как есть, в полную удовольствию произведет. Расчудесная старушка! Вот так... Ну, теперь со Христом забирайся вот в чуланчик-то, да и баюшки, спи, значит, а я запру тебя, да и дверь привалю, вроде бы и нету в чуланчике никого. Да сумку-то, сумку давай, я сумку-то поберегу...

— Нет, сумку нельзя, — проговорил раненый. — Сумку... я не дам!

— Ну, Христос с тобой, так и так. Она, брат, сумка-то, мне тоже без надобности... так, мол, поберечь хотел...

Опять возня послышалась, щелкнул замок, и все утихло. Внезапно распахнулась дверь, и на пороге появился Гаврила. Подняв над головой фонарь, он оглядел избу. Свернувшись калачиком, на полу спала женщина. Удивительно крепок был ее сон: ни шум в сенях, ни стоны, ни свет фонаря — ничто не потревожило его.

Гаврила посветил и на печку, но Кронид уже успел натянуть на голову телогрейку, притвориться спящим. Он ровно и глубоко дышал, даже всхрапывал легонько.

Гаврила задул фонарь, тихо засмеялся, сказал вполголоса: «э-хе-хе!» — и стал примащиваться на лавке.

6.

Серой, бесконечной ниткой тянется деревенское время. Поскрипывая, вертится деревянное колесо прялки, дымным облачком тает на гребне кудель, постукивает веретенце, наматывая серенькие часы, дни, недели ..

Вот старая Спиридониха, неутомимая пряха, нахохлившись, большой диковинной птицей сидит за прялкой. Она бормочет что-то, трясет головой; огромная, уродливая тень ее маячит на стене, уходит под потолок — с крючковатым

носом, с крючковатым, поросшим седой щетиной, подбородком.

Близко придвинувшись к тусклой пятилинейной лампочке — вот Дарья, точно застыла над старой черной книгой, и какие-то древние, зловещие, таинственные слова срываются с ее бледных, шевелящихся губ, срываются и улетают в полутьму избы.

И вот, наконец, Кронид. В тесном углу, за печкой, на жиденький подрамничек натягивает он кусок корявой, с узелочками, бязи, лениво постукивает молотком, вслушивается в Дарьин невнятный полушепот, в Спиридонихино бормотанье. И думает о себе — о навсегда, видимо, покинутой жене, о далеком степном городке, о кинотеатре «Модерн» и о теперешней жизни в большом селе Ямище у длинновязого мужика Гаврилы, который осенью подобрал его, хворого, обессилевшего, приютил у себя и держит из милости на положении... впрочем, это очень хитрый вопрос — на положении кого? «Придворного живописца»,— вяло усмехается Кронид.

Этот Гаврила (или батюшка, или братец, как называют его женщины) точно в мушиную липучку поймал Кроню, и тот так влип в нее, что вырваться, кажется, уже нет никакой возможности.

Как же это произошло?

Тогда осенней ночью, когда больной Кронид, притворяясь спящим, пытался разобраться в той обстановке, в какую он попал, когда услышал возню и разговор в сенцах, он насторожился: кто был тот раненый паренек, которого Гаврила спрятал в чулане? Судя по всему — советский военный. Так зачем же понадобилось Гавриле возиться с ним, перевязывать, укрывать? Как это сочеталось с его восторженным ожиданием прихода немцев? Впрочем, ведь и его, Кронида, подобрал и приютил Гаврила. Что ж он это делал — просто по доброте? По человечеству? По милосердию? Путаясь в догадках, Кронид забылся тогда тяжелым сном.

Хмурое, непогожее утро разгадало все загадки, все поставило на свои места.

Кронид проснулся от топота, крика и незнакомого, нерусского говора. Чуть приоткрыв глаза, он увидел рассевшихся на лавке возле стола чужих солдат. Гаврила и та женщина, которую называли Беатой Адамовной, стояли рядом с ними. Перепуганная Дарья забилась в угол. «Свят,

свят, свят!» — мелко-мелко крестясь, бормотала она. А посреди избы два здоровенных солдата выворачивали за спину руки какому-то полураздетому человеку. Они почти на весу держали его, бледного, в разорванной до живота грязной рубахе, босого, с расплывшимся черным кровяным пятном на прилипшей к ноге штанине. Крупные слезы текли по его мальчишескому, кривящемуся от боли лицу. Один из сидящих за столом, в очках без оправы, видимо, старшой, разглядывал какие-то бумаги. Перед ним лежала раскрытая полевая сумка.

— Also, sind Sie Offizier? — глядя в упор на мальчика и подрагивая острой коленкой, спросил немец.

— Вы офицер? — перевела Беата.

— Дайте напиться... — облизывая губы, с трудом сказал паренек.

Беата перевела. Немец засмеялся.

— Ausgezeichnet!, — сказал он, — Ausgezeichnet! Jede wahrheitsgetreue Antwort wird mit einem Schluck Wasser bezahlt. Da sind meine Forderungen[1].

— Отвечайте, — обратилась к пареньку Беата. — Если будете отвечать, вам дадут напиться.

Паренек с ненавистью поглядел на нее. Свежая, с расчесанными на прямой пробор рыжеватыми волосами, в прозрачной розовой блузке, сквозь которую просвечивалось белое кружевцо и золотая цепочка, в аккуратной, плиссированной, довольно короткой юбочке, с бархатной темной родинкой на щеке, она раздражала его. Она наполняла его той спасительной ненавистью, которая придает силы и, ожесточая, переходит в мужество.

— Сволочь! — сказал паренек Беате. — Рыжая потаскуха!

— Was? — очкастый с улыбкой глянул на Беату. Впрочем, в переводе он не нуждался: сказанное было совершенно ясно. — Das wird er bereuen,— собирая бумаги в полевую сумку, сказал немец.— Bringen Sie ihn in den Stab[2].

— Geh, geh! — подтолкнул паренька один из солдат.— Verstell dich nicht!

[1] Отлично, отлично! Каждый правдивый ответ оплачивается глотком воды. Это мои требования.

[2] Ему придется раскаяться в этом. Ведите его в штаб.

[3] Иди, иди, нечего притворяться

— Na, — сказал его товарищ, — er kann ja nicht, er ist von der Verletzung schwach geworden [1].

— Und was denn, Donnerwetter, — раздраженно выругался солдат, — soll ich dieses Aas in den Händen schleppen? Pfui, Himmelsherrgott! [2].

Неожиданным, отчаянным движением паренек вырвался из рук солдат и, кинувшись к Гавриле, плюнул ему в лицо. Солдаты заржали.

— Господин офицер! — утираясь полой свитки, плачущим голосом воскликнул Гаврила. — Что же это, ваше благородие?!

— Beunruhigen Sie sich nicht, ihm wird recht geschehen. Sie haben ehrlich ihre Pflicht getan, — похлопал очкастый по плечу Гаврилу. — Wir brauchen treue Menschen. Und jetzt kommen Sie mit. Auch Sie, — обратился он к Беате, — bitte, Fräulein [3].

— Что, что он сказал? — все еще утираясь, шепотом спросил Гаврила у Беаты.

— Ничего, все хорошо, — сдерживая улыбку, на ходу ответила она. — Господин комендант зовет с собой. Пойдем!

Топая сапогами, цепляя за низенькую дверь дулами автоматов, солдаты повели пленного. Немец в очках, Беата и Гаврила пошли следом за ними. В избе осталась одна Дарья.

Тогда Кронид насмелился и, свесив с печки ноги, слабым голосом окликнул ее.

— Ох, миленький! — вздрогнула Дарья. — Забыли мы про тебя совсем, закрутились... право слово, закрутились в отделку! Он хоть, батюшка-то, — подойдя к печке и боязливо оглядываясь, зашептала Дарья, — он хоть и объяснил насчет воинов антихристовых, а ведь жалко, миленький, мальчонку-то... ох, как жалко!

Кронид тупо вслушивался в Дарьины слова. Какой батюшка? Какой антихрист? Дневной свет резал глаза, глухой шум дождя позывал на тошноту. Ноги висели беспомощные, тяжелые, точно протезы. Кронид смутно понимал,

---

[1] Да он не может, он ослабел от раны.

[2] Так что же, черт побери, на руках прикажете нести эту падаль? А, черт!

[3] Не беспокойтесь, он получит по заслугам. Вы честно исполнили свой долг. Нам нужны преданные люди. А сейчас пойдемте вместе со мной. И вас прошу, барышня.

что происходит вокруг него, но хорошенько разобраться в этом у него не было ни сил, ни желания. Над всем господствовала одна-единственная мысль: во что бы то ни стало сохранить свою драгоценную жизнь. Ни зла, ни добра, ни чести, ни подлости не существовало. Мальчишка-офицерик — болван. Что от него требовали? Очевидно, какие-то сведения по части численности войск, оперативных планов и прочее — все то, что и без него было отлично известно немецкой разведке. Какие тут планы, когда армия бежит! А он, дуралей, в позу встал: благородное молчание, презрение, героизм... Черт бы его побрал, этот дурацкий героизм! Сейчас задиристого лейтенантишку кокнут. И когда он ткнется лицом в грязь, не все ли равно ему, мертвому, будет, что скажут о нем его товарищи? — Все вздор. Жить надо, вот что. И уж, конечно, не так жить, как прежде, а лучше, богаче, красивее. И он, Кронид, будет, черт бы вас всех побрал, жить!

— Сест'гица,— вкрадчиво, с картавинкой, сказал он,— Дашенька... Нет ли у вас, золотце, покушать чего-нибудь? Вто'гые сутки на пище святого Антония, как гово'гится... а тут еще болезнь эта, п'гоклятая!

— Да как же не быть! — всплеснула руками Дарья.— Это ведь мы без батюшки голодовали, а теперь у нас всего много...

Кряхтя, Кронид слез с печки, пошатываясь от слабости, вышел в сени. Дождь ровно и монотонно шумел за стеной, в деревьях, шуршал по соломенной крыше. Распахнутая настежь, чернела дверь чулана. Кронид заглянул туда: маленькое оконце тускло освещало каморку, все стены и потолок которой были увешаны пучками мяты, полыни, ромашки и еще каких-то, видимо лекарственных, трав и листьев. Деревянная ступа, черепки разбитой корчажки, грязные, окровавленные тряпки валялись на земляном полу. «Видно, отбивался мальчишка-то»,— подумал Кронид. Он вышел наружу и огляделся. Изба стояла на полугоре. Плохая, малоезженая дорога уходила вверх, надо думать, к селу: оттуда слышались крики, завывание мотора, собачий лай. Внизу был овраг, густые заросли орешника вперемешку с голенастыми волосатыми палками почерневшей от заморозков крапивы. И таким холодом веяло оттуда, такой беспросветностью, таким мраком, что Кронида передернуло. «Ничего себе, веселенькое местечко! — пробормотал он.— Тут, б'гат К'гоня, не г'асп'гыгаешься...»

Он вернулся в избу. Дарья подала ему нарезанные крупными кусками сало и хлеб. У Кронида от голода голова кружилась, он кинулся на еду, но все было пресное, безвкусное. «Выпить бы»,— подумал Кронид, отодвигая тарелку.

— Что ж мало поел-то? — сказала Дарья.— Видно, неможется все? Ох ты ж, головка горькая! — жалостливо вздохнула она.— Вот так-то все маемся и маемся... Ну, да скоро возвеселимся, ей-право! Батюшка сам вчерась сказывал...

7.

Несмотря на все свои житейские неудачи и ошибки, на бесчисленные оплеухи, которыми наделяла его жизнь, Кронид считал себя неизмеримо выше других: как-никак, он был художник.

В том городке, где он жил до войны, обитало множество столяров, бондарей, жестянщиков, портных, сапожников, счетоводов, даже музыкантов (целый оркестр при железнодорожном клубе), а вот из живописцев, кроме него, никого не было. Существовала, правда, маленькая артель под названием «Оформитель», но, боже мой, что они там могли? Намалевать «чайная» или «продмаг» или «магазин закрыт», а также — номера домов, таблички на кладбище с именами погребенных. Это, конечно, были пустяки, это не могло называться искусством. Зато если появлялась нужда в декорации для клубного спектакля, в картинах для украшения ресторана «Хопер» или гостиницы — тут уже шли на поклон к Крониду, и тот на фанере, клеенке и мешковине закатывал такие леса, такие фонтаны, пруды с лебедями и морские виды, что заказчики только ахали,— так ярки были краски, так великолепны розовые красавицы, белоснежные лебеди и морские закаты...

К работе в кинотеатре Кронид относился с некоторым пренебрежением: не было простора для фантазии, все делалось по присланным рекламным образцам. Да и предметы, какие приходилось изображать, были довольно скучные: мужик на тракторе, баба на трибуне или красноармеец с собакой, и все в этом роде, очень обыкновенное и будничное, все то, что и так видим каждый божий день и уже пригляделись достаточно.

Поэтому Кронид любил рисовать на сторону — там он

душой отдыхал. И особенно славился он своими коврами. Какие оранжево-зеленые дубравы полыхали на них, какие декольтированные красотки в томных позах гляделись в зеркала! Какие розовые, как молодая морковка, купидоны постреливали из луков! А причудливые беседки, отражавшиеся в синей воде с лебедями и лилиями! А рыжие полосатые тигры, крадущиеся в зарослях диковинных растений! А мечтательные олени с необычайно ветвистыми рогами и грустными человеческими лицами... да нет, просто невозможно описать все, что появлялось на грубых старых мешках из-под его необузданной кисти!

Ковры шли нарасхват, слава кружила голову. Иные скажут: ну, что за слава — в маленьком городке, на колхозном базаре! Ах, да не все ли равно — что в столице вслед важному и выхоленному Иксу проносится благоговейный шепот, что в базарной забегаловке, встречая показавшегося в дверях небритого, с утра хватившего Игрека, гремит восторженный рев: «А, живописец! Живописцу наше почтение!»

Кронид по суткам ходил не евши (его часто обманывали при расчете, полученное же моментально пропивалось), но слава всегда была при нем. И он привык к ней, привык к тому, что искусство всегда и всюду выделяло его из массы и ставило в особицу, на более легкое, сравнительно с другими, положение. Так, например, в лагерях, в то время как его товарищи в буран, в осеннюю мокроту валили лес, затемно выходя из барака и в темноте возвращаясь, он преспокойно посиживал себе в красном уголке да пописывал лозунги, стенгазеты, плакаты о повышении производительности труда и трудовой дисциплины. Он и на окопах думал было, что этак же обернется. Поэтому-то, когда на другой день по прибытии в Максимову Балку на утреннем разводе какой-то, в кожаном пальто, начальник по виду, крикнул, есть ли в строю художник, он ничуть не удивился и спокойно сделал шаг вперед. Начальник же, подведя его к своей землянке и указывая на три гладко оструганные дощечки, сказал:

— Вот, друг, на какой побольше напишешь слово «штаб», а на тех так: на одной — «для мужчин», а на другой — «для женщин». А то что ж такое, — поглядев на каблук, добавил он, — вторые сутки всего стоим тут, а уж весь лес загадили, черти некультурные!

Так на этих трех надписях и закончилась Кронидова

художественная деятельность. И, глубоко оскорбленный, пошел он вместе со всеми на общие работы, да так две недели и проковырял лопаткой, пока не простудился и не слег.

Тогда ночью, испугавшись пальбы, он сгоряча побежал за народом, но на рассвете упал, обессиленный, и вот теперь...

Дождь шумел по-прежнему. «Выпить бы...» — снова, но уже как-то лениво шевельнулась мысль. Кронид с отвращением глядел на толстые куски сала, на пухлые лепешки. Хотелось забраться на печь, да лень было пошевелиться, подняться с места. Дарья сначала, горестно подпершись рукой, глядела на него, потом встала, взяла с полки какую-то книгу и принялась читать. Она читала вполголоса, истово, медленно, видимо, наслаждаясь самим процессом чтения. «Иисус же сказал в ответ: «Отойди от меня, сатана! — читала Дарья. — Написано: господу богу твоему поклоняйся и ему одному служи...»

Кронид прислонился к стене и закрыл глаза. Тревога и скука, как две серые змеи, сплелись вокруг сердца. Под шум дождя и Дарьино бормотанье он задремал. И приснилась ему нижегородская ярмарка, купцы-персияне в черных круглых шапочках, носатые, с вонючими сигарами в золотых зубах... И что-то у него с этими персами, какая-то ерунда получалась: лезут они на него, камышовыми тросточками замахиваются, чем-то, значит, он им не угодил. Он для ихней лавки тогда эмблему делал: баба в голубом капоте стоит одной ногой на колесе с крылышками, а в руках — рог изобилия, и из него золотые апельсины сыплются. Очень замечательная была эмблема. И вот чего-то им не понравилось, размахались тросточками. Кронид видит — дело плохо, смываться надо. Но только он шаг в сторону ступил, один персиянин, не говоря худого слова, как треснет его кулаком под глаз, и разом все кинулись на Кронида, давай молотить кто чем. «За что? — плача и сплевывая кровью, закричал Кронид. — За что бьете?»

— Христос с тобой,— сказал над ухом чей-то скрипучий голос,— кто тебя бьет?

Кронид вскочил. Перед ним стоял Гаврила. Подбоченясь и притопывая ногой, он сиял, улыбался, чмокал губами, точно сладкий леденец сосал.

— Кто тебя бьет? Это, милый братик, еще трясовица-злодейка в тебе сидит, сонными мечтаниями смущает...

А мы ее, негодную,— Гаврила погрозил пальцем,— мы ее, братик, сейчас возьмем, да в толчки! В толчки! Ну-ка, вставай, вставай...

Кронид ошалело таращил глаза: что это — сон, что ли, продолжается? Накрытый чистой скатертью стол, белый ситный каравай, кольцо колбасы, огромная селедка, а главное — пол-литра белоголовки, поблескивая, подобно хрустальной башне, возвышается надо всем...

— Ай, да и крепко же спишь, братик! — весело тараторил Гаврила.— Ведь это что: мы тут с ней (он указал на Дарью) ходим, стучим, а он знай себе храпака заносит! Ну, это, брат, хорошо, это из тебя хвороба выходит.

Он налил полный граненый стакан водки и подвинул его Крониду.

— Что ж это вы мне, а сами? — протягивая к стакану дрожащую руку, сказал Кронид.

— Гостю, братик, почет, у нас так-то. А стаканчик, между прочим, один, куда ж денешься... Но погоди! — восторженно воскликнул Гаврила.— Погоди, брат, скоро в хрусталях да в золоте кушать станем! Скоро брат, скоро!

До чего же мягка, до чего тепла показалась Крониду водка! Он выпил ее, смакуя, точно сласть, последним глотком даже рот пополоскал. И замер, зажмурился от удовольствия.

Гаврила пил с прибаутками, с балагурством, каждый раз, наливая, крестился, охал, закатывая глаза, шептал что-то, но держался прямо — было похоже, что и вовсе не брала его водка. Кронид же с первого стакана захмелел. Заплетающимся языком он стал рассказывать про свою жизнь, привирая, разукрашивая ее, как базарный ковер, всяческими вычитанными из затрепанных романов подробностями. Гаврила внимательно слушал, всплескивал руками, сокрушенно качал головой, восклицал: «Ай-яй-яй! Скажи пожалуйста!» И, прикидывая в уме, что в Кронидовом рассказе правда, а что выдумка, как бы на зубок брал Кронида, пробовал: тот ли человек? И с каждым словом его убеждался: тот!

Стемнело. Плотно завесив полосатой дерюгой единственное окошко, Дарья зажгла тоненькую восковую свечку.

— Слаб, слаб светильник! — сказал Гаврила.— Но, ничего, Даша, дай срок, голубочка, еще и люстру зажгем! Самую малость погоди! Ох, брат, — обратился он к Крониду,— что за дивная твоя повесть, утешил ты меня,

ей-право, утешил! Ведь это обдумать только: губернаторский сынок, а в какую нужду загнали, сволочи! Вот папенька, царство ему небесное, поглядел бы... Ну, крепись, братик, крепись, Кроня! Всходит наше с тобой солнышко... Ах, да и поживем же мы с тобой, да и повеселимся! Ты только, голубенок, за меня держись, мы с тобой такую хиромантцыю раздуем, что хоть бы и его превосходительству, папеньке твоему, впору!

8.

Спустя неделю немецкий комендант приказал всем жителям села Старое Ямище собраться на просторном церковном выгоне.

У деревянного общественного амбара, «магазея», как его по старинке и сейчас еще называли, были врыты четыре высоких, грубо отесанных столба. Возле столбов, посмеиваясь, подмигивая собравшимся бабам, прохаживался солдат с автоматом.

Никто не знал, зачем их собрали, для чего врыты столбы и долго ли придется здесь стоять, дожидаясь неизвестно чего. Какие побойчей хотели было уйти, но солдат строго окликнул их и велел остаться.

Наконец на дороге показались две машины — грузовик с солдатами и черная, легковая. Лихо подкатив к амбару, они остановились. Солдаты спрыгнули, открыли борт и стали снимать с грузовика какие-то большие, ярко размалеванные деревянные щиты. Возле солдат суетились Гаврила и Кронид. Из легковой вышли высокий офицер в очках, комендант и какая-то в мехах и лиловом шелке, кругленькая, ловкая дамочка. Это была Беата. Офицер что-то крикнул солдатам, и те подняли щиты и приколотили их гвоздями к столбам. Ярчайшими эмалевыми красками на обоих щитах был изображен немецкий солдат. На первом он, весело улыбясь, держал огромный рог изобилия (как на упомянутой персидской эмблеме), из которого сыпались швейные машинки, самовары, сапоги, румяные окорока, колбасы и бутылки с водочными и винными этикетками. У ног щедрого завоевателя сидели благообразные мужики и декольтированные дамы. Одна из дам играла на гитаре, другая наливала в кружку пенящееся пиво. Под всей этой нелепой сине-розово-зеленой пачкотней виднелась крупная надпись:

«ТАКУЮ ПРИЯТНУЮ ЖИЗНЬ МЫ ОБЕЩАЕМ ТЕМ, КТО БУДЕТ С НАМИ РАБОТАТЬ».

Другая картина, в отличие от первой, поражала обилием черной краски. И солдат на ней был не розовый и не смеющийся, а бледно-желтый, с грозно нахмуренными бровями. Одной рукой он сжимал дымящийся автомат, а другой указывал на землю, где валялись скрюченные трупы и где, точно пожарное зарево, горели с вывесочной тщательностью отчеканенные оранжевые слова:

«А ТАК МЫ ПОСТУПАЕМ С БУНТОВЩИКАМИ И ПАРТИЗАНАМИ».

В молчании глядели собравшиеся на эти произведения Кронидова искусства, возле которых, заложив руки за спину, с гордостью прохаживался он сам, черненький, горбоносенький, с усишками-сопельками, почистившийся, приодевшийся, в серой фетровой шляпе, в коричневом макинтоше, с тросточкой в руке, с сигареткой в гнилых зубах.

Господин комендант поднял руку и стал говорить речь. Он указывал то на одну, то на другую картину, хохотал, хмурился, щелкал ногтем по воротнику, хлопал себя по животу или красноречиво обводил пальцем вокруг длинной, морщинистой шеи. Когда он кончил, выпорхнула расфуфыренная, накрашенная Беата и изложила по-русски смысл высказываний господина коменданта. Впрочем, никто не нуждался в ее переводе: все и без того было ясно.

Вот таким-то образом и началась «художественная» деятельность Кронида, деятельность, обеспечившая ему в условиях «нового порядка» довольно прочное и относительно независимое положение. Сначала, правда, за нос и картавость немецкие хозяева заподозрили в нем еврея, но он легко сумел доказать свою непричастность к семитской расе.

После того вечера, когда выпили они с Гаврилой, когда Гаврила сказал: «держись за меня», Кронид призадумался. «Держись за меня!» А кто ты такой, чтоб за тебя держаться? Подумаешь, птица какая! Что-то дрогнуло внутри Кронида, сомнение запало в душу: а стоит ли ввязываться? А что да если вернутся советские войска? Тогда что? Возьмет кто-нибудь да и укажет на него: предатель! Ведь тогда разговор будет короткий — веревка. Страшно... Это

не в закусочной пивную кружку разбить, за это — смерть.

Но прошел день, другой, выстрелы на востоке затихли, похоже было, что Красная Армия драпает без оглядки. Да и что, собственно, ему особенно тревожиться? Ну, даже, допустим, и вернется, что ж такого? Какой он предатель? Он никого не предает, с доносами не бегает. Гаврила сказал ему, что немцам живописец нужен — пожалуйста, это он может. Так ведь за то, что он им что-то там нарисовал, не станут же его вешать!

А тут опять пришел Гаврила, опять принес поллитровку, и все сомнения, как облачко, рассеялись. Мелькнуло, правда, подозрение: а с чего это Гаврила так за ним ухаживает? Но оказалось, что немецким командованием Гаврила назначен старостой, и все стало ясно: новый староста желает отличиться перед хозяевами. Ведь не кто-нибудь — сам Гаврила придумал намалевать эти картины с добрым и карающим немцем. Даже и тут, — размышлял Кронид, — даже и тут живописец являлся всего-навсего лишь пассивным исполнителем. Нет, вешать было не за что.

Когда же Гаврила привел его в просторную, светлую комнату бывшей школы да показал чистенькие, аккуратные щиты, да десяток банок с немецкой эмалью, да превосходные кисти, тут уж и вовсе дрогнуло Кронидово сердце: артист, художник заговорил в нем, и он с увлечением принялся за работу.

Каждое утро приходил он в школу, в которой помещалась комендатура, и, мурлыкая «Ты жива еще, моя старушка», отдавался творчеству. Тепло и тихо было в его мастерской. Иногда заходил какой-нибудь солдат, глядел, смеялся, одобрительно хлопал по плечу и угощал вонючей сигареткой. Один раз в сопровождении Гаврилы и Беаты зашел сам комендант. Он тоже похлопал Кронида по плечу и угостил сигареткой. И потом что-то говорил Беате, а Гаврила стоял и хлопал ушами, переводя насторожившиеся черные глазки с Беаты на коменданта, с коменданта на Беату. Комендант и Гаврилу похлопал по плечу, а тот так и засиял весь, точно хвостом завилял от хозяйской ласки. Оказалось, что господин комендант решил размножить добрых и карающих немцев и установить эти картины в каждой деревне. И Кронид целый месяц малевал одно и то же. Хуже горькой редьки надоели ему розовые солдаты со швейными машинками, но...

Наконец, с этим было покончено. Наступил отдых. Не сладок он показался Крониду, скука осенней деревенской жизни одолела его, привыкшего к шумливой базарной сутолоке. Гаврила с Беатой жили наверху, в селе, при комендатуре. Это получилось не так, как хотелось бы Гавриле: он мечтал обосноваться в старом иноземцевском доме, хозяином которого он себя считал. Но там расположился продовольственный склад — и Гаврилины мечты лопнули. Однако время от времени, он хаживал туда, глядел, прикидывал, как будет там вскоре хозяйничать (не вечно же торчать немцам в Ямище!). Он как-то раз и Кронида водил туда, не удержался, захотелось похвастаться. Но ни дом, ни каменные амбары, ни табачная фабрика с ее трубами и корпусами — ничто, как есть, не тронуло, не поразило Кронида: — ему, бродяге, артисту, на все это хозяйственное великолепие было наплевать! Его занимало другое: как бы выбраться из оврага, из спиридонихиной избушки, где ему все так осточертело, что ночами хоть волком вой, даже сон пропал. Однако Гаврила приказал ему быть именно там. «Нечего тебе, братик, на народе при немцах без нужды околачиваться. И так уж ни к чему ты тогда, как щиты на выгоне ставили, патрет свой показал... покрасовался. Что тебе — плохо, что ль, у бабушки? В тепле, в сытости живешь, слава богу. Да и бабам спокойней — мужик все ж таки в хате...»

Сначала Кронид не понял, зачем понадобилось Гавриле держать его в некотором секрете, это выяснилось несколько позднее.

9.

Скука в овраге была невыносимая. Спиридониха, которая недели две не появлялась (ходила «в куски»), пришла наконец и оказалась злой и молчаливой ведьмой. Она весь свет ненавидела, один Гаврила какие-то ключи имел к ее сердцу — с ним она была довольно ласкова, о чем-то шепталась и даже хихикала. От Дарьи, между прочим, Кронид узнал, что лет сорок назад Спиридониха необычайной красоты была и при каком-то батюшке Епифании преподобном находилась в великой чести, ходила в богородицах. Кронид захохотал: «Хо'гоша бого'годица! Че'гт, а не бого'годица!» — «А ты, миленький, не черкайся! — испуганно сказала Дарья. — По нашей вере без богородицы нель-

зя...» — «Что ж это за ве'га ваша такая?» — спросил Кронид. «Ах, миленький! — Дарья прижала руки к груди.— Ничего ты у меня не спрашивай. Что я тебе скажу, коли сама я — козявка малая, и говорить-то об такой святости недостойна!»

Крониду было все равно, какая там у них вера — такая чепуха не очень-то занимала его. Но Дарья... Он внимательнее пригляделся к ней: довольно еще молода, красива, в теле. Озорные мысли стали одолевать его. Его жилистое, отдохнувшее на вольных харчах тело требовало женщины. Он было на Беату сперва поглядывал, но вовремя сообразил, что не по себе дерево гнет: там был Гаврила да еще и сам господин комендант, кажется. Там было мертвое дело, но Дарья...

Кронид, правда, понимал, что с червоточинкой она, что у нее, как говорится, «не все дома»: начитается Евангелия да такую околесицу понесет, что оторопь берет. А однажды довелось Крониду случайно увидеть просто даже форменную чертовщину. Поздно вечером как-то возвращался он из комендатуры, где весь день малевал своих немцев, Дождь, ветер, черный мрак были на дворе. Страшной, бездонной пропастью казался Спиридонихин овраг; какие-то звери, какие-то недобрые люди, затаившиеся в чаще орешника, чудились Крониду. Потный, облепленный грязью, с сильно бьющимся сердцем (от ходьбы, от страха) добрался он, наконец, до избы — и замер: сквозь сердитые, беспокойные вздохи ветра послышалось унылое пение. «Похоже, молятся, — прислушиваясь, подумал Кронид, — с чего это их разобрало?» Настороженное ухо уже и слова стало различать.

А мы, странники, пойдем,
К святому духу припадем, —

заунывно пели женщины.—

О, преславный, о, премилый,
Свет земного жития,
Голубенок сизокрылый,
Голубица я твоя!

Женщина вдруг взвизгнула тончайшим голоском, стала мелко-мелко, словно от щекотки, смеяться, задыхаясь, с шумом переводя дыхание, потом затопала ногами, побежала через избу — и вдруг такой отчаянный вопль раздался, что Кронид вздрогнул и отскочил от окна. Он больно

стукнулся плечом об мокрый ствол корявой яблони, выругался тихонько. И боль встряхнула его, вывела из тупого, навеянного страхом оцепенения. «К че'гтовой мате'ги!— сердито прошептал Кронид.— Вы там будете ансамбль песни и пляски уст'гаивать, а я тут мокни под дождем...»

— К че'гтовой мате'ги! — повторил он громко и решительно толкнул дверь. Она оказалась незапертой. Нарочно загремев щеколдой так, чтобы его услышали в избе, Кронид на секунду остановился в темных сенцах. Черта с два! В избе не слышали ни скрипа двери, ни грохота железной щеколды — там шаркали ногами по полу, вскрикивали, там продолжалась какая-то чертовщина. «Перепились! — мелькнуло в голове. — Ей-богу, перепились! Ай да бабка! Ай да Дашонка!» И мысль, что сейчас он очутится в пьяной компании, где, без сомнения, и ему кое-что перепадет, так развеселила его, что он уже без всякой осторожности ввалился в избу и закричал с порога:

— Эй, шевелись! Ходи веселей, бабенки!

Однако веселость его сразу оборвалась, сменилась недоумением. На секунду мелькнула в глазах пузырем раздувающаяся Дарьина юбка, белый, съехавший на плечи платок, растрепавшиеся косы, безумные, остекленевшие глаза — и вдруг все это исчезло, упало куда-то... С ужасом увидел Кронид валяющуюся у него в ногах Дарью. Она вся извивалась, целуя его грязные сапоги, косами обтирая с них желтую, вязкую глину.... А Спиридониха диким, страшным привидением застыла среди избы: без платка, с косматыми клочьями седых волос, с трясущейся головой, тяжело дыша, даже пошатываясь, стояла она, во все глаза глядя на Кронида, точно не узнавая его. И вдруг взвыла:

— Рассыпься, сатана! — и стала плевать, материться по-мужичьи. Потом кинулась к печке, схватила рогач, ударила по спине Дарью.

— Дура! — кричала она, колотя Дарью. — Дура шальная! Глянь, глянь, сука оглашенная, к кому припадаешь! Глянь!

Дарья вздрагивала, мотала головой и продолжала осыпать поцелуями Кронидовы сапоги.

— Дашенька! — опомнившись, сказал Кронид. — А, Дашенька!

Он нагнулся, взял ее под мышки, приподнял.

— Ах! — взглянув на Кронида, слабым голосом вос-

кликнула она. — Ах, господи боже мой... какой стыд! Какой стыд!

И, уткнувшись лицом в ладони, вся сжалась, как от удара, шатаясь, пошла к лавке, повалилась на нее и зарыдала.

10.

Как ни странно, но именно после этого случая Кронида особенно потянуло к Дарье. Из головы не выходила она, лежащая на полу, с разметанной по спине, полурасплетшейся косой. Повидал Кроня на своем веку баб, очень даже повидал, наизусть, можно сказать на зубок, выучил ихнюю породу, но Дарья изо всех была в особицу: строга и ласкова, смиренна и безумна. И то, что она не была такой, как все, особенно распаляло Кронида. Этому, конечно, способствовала и жизнь его, сытая, спокойная, лишенная каких бы то ни было забот. Но вот что непонятно было: к женщинам Кронид всегда подступал смело и решительно, с самым коротким предисловием. «С бабами как надо? — любил он говаривать своим дружкам-собутыльникам. — Куш! Да и все тут!» И объяснял, что «куш» — это по-французски «ложись» значит. Однако с Дарьей у него этого куша-то и не получалось: робел. И это тоже было в особицу и тоже распаляло. Ну, конечно, еще и Спиридониха мешалась: весь день, проклевав носом над прялкой, ночами ей, чертовой ведьме, видишь ли, не спалось! Все ворочалась на лавке, охала, кашляла, шептала что-то. Сколько раз пялил Кронид глаза во тьму, ждал, когда угомонится, затихнет проклятая старуха, да так, не дождавшись, и засыпал.

Но ведь сказано: жди и дождешься. Ушла однажды Спиридониха с ночевкой в соседнее село (зачем-то Гаврила ее туда послал), и Кронид остался наедине с Дарьей. И надо же случиться так, что перед вечером зашел Гаврила да и засиделся. Ни с того ни с сего взялся вдруг толковать с Кронидом о боге, о христианской любви к ближнему.

— Ах, братик! — видимо, сам себе умиляясь, говорил он.— Ведь он, человек-то, чем на сем свете дышит? Любовью, сладкий ты мой, милосердием... Вон тебя, к слову, товарищи твои кинули недугующего на дороге, а ведь я не проехал мимо, подобрал... А почему? Христос, братик, так мне велел!

«Вот сукин сын! — ухмылялся про себя Кронид. —

Христос ему велел! А того мальчишку-лейтенантишка немцам продать — тоже Христос велел?»

Он с тоской поглядывал на Гаврилу, ждал, когда же тот, наконец, уйдет, думал, как он ловко нынче подступится к Дарье, как начнет с ней печальный разговор о своей сиротской жизни (он решил сперва разжалобить Дарью), как она по-бабьи растает от его краснобайства, а он...

Но Гаврила сидел, разглагольствовал, сыпал евангельскими текстами, и казалось, конца не будет его пустословию. Дарья, порозовевшая, сияющая, вся подавшись вперед, слушала, затаив дыхание, не сводя с Гаврилы восторженного взгляда.

Наконец, уже около полуночи, Гаврила стал собираться.

— Господи батюшка! — крестясь на Гаврилу, как на икону, воскликнула Дарья.— Спасибо тебе, голубенок! Отогрел ты нынче мою душеньку, ей-право, отогрел!

— Ну, слава богу, сестренка! — так же крестясь на Дарью, сказал Гаврила. — Слава ему, показавшему нам свет...

— Батюшка, — застенчиво и робко спросила Дарья,— а когда ж возвеселиться-то благословишь? Когда к духу святому припадем?

— Ах, ты ж, сладкая моя! — Гаврила ласково обнял Дарью, погладил по голове. — Погоди, голубица моя... Как господь шепнет, так и минуточки не задержу... Ужо будет у нас с тобой, Дашенька, и дух свят, ужо и попируем, рыбонька... Не до того сейчас.

Боже мой, до чего же туп и темен был Кронид во всем, что касалось религии! Ни благоговейного восторга, ни молитвенного вдохновения — ничего не сумел он разглядеть в Дарье этим вечером. Едва захлопнулась дверь за Гаврилой, как горячая, бешеная кровь кинулась ему в голову, смешала все мысли, все его хитрые планы, оставив одно — неукротимое желание. «Вот сейчас, — молотом стучало в висках, — вот сейчас потушит она свет... и тогда...»

Искоса поглядывая на Дарью, дрожащими руками постелил он на полу свой войлок, скинул сапоги. Воровским взглядом видел, как Дарья сняла кофточку, подошла к столу и гулко дунула на лампу. Наступила темнота. Минут десять неподвижно, но весь содрогаясь внутри от звонких толчков обезумевшего сердца, лежал Кронид, остановившимися глазами глядел в темноту. Сверчок заскрипел, поехал в бесконечную дорогу на неподмазанной телеге... Кро-

нид словно бы сверчка дожидался: бесшумно вскочил с войлока, стараясь не скрипнуть половицей, подкрался к печке, стал на приступочек и голосом, охрипшим от волнения, позвал:

— Дашенька!

— А? Что? — сонно отозвалась Дарья.

— Дашенька! — скрипнул зубами Кронид. — Ягодка...

Протянув руки, он нащупал ее голову, плечи и уже ничего не говорил, а только дышал тяжело и прерывисто.

— Что ты, Христос с тобой... что ты! — испуганно шептала Дарья. — Да что же ты это придумал, миленький? О, господи! Грех-то какой...

Она не сопротивлялась, не отталкивала Кронида, лишь жалобно, тоненьким голоском охала. И эта ее покорность, этот жалобный голосок совсем лишили Кронида рассудка: забыв про то, что не на ровном месте стоит он, а на узеньком печном приступочке, Кронид сделал неосторожное движение и грохнулся на пол. Он больно ушибся, но, выругавшись, тотчас вскочил на ноги и снова кинулся к Дарье.

Однако на этот раз все вышло по-иному. Не успел он утвердиться на приступочке, как Дарья залепила ему такую оплеуху, что у него в ушах загудело. Чуть не плача от стыда, от обиды, ползком пробрался он на войлок и молча лег. Тихо, затаясь, лежал Кронид, морщась от боли, проклиная свою неловкость. Он почему-то и пошевелиться боялся и все прислушивался: а что Дарья? Неужто спит? Нет, она не спала, вздыхала, ворочалась.

— Даша! — жалобно сказал Кронид. — Что ж это ты этак... д'гаться?

Дарья тихонько засмеялась.

— Ишь ты, смешно ей! — раздраженно сказал Кронид.

— Да как же не смешно-то? Ты чисто конь лезешь, а он тебя за ногу: не лезь, значит!

— Постой, кто это — он?

— Кто, кто! Да батюшка...

«Фу ты, черт! — ворочаясь на жестком войлоке, подумал Кронид. — Сумасшедший дом какой-то...»

11.

Снег начался с вечера, и к утру его навалило по колено. Похоже было, что становится зима. В эту ночь на иноземцевском дворе был убит часовой и ограблен продовольст-

венный склад. В эту же ночь неподалеку от Ямища, на шоссе, неизвестные люди совершили нападение на застрявшую в снегу немецкую грузовую машину. Груз (боеприпасы) был похищен, шофер и четверо солдат перебиты. Страшное слово «партизаны» переставало быть только отвлеченным понятием, словом, оно облекалось в беспощадную плоть.

Господин комендант приказал пустить по следам ученых собак, но какие же следы, когда все оказалось заваленным снегом, чистота и белизна были кругом. Собаки нервно повизгивали, рыли лапами снег, фыркали, но след так и не взяли. Господин Анке (так звали коменданта) вызвал Гаврилу с Беатой и долго о чем-то с ними говорил.

А снег все валил, в густой белой мгле потонули село и лес, в пяти шагах невозможно было разглядеть человека. По приказанию господина Анке возле складов и комендатуры, где помещался он сам, были удвоены караулы. И тем не менее, ночь не обошлась без происшествий: пропали двое стоявших возле бензохранилища часовых; вместе с ними исчезли и четыре бочки керосина. И опять, как и в прошлую ночь, снег замел все следы.

Господин Анке растерялся. В конце концов, что ж вы хотите? Для человека, всю жизнь преподававшего в гимназии чистописание и вдруг влипшего в такую переделку в стране, где нет приличных дорог, где — лес и снег, где люди, видимо, не желают подчиняться победителям, это, разумеется, очень трудное испытание. До сих пор он знал о партизанах лишь по официальным сводкам и по той серенькой пропагандистской литературе, которой военное министерство снабжало армию. И, если говорить откровенно, господин Анке не очень-то доверял всей этой писанине: он считал, что господа из министерства, говоря о партизанах, умышленно сгущают краски, этим самым ожесточая армию, так сказать, накаляя ее ненависть к неприятелю. В самом деле, почти два месяца в Ямище стояла тишь да гладь, оккупационная машина, казалось, была идеально налажена, работала четко, без перебоев — и вдруг...

Господин Анке снова вызвал Гаврилу с Беатой.

Наконец снегопад утих. И вот засияло ослепительной красоты утро; радостное, ликующее взошло солнце и, щедро кидая золотые, розовые и оранжевые краски, осветило торчащие из-под голубых снежных сугробов обгорелые

печи, скелеты брошенных машин и орудий, закоченевшие трупы людей и животных и массу волчьих и лисьих следов, испещривших застывшие волны снега.

В такое отличное утро Гаврила постучал в запушенное инеем окошко Спиридонихиной избы и крикнул:

— Живые, деточки?

Он вошел, бодро крякая, потирая озябшие руки. Как всегда, перецеловался с Дарьей и Кронидом, мелкими крестиками помахал перед носом у обоих, спросил про Спиридониху и, узнав, что нет, не приходила еще бабушка, покачал головой:

— Экая старушка моторная! Ведь так и замерзнет на дороге, ей-право, замерзнет! Что ты с ней будешь делать... Послал на депек, а она, глянь-ка, четвертые сутки странствует...

Дарья стала хлопотать с завтраком, вынула из печи картошку, нарезала сало. Кронид молча водил кистью по большому прибитому гвоздиками к стенке старому брезенту. Ему наскучило сидеть без дела, и он решил нарисовать и подарить Дарье ковер. Гаврила с любопытством разглядывал Кронидово рукоделье: на сером запачканном брезенте расцветала радужная заря, плавали белые лебеди, ядовито-зеленая лужайка пестрела пышными цветами; одинокая дева с распущенными вороными волосами, с гитарой в толстых обнаженных руках в мечтательной позе сидела на травке.

— Что ж это будет? — спросил Гаврила. — Ковер? Ах, ты ж, сладкий ты мой! Вот ведь, воистину, умудрит господь, так умудрит! Да с таким товаром ежели по деревням пройти, так у тебя, братик, ковры эти бабенки с руками, — слышь ли? — с руками оторвут! Ну, послал мне тебя господь, ей-право, послал...

Кронид так и сиял. Какой художник не встрепенется от похвалы? Всей душой к льстецу не потянется? Кронид распетушился, расхвастался, стал рассказывать, что он не только деву может написать — это ему как кобелю муху проглотить, — но и трех богатырей, и Чапая на коне, и медведей в лесу, и лодочное катанье с гармонистом... И пока завтракали, он все вспоминал про свою былую славу, про тысячные заработки, про то, как сладко, богато жил, как одевался, какой почет ему был ото всех... Кронид врал и сам верил своему вранью, и ему было приятно, что Гаврила внимательно слушает его, изумленно восплескивает ру-

ками, ахает, что Дарья с улыбкой, ласково поглядывает на него. После той ночи ни она, ни он не заикались о случившемся, однако какая-то отчужденность сквозила в их отношениях, в ее как бы осуждающих взглядах, в печальных вздохах. А вот сейчас... и Кронид врал еще ярче, еще вдохновенней.

После завтрака Гаврила встал, помолился, опять покрестил Кронида с Дарьей и стал одеваться. Уже держась за ручку двери, он как будто бы задумался на мгновение и сказал:

— А ну-ка уберись, Кроня, проводи, братик, маленько. Дельце есть до тебя.

Они вышли из избы. Солнце уже высоко стояло, и свежий снег сверкал нестерпимо, глазам от него делалось больно. В чаще орешника, в овраге, надрывалась, горланила ворона.

Кронид приготовился было идти за Гаврилой в село и обрадовался этому, но тот завернул за избу, где, занесенные снегом, лежали толстые березовые кругляши да бог весть с каких пор брошенная, прислоненная к стене избы торчала деревянная дедовская борона. Полой полушубка Гаврила смахнул с бревна снег и сел.

— В ногах правды нету, — сказал он, — садись, братик. Разговору у нас с тобой — пустяк, на минуту. Мне тебя в гитлеровскую веру не крестить, ты и так крещеный... — Гаврила тоненько засмеялся. — Пришел, Кроня, твой час... Не разумеешь? Поясню: послужить, детка, герману требуется, вот что... Не художеством, нет, а как бы это половчей сказать... дипломацыей, чуешь?

12.

Вторую неделю ходит Кронид от деревни к деревне, «служит герману дипломацыей». В чем же заключается эта служба?

Вот появляется он в какой-нибудь Терновке или Лимановке и первым делом на видном месте развешивает ковры. Их у него теперь штуки три-четыре всегда наготове. Ну, конечно, дело деревенское, скука, не успеет оглянуться — возле Кронида десятка два баб, ребятишек, кое-кто из стариков даже. Дивуются на яркие краски, на толстомясых красавиц, на тигров, на мчащегося в сизом дыму Чапаева. Слово за словом, завязывается разговор. Все хва-

лят живописца, но и жалеют: очень уж оборван да тощ, видно, не сладко при немцах-то...

Кронид крепко вошел в роль нищего художника, которого вконец разорил проклятый герман, лишил дома, семьи («все в огне пого'гели!»), заставил вот так в сивер, в стужу ходить, возле чужих людей кормиться...

— Милые бабочки! — со слезами на глазах восклицал Кронид. — Знаю, цыпоньки, и у вас зат'гуднительное положение и, возможная вещь, детки куска недоедают... Но ведь и мне, до'гогие г'гажданочки, не погибать же подобно мухе! Ведь имейте в виду, не какой-нибудь жулик, поби'-гушка, а советский художник! За любой кове'г п'гошу, сколько дадите, хоть зада'гом бе'гите, только б п'гоко'гмиться возле вас, г'асп'гек'гасные мои бабочки!

И хотя, действительно, не такое было время, чтобы ковры покупать, но прельщало изображение на них, да и сам живописец возбуждал жалость — посиневшее от холода лицо, рваная телогрейка, окоченевшие, засунутые в рукава руки — и всегда находилась какая-нибудь сердобольная, которая или покупала ковер, или звала к себе в избу пожить день, два, сколько поживется. Тут-то, собственно, и начиналась Кронидова «служба».

— Нюхай и нюхай! — сказал ему тогда за избой Гаврила. — Как тот кобель, братик, нюхай... где чем дышут, не прячется ли у кого мужик в лесу... Нам бы хоть кончик ухватить, а там и всю шпульку размотаем!

И Кронид нюхал. В тех избах, где случалось ночевать, он прислушивался к разговорам хозяев и их соседей, подглядывал в сараи и чуланы, затевал провокационные разговоры с детьми. Удивительно скоро вошел он в эту незавидную роль, втянулся в свои подлейшие обязанности и, втянувшись, старательно исполнял их, «служил герману». Сперва, правда, одолевала, грызла назойливая мысль, что как бы не пришлось ответить за такую службу, ибо это уже не картинки малевать, а то самое, за что два столба с перекладиной наверняка. Но так далеко ушли советские войска и так могуществен казался герман, что тревога заглохла и даже сменилась надеждой на великие милости и награды от господина Анке, если удастся напасть на след. Однако шли дни, недели, а «кончик» все не находился, шпулька не разматывалась.

Наконец все-таки наметилось что-то похожее на дело. Однажды заночевал Кронид в маленьком хуторке Высоком.

И верно, так высоко забрались на обрыв, так немыслимо, к самому краю кручи прилепились десятка два убогих избушек, что, глядя на них снизу, страшно делалось: ну как сорвутся. Сразу же за огородами начинался лес; по глубоким логам и буеракам тянулся он километров на двадцать, где-то возле Ямища соединяясь с Максимовой Балкой.

Все деревни в округе не очень-то были многолюдны, но хутор Высокий особенно поражал своим мертвым запустением. Некоторые избы стояли с заколоченными дверями, с полуразвалившимися крышами; иные страшно, как слепцы, зияли черными дырами выбитых окон. Два-три занесенных снегом пожарища торчали уродливыми развалинами печей, голенастыми раскоряками обгоревших деревьев.

«Мрачная картина, — подумал Кронид. — Кладбище, а не деревня...» Солнце клонилось к вечеру, на него все чаще и чаще набегали сизоватые облачка, подул холодный ветер, по плохо наезженной дороге зашипели, поползли длинные белые змеи поземки.

Из конца в конец прошел Кронид улицу, не встретив ни единой живой души. «Вот так номерок! — оробел злополучный живописец. — Черт бы побрал Гаврилу с его дипломацыей! Куда идти? Где до утра голову приклонить?»

Дорога убегала в лес, иного пути не было. Но легкое ли дело, на ночь глядя, переть в эти молчаливые, мрачные дебри... Казалось, что старые, стоящие стражей на опушке корявые дубы перешептываются между собой о чем-то. Казалось, что у них и уши есть, и глаза, что вот услышали, идет чужой человек — и разом все обернулись, стали из-под нахмуренных сучьев глядеть на Кронида: зачем, дескать, пришел, Полушка, копеечная душа, чего тебе тут надобно? Вот мы тебя — волками, лешими, страхами ночными! Вот мы тебя, шутоломного!

И хотя Кронид отчетливо понимал, что такая чертовщина — только фантазия, игра воображения, он все равно никак не мог отделаться от неприятного ощущения на себе чьего-то внимательного и недружелюбного взгляда. Пожалуй, еще минута — и он побежал бы назад, неизвестно куда, только бы прочь, подальше от страшного леса... Но вдруг ему явственно послышался стук топора где-то недалеко, за деревьями; налетевший порыв ветра принес запах дыма. «Слава тебе, господи! — облегченно вздохнул Кронид. — Раз дым, значит — люди...» Он зашагал по лес-

ной дороге и, пройдя метров двести, увидел обнесенный слегами огород с рыжими, торчащими из-под снега сухими будылками кукурузы и чистенький, опрятный домик лесного кордона. Похожий на волка пес с хриплым лаем кинулся с крыльца, Кронид завертелся, отбиваясь от него свернутыми в трубку коврами. В ту же минуту из дома выбежала женщина, отогнала свирепого пса и, разглядев Кронида, удивленно воскликнула:

— О! Да никак живописец?

Кронид узнал ее: дня три назад, когда он околачивался в соседнем большом селе, эта женщина купила у него ковер со скачущим на белом коне Чапаевым.

В избе было тепло, чисто, славно пахло свежим печеным хлебом, щами и мятой. Над кроватью висел Кронидов ковер. Мальчик лет двенадцати пришел со двора с топором, неприязненно, исподлобья поглядел на Кронида.

— Ничего, Витя, — улыбнулась мать, — это дядя, какой нам Чапая на коне нарисовал... Видишь ты,— обратилась она к Крониду, — одни, на отшибе живем, всего опасаемся. Ох, времячко! Ну, садись, милый, щец тебе налью, проголодался, небось...

— Где же у вас на'род-то? — спросил Кронид.

— Да так, — вздохнула хозяйка, — кто на войне, кто где...

— А твой?

— Да и мой тоже, где все, — уклончиво, как показалось Крониду, ответила лесничиха.

Спать легли рано. «Все равно керосину нету, — сказала хозяйка, — хочешь не хочешь — вместе с курями ложимся». Кронид уморился, промерз за день и охотно залез на теплую печь. Лесничиха с мальчиком устроились на кровати. В избе стало тихо, сонно; ветер погуливал за стеной, глухо гудел в лесу, скулил по-щенячьи в трубе. Но сон почему-то не шел к Крониду. Он тихонько лежал на печке и все прислушивался. Обезлюдевший хутор, уклончивые ответы хозяйки, неприязненный взгляд мальчика не выходили из головы. «Чуть ли не напал на след, — размышлял Кронид, — чуть ли не в самое логово врезался...» Это и радовало и беспокоило его. Начиналась «дипломацыя», на которой, по правде-то говоря, и шею очень даже просто было свернуть. Кронид притворился спящим, засопел, всхрапывать начал. И только он этак несколько раз всхрапнул, как скрипнула кровать, хозяйка, крадучись, вы-

шла в сени. Слышно было, как она осторожно отодвинула дверную задвижку, потопталась, похрустывая снегом, на крыльце и так же тихонько вернулась назад. Проходя мимо печки, лесничиха остановилась, прислушалась. Кронид всхрапнул и ровно, глубоко засопел, даже губами причмокнул. Хозяйка легла, но не прошло и двадцати минут, как она снова вскочила и выбежала на крыльцо. Было похоже, что она ждет кого-то, пожалуй, в этом теперь даже и сомневаться не приходилось. Крониду жарко сделалось при догадке — кого именно она ждет. Он уже представил себе, как вернется с важным донесением в Ямище, как доложит обо всем самому господину Анке... Не Гавриле, черт его побери, а именно самому коменданту. Хватит длинновязому чужими руками жар-то загребать! Опять мелькнула мысль: а ведь за это — петля! «Да ну-ка! — не открывая глаз, усмехнулся Кронид.— Поди уж Москву взял герман-то...» Вдруг какая-то странная возня послышалась у крыльца: собака тяжело прыгала, повизгивала радостно. Тотчас лесничиха вскочила с кровати, босиком кинулась в сени. «Живы?» — спросил кто-то могучим басом и сразу затих, замолчал. Затем в избу вошла лесничиха с ночным гостем. Из-за печного выступа Крониду никак не удавалось разглядеть пришельца, но зато шепот был отлично слышен. Кронид пуще прежнего захрапел.

— Ох, Матюша! — жалобно вздохнула лесничиха. — Покормить бы тебя, да боюсь, как бы прохожего не потревожить...

— Ладно, обойдемся, — прогудел невидимый Матюша. — Что за человек?

— Да живописец, вот я у него намедни Чапая-то купила...

— А! Ну, шут с ним, нехай спит. — Матюша помолчал. — Значит, Груня, завтра же сбирайся... Забей хату, чума с ней. А то досидишься тут.

— Ох, и не говори! Я уж было вчерась хотела, да потом раздумалась, жалко все ж таки избу бросать...

— Жалко, жалко! Да нешто своя-то жизнь не дороже? Об Витьке тоже подумать надо.

— Да об Витьке уж и говорить нечего, так боюсь за него, так боюсь!

— А вчера хорошо сделала, что не пошла, — усмехнулся Матюша.— На пустое место припожаловала бы...

— О! Нето ушли с Глушицы?

— Ушли. Да ведь она, Глушица-то, пока временно была у нас. Там весной все затопит, не пройдешь, комарь заест. А на Могилище сейчас отстроились — первый сорт. Баня даже есть, вот как! — он тихо рассмеялся. — Так что ты завтра прямо туда шагай, я тебя на дороге у Плотникова кордона встрену. Лады?

— Ну, так, так-так, — сказала лесничиха. — Витька-то обрадуется, он мне всю голову продолбил: пойдем да пойдем!

Они еще немного пошептались, но это были уже неинтересные разговоры, все больше об хозяйстве. Затем скрипнула дверь, громыхнула задвижка; опять, играя с хозяином, запрыгала, завизжала собака. Лесничиха вернулась в избу, постояла, прислушалась к храпу Кронида и, тяжело вздохнув, легла. И все затихло.

13.

Кронид твердо решил обойтись без Гаврилина посредничества, самому, так сказать, снять пенки. Вернувшись в Ямище, он прямо с ходу пошел в комендатуру и был на пороге перехвачен Гаврилой.

— А, братик! С приездом, стало быть! Долго, долго, странствовал... Мы уж, признаться, погоревали, не случилось ли, мол, чего. Ну, давай, заходи, выкладывай.

Кронид стал хитрить, изворачиваться, сказал, что понапрасну две недели прошлялся, хватил и холоду и голоду, да все без толку...

— Так-так-так, — сочувственно кивал Гаврила, — ах, ты ж, головка горькая... Задарма, выходит, только щиблеты трепал!

Он и вздыхал, и чмокал, и руками разводил, словом, минут пять прикидывался простотой, валял дурака. А когда Кронид уже считал, что обвел длинновязого вокруг пальца, Гаврила вдруг обнял его, нагнулся к самому уху и шепнул:

— А ведь я тебя, дурашка, наскрозь вижу!

— Чего это — вижу? — покосился Кронид.

— Да того самого. Самолично соображаешь коменданту донесть. Что, не так?

Кронид смешался.

— Прост ты, Кроня, — ласково сказал Гаврила. — Врать-то, братик, тоже умеючи надо... Я к тебе, как к род-

ному, с любовью... Вспомни-ка, вспомни, кто тебя, недугующего, на дороге-то подобрал? А? Ну, да я не обидчив, бог с тобой. Я для твоей же пользы стараюсь, дурашка... Давай, голубь, давай, выкладывай, чего унюхал!

И Кронид все рассказал. Оказалось, что хутор Высокий давно был на подозрении. И лесничиху знали и собирались, как выразился Гаврила, «маленько пощупать». Ведьма-Спиридониха тоже, значит, в куски-то неспроста хаживала, тоже справляла свою «дипломацыю». Но ее убогая разведка ни в какое сравнение с Кронидовой не шла: шутка сказать, чего разнюхал — Могилище! Точный адрес позволял развернуть карательную операцию не вслепую, а наверняка, с блеском, с расчетом на полную удачу.

— Ну, Кроня! — восхищенно воскликнул Гаврила.— Вот это послужил, так послужил! За такое дело, прямо-таки сказать, орден тебе надо! А что не сам, значится, лично доложишь по начальству, так об этом не горюй, тебе же выгода: в случае чего — твоя хата с краю, ты, как говорится, в сторонке.

— Это в каком же таком случае? — притворился Кронид.

— В каком, в каком! — оглянувшись, с досадой сказал Гаврила. — В таком, что, слышно, накостыляли герману под Москвой-то... Ну, ты про это — молчок, дело секретное...

«А ведь и верно, — подумал Кронид, — ну ее на хрен, эту дипломацыю! Живу, слава богу, сыт, пьян, нос в табаке... Вот бы Дашку только уломать, так лучше бы и не надо...»

Первое время после своего похода с коврами он, действительно, жил в сторонке, ни в какие такие дела не мешаясь. Через Гаврилу слышал об успешных действиях карателей на лесном озере Могилище. Там был форменный бой, и хоть карателей основательно пощипали, все же и партизанам досталось, с большими потерями вышли они из окружения. А весной Гаврила снова наладил Кронида «нюхать» по деревням, и снова Кронид развешивал на улицах свои ковры, приглядывался, прислушивался и потом доносил. Как человек не злой, он очень тяготился своей ролью. Да кроме того, деды правильную поговорку сложили: сколь веревочке ни виться, кончик будет. Когда-нибудь и Кронидовой торговле настанет конец, поймут люди в одно прекрасное время, раскусят, чем он, собственно, торгу-

ет. И уж тогда пощады не жди: убьют. Выходило: куда ни кинь, всюду — клин, продолжаться так долго не могло. Кронид стал жить в вечном напряжении, в вечном страхе. Когда раз как-то Гаврила вздумал за поллитровкой пошутить насчет Кронидовых «крестников», выпить, что ли, предложил за упокой их душ, Кронид озверел, кинулся на Гаврилу, затопал ногами, закричал:

— Ты, сволочь, не путай меня в эти ваши дела, я вас знать не знаю!

Гаврила насилу успокоил дрожащего, плачущего Кронида, стакан за стаканом стал наливать ему, и все тем кончилось, что Кронид замертво свалился под стол и дня три никак не мог прийти в себя. Пить он стал теперь до сшибачки и, верно, спился бы до смерти, да события обернулись так, что волей-неволей пришлось остановиться. Тайное делалось явным: немцы уже не могли скрывать своих поражений, пошли разговоры об отступлении. И летом сорок третьего года оно началось.

Недели за две до этого рокового дня Гаврила зашел проведать Спиридониху. Житейская тропка старухи, видимо, подходила к концу — вот уже около месяца лежала она пластом, молча, не жалуясь ни на какую боль. Страшен был взгляд ее мутных, омертвелых глаз, взгляд, как бы устремленный туда, в те загробные ужасы, куда ей, по ее вере, приближалась пора уйти...

Гаврила сидел хмурый, задумчивый, без обычного балагурства: утром господин Анке сообщил ему убийственную новость о готовящемся отступлении. Немец, правда, объяснял этот шаг какой-то мудреной и даже гениальной стратегией великого фюрера, но Гаврила отлично понимал подлинный смысл этой «стратегии». Рушилось все, на что он надеялся, за что цеплялся, верой и правдой служа господину Анке. Будущее неумолимо надвигалось и было зловеще и темно.

Два года Гаврила не вспоминал о боге, он был ему совершенно не нужен. Напрасно Дарья и кое-кто из уцелевших епифаньевцев со слезами на глазах просили его собрать «вечерушку», «возвеселиться», как они говорили, он все отвиливал, туманно намекал, что не время, что знака ждет. Ему смешно думать было о каких-то нелепых сборищах, о каком-то святом духе, когда речь шла об уничтожении ненавистной ему советской жизни и о восстановлении той, которую он терпеливо ждал столько лет. На свое

«архангельство» он смотрел как на перевернутую страницу жизни. Листать назад не хотелось. И все-таки.. все-таки приходилось опять возвращаться к тому же: хорониться за богом и снова ждать... Беатушка уверяла, что они пойдут в отступление вместе с гитлеровской армией, что господин Анке их не оставит, но Гаврила не верил в обещания господина Анке, очень-то они с Беатушкой ему нужны!

Когда, посидев немного возле умирающей Спиридонихи, Гаврила собрался уходить, старуха зашевелилась, поманила его к себе и что-то невнятно шепнула.

— Ладно, бабушка, — сказал Гаврила, — сделаем. Сделаем, мати...

И тут же послал Дарью собирать «божьих людей». А вечером Кронид, которому Гаврила позволил остаться в избе, сидел, онемев от изумления, ошалело глядя, как скачут и рыдают с десяток отощавших баб, как хлопается об пол Дарья, что-то из толстой, черной книги исступленно выкликает Гаврила... Вот тут и вспомнил Кронид, как Дарья обмолвилась однажды о какой-то таинственной вере, и тот непогожий осенний вечер вспомнил, когда она кружилась со Спиридонихой, а потом кинулась ему в ноги, очевидно, приняв его за Гаврилу. И чудно́ и страшно было ему глядеть на скаканье обезумевших баб, слушать их звериные вопли, но еще чуднее было видеть Гаврилу — старосту, правую руку господина Анке — за таким немыслимым занятием.

Однако, когда все кончилось и «божьи люди» стали расходиться, оставляя на столе кто деньги, кто яйца, кто рамку меда, Кронид смекнул, что тут, кажется, дело не без выгоды. Но почему же до сих пор, за те два года, что прожил он бок о бок с Гаврилой, почему до сих пор ни разу вот так не собиралась и не молилась его паства? Он хотел об этом спросить самого Гаврилу, но не решился, подумал: «А мне-то что, в самом деле! Меня все равно ни в какую веру не загонишь... Разве только из-за Дашки как-нибудь посигать с ними...»

14.

Утро следующего дня выдалось тихое, погожее, с каким-то нежным серебристым туманом. И хоть до осени еще было далеко, солнышко сквозь этот легчайший туман пригревало ласково, осторожно, словно бы по-осеннему. В та-

ком сиянии, в такой тишине невозможно было представить себе, что где-то, в самом сердце России, гремит война, что на сотни верст на восток по обочинам дорог валяются неприбранные трупы людей и машин, а сами дороги пролегают среди дымящихся или давно потухших пожарищ...

Кронид сидел на завалинке, грелся, закрыв глаза, наслаждаясь покоем. Чудесно это было — сидеть так, слушать, как иволга, словно на жалейке, распевает простецкую песенку, как сонно бормочут на крыше голуби, как где-то наверху, в селе, пиликает губная гармошка один и тот же плясовой мотивчик... И вдруг, покрывая все эти мирные звуки, очень далеко, глухо и грозно прогремел гром. Кронид открыл глаза. Небо сияло, туман рассеялся, солнце палило вовсю. Странный звук повторился еще и еще. «Да ведь это пушки! — ахнул Кронид. — Вот так номер!»

— Слыхал? — раздался негромкий голос. Кронид обернулся. На тропинке стоял Гаврила и, подняв палец, тоже, видно, прислушивался.

— Помнишь, что я вчерась читал-то? — садясь рядом с Кронидом, прищурился Гаврила. — «Зверь, мол, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города...» А? Помнишь? Зверь! Спросишь — какой? Там под конец и это говорится: «Кто, дескать, имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его — шестьсот шестьдесят шесть...» Понял, братик, ай нет?

— Сказать по совести, Гаврила Тихоныч, — засмеялся Кронид, — ни хрена я в этой вашей арифметике не разбираюсь.

— Эх, Кроня! — задушевно сказал Гаврила. — Тут, братик, и разбираться нечего: идет Советская власть домой, хочет нас с тобой обратно к ногтю прижать... вот те и вся арифметика. Вопрос другой, — помолчав, продолжал он, — какая теперчи наша с тобой должность будет? Как бы не вспомнили нам «крестников» наших, а? Как ты на этот счет соображаешь?

Кронид пожал плечами.

— А мне что? Вы же сами говорили, что я — в сторонке.

— Да так-то так. Для народа ты, действительно, вроде бы и ни при чем. Тут вот беда: он, герман-то, аккуратист, у него на каждую муху — карточка. Стало быть, и на

нас с тобой есть, — вздохнул Гаврила. — Ну как попадут эти карточки советским-то.

— Что ж теперь делать? — Кронид почувствовал какую-то неприятную тяжесть в животе. — Бежать надо, а?

— Э, братик, погоди, бог не без милости, может, еще и герман поднажмет... Я ведь что к тебе приплелся-то, — хлопнув по плечу Кронида, сказал Гаврила. — Заказец есть. Лично для меня. Как, Кроня, уважишь?

Он вынул из потрепанного бумажника крохотную фотографию.

— Знакомая личность? Мастаки эти немцы карточки сымать!

Фотография, действительно, была очень хороша. Гаврила глядел, как живой. Особенно глаза поражали — крохотные, юркие зверьки, глубоко запрятавшиеся, настороженные.

— А вот тебе матерьяльчик, — Гаврила подал Крониду свернутую в трубку плотную ткань. — Клеенка немецкая, ей износу нет... Теперь слушай, значится, будешь меня так изображать: голова, как на карточке, обыкновенно, моя, а все остальное обмундирование — вот...

Из того же бумажника Гаврила извлек свернутый вчетверо пожелтевший, видимо, вырванный из какой-то старой книги лист с изображением Христа-пастыря.

— Все как есть малюй: и ягночка на ручках, и ножки босые, и хламидку...

Кронид засмеялся.

— Что это вам такая фантазия пришла? В царское время за подобные штучки, говорят, на каторгу упекали.

— Ну, так то в царское, — подмигнул Гаврила. — А ты, братик, зубы-то спрячь, не ощеряйся. Напишешь — вознагражу, останешься доволен. По рукам, что ли?

— Давайте, — сказал Кронид, — все равно делать нечего. Но вы же, Гаврила Тихоныч, в случае чего, если бежать, глядите, меня не бросьте.

— Молчи, не дыши, — сказал Гаврила. — Один раз подобрал — и другой не оставлю.

Икона была написана. Кронид изо всех сил старался угодить Гавриле и даже маленько хватил от себя: вокруг головы пустил лучи, которые, впрочем, заказчику особенно понравились.

Гонорар пропивали вместе.

15.

Господин Анке сказал Беате:

— Для вас, милейшая фрау Вернер, я выделяю машину, — он заглянул в какой-то листок, — ноль-ноль тридцать четыре семнадцать. На нее, правда, будет коечто погружено из аппаратуры связи, но... война есть война, придется смириться с некоторыми неудобствами. Габриль вместе с вами? — глянул он из-под очков.

— Конечно, — сказала Беата, — он просит также взять и его сестру.

Анке поморщился.

«На черта, действительно, мы берем эту сумасшедшую Дашку?» — подумала Беата.

— Когда же, господин Анке? — спросила она.

— О, не так скоро, не так скоро... И позвольте вам сказать, милейшая фрау, что план этого гениального маневра будет выполняться совершенно спокойно... тик-так! — Анке сухо рассмеялся и постучал указательным пальцем по циферблату ручных часов.

Но ни спокойствия, ни обещанного «тик-така» не получилось. Бросок советских войск на этом участке фронта был так неожидан и стремителен, что все расписание господина Анке полетело к чертям.

Перед рассветом в Спиридонихину хибарку ворвался задыхающийся Гаврила. Он растолкал Дарью, хрипло крикнул: «Живо! Живо, сестренка!» — и, схватив ее, сонную, ничего не соображающую, за руку, убежал. Спиридониха приподнялась на лавке, замычала что-то, но Гаврила уже был за порогом.

Стояла душная, испещренная беззвучными молниями ночь. Кронид ушел спать наружу, под вяз. Расстелив войлок на том самом месте, где двадцать лет тому назад был закопан Игнат, он сразу же заснул, точно в черную яму провалился. Иногда сквозь сон слышалось ему завывание моторов, какой-то неясный гул; сквозь сон подумал он, что как бы не пошел дождь. Но так хорошо обвевало ветерком, так сладко было спать! Вдруг он почувствовал, что что-то больно тычет его в живот. Он вскочил, протер глаза. В смутном предрассветном сумраке увидел он над собой что-то страшное, похожее на бредовый сон — какое-то подобие человека или зверя. Оно стояло на четвереньках, тыкало в него палкой и дико, по-собачьи, скулило.

Кронид вскрикнул в ужасе и вскочил. То, что так напугало его, оказалось Спиридонихой. Не в силах, видимо, стоять на ногах, она ползала, выла и все указывала палкой туда, в сторону села, где захлебывались, рычали и грохотали моторы. Там что-то творилось неладное. Кронид кинулся в избу — она была пуста. «Даша!» — крикнул он. Ему никто не ответил. Страшная догадка, точно обухом, ударила его по голове.

— А-а! — крикнул он.— Бросили!

Распахнутая дверь вырезалась светлым серым прямоугольником. По лопухам звонко стучал дождь. Нестерпимо страшно сделалось Крониду. Взвизгнув, он бросился из избы. На пороге в него вцепилась Спиридониха: она обхватила его ноги, корчилась и все выла, выла... В ужасе Кронид неловко отпихнул ее ногой и, не удержавшись, упал сам. Проклятая старуха не отпускала, точно впилась в него. Ему пришлось ударить ее кулаком, ногой, еще кулаком. Он бил с ожесточением, кричал что-то. Наконец Спиридониха отвалилась. Кронид вскочил и, припадая сильнее, чем всегда, на свою короткую ногу, побежал. «Про «крестников» никто не знает, — лихорадочно соображал он, — знают про картинки... С них и начнется... А потом и до «крестников» дойдет! Петля! Петля!»

На площади возле комендатуры был ад кромешный. Огромные штабные и санитарные автобусы, тягачи с орудиями, обезумевшие мотоциклисты, ревущие грузовики... И всюду — солдаты, солдаты, солдаты...

На одном из грузовиков мелькнуло что-то белое.

— Даша! — крикнул Кронид. — Гаврила Тихоныч!

Чуть не попав под разворачивающийся автобус, он кинулся туда, к тому грузовику, на котором мелькнуло белое. Какой-то солдат с огромным белым узлом в руках, перегнувшись через борт, замахнулся на Кронида автоматом. Кронид отскочил, споткнулся, упал, закрывая голову руками. Потом снова вскочил, побежал в самую гущу машин, через силу волоча больную ногу. Он очутился перед машиной, доверху нагруженной какими-то ящиками, тюками. На груде этих вещей сидели Гаврила и Дарья, из окна кабины выглядывала Беата. Сердито урча, машина старалась выбраться на дорогу. Ухватившись за борт, Кронид подпрыгнул, повис, хотел подтянуться на руках, но из-за тюка неожиданно вырос солдат в рогатой каске. Он ударил сапогом в лицо Кронида, и тот тяжелым мешком

плюхнулся наземь. Последнее, что блеснуло в его сознании, был пронзительный Дарьин крик. Взвившись ослепительно-красной ракетой, крик улетел в тяжелые, грязные облака. И замер.

Через полчаса площадь опустела. Дождь, холодный, чистый, как слеза, ливмя лил, старательно смывая кровь с разбитого Кронидова лица. Серое, серое было небо, серый песок на дороге, серая, страшная, одинокая жизнь. Кронид открыл глаза и заплакал.

Он даже подняться был не в силах, так, лежа, и плакал.

---

6. ЧЕРТОВ ЛОГ



«Как-то их диявол научил: жива человека закопай в землю!»

Аввакум. Письма к Симеону.

1.

У самой реки Чертов лог был особенно глубок и крут. Весенние воды изрезали его огромными обвалами и оползнями. В иных местах глинистая круча отвесно уходила в черную, крутящуюся небольшими бурунчиками воду, на поверхности которой, как в заколдованном кругу, вечно плавали, крутились на месте желтовато-грязные клочья

пены, опавшие листья, обрывки скошенных где-то в верхнем течении водорослей. Здесь постоянно было безлюдно и тихо. Купаться почему-то побаивались, а для гулянья берега не годились: правый стеной опускался в бездонную глубь, а левый весь хлюпал болотами и мочажинами, над которыми толклись непробойные тучи комаров и мошкары.

Впрочем, среди этой, на первый взгляд, непролазной топи вилась еле заметная, похожая на звериную, тропка. Там, где под ногами начинала чавкать вода, тропка вдруг обрывалась, но стоило оглядеться — и становилось ясно: путь через болото шел по кочкам, и те, по которым ходили, отличались от множества остальных сухим блеском рыжей, притоптанной травы. Такая звериная тропа неожиданно приводила к довольно широкому разводью, и тут оказывалось, что не зверь протоптал хитрую тропу, а люди: через водяное окно лежали длинные жерди.

Про Чертов лог худая слава шла с незапамятных времен, шла и в своей дремучей давности связывалась с именем знаменитого разбойника Чертова, будто бы хоронившегося здесь от полицейских стражников. Говорили и про великие клады, какие были им тут закопаны, и про запретное заклятье, будто бы наложенное страшным разбойником на захороненные богатства. Но мало ли чего не плелось в те глухие времена, когда длинный зимний вечер коротался при робком огоньке масляного каганца или прадедовской лучины... Нынче едва ли кто слыхивал про эти старые сказки, одно названье осталось от разбойника, да и то уже понималось не по его фамилии, а по слову «черт», что вовсе было глупейшей несообразностью и звучало как насмешка. Ведь неузнаваемо преобразилась местность: в верховьях лога раскинулось заводское строительство, по ночам над степью сияло электрическое зарево. Считанные дни оставались до пуска завода, а там, глядишь, и овраг станет называться попросту — карьером, и само название Чертова лога забудется: уже и сейчас заводской поселок зовут Кирпичным.

И все-таки как-то так получилось, что недобрая слава потихоньку продолжала жить и поныне: то лодка с дровами перевернется возле Чертова лога, то отбившаяся от стада корова потопнет в трясине, то машина в распутицу сорвется с дороги, загудит в овраг. Да что далеко ходить: случай с Виктором еще у всех был на памяти.

Разумеется, подобные происшествия могли случиться не только в Чертовом логу, а где угодно, и в них решительно не было ничего ни таинственного, ни сверхъестественного. Но вот однажды некий ракитинский житель, проходя поздно ночью по высокому гребню Чертова лога, заметил мерцание каких-то огней на болоте. Он сперва подумал, что ему показалось, попритчилось, но, приглядевшись внимательно, понял, что не ошибся: в лесу за рекой действительно двигались неяркие огоньки. Когда, придя в село, он рассказал об этом, его подняли на смех. Ночные огни в заречной трясине в самом деле смахивали на выдумку, и человек, видевший их, сам поколебался в своей правоте — а, может, и верно, показалось?

Спустя неделю, или около того, Тимка Калишкин, поужинав, отправился на поиски невесть куда запропастившегося племенного бычка. Бычок был гулена, его медом не корми, только бы по дороге в село отбиться от стада да и наладиться куда-нибудь — на овсы или плантацию розовой фацелии. Именно на фацелии Тимка его и нашел. Накинув на рога проказливого бычка веревку, Тимка отправился в обратный путь. Тропинка вилась вдоль реки, по самому краю высокого берега. Далеко внизу поблескивала звездами вода, где-то на болоте, словно отдирая от забора доску, кричал коростель. Огромная рыба плюхнулась под самым обрывом. «Сом! — насторожился Тимка. — Стой, Борька, — сказал он бычку, — давай послушаем...» Было тихо, только с болота тянул легкий ветерок. Рыба больше не всплескивала. Зато какие-то неясные звуки послышались с противоположного берега. Тимка замер, приложив к уху ладонь: да, не то стоны, не то пение доносилось оттуда. Это было так невероятно, что ему даже не по себе сделалось. И вдруг далеко-далеко, в ольховых зарослях, мелькнул огонек, затем — другой... Тимка присвистнул от изумления и, подбадривая бычка-гулену концом веревки, бегом побежал в Ракитино. Он кинулся в клуб — там только что кончилась репетиция, но кружковцы еще не разошлись по домам.

— А чи не брешешь? — выслушав сбивчивый Тимкин рассказ, недоверчиво спросил Засядько.

— С места не сойти, дядя Петя! — поклялся Тимка.

Всей гурьбой отправились на кручу Чертова лога.

— Вон! Вон! — закричал Тимка. — Чуток полевей бучила! Видите?

Сомнений не было: вдалеке на болоте мерцали огоньки. Они появлялись, исчезали и то становились неподвижными, то разбредались во все стороны.

— Шо ж це таке? — Засядько недоуменно поглядел на Карасева.

— Ой, а страшно-то как! — вздрогнула Нюська, прижимаясь к своему Петяше.

— Слышите? Слышите? — подняв руку, прошептал Тимка.— Вот и давеча так же...

Какие-то странные, похожие на стоны, протяжные звуки доносились с болота. Сильней потянул ветерок, и явственно послышалась мелодия «На тихой улице заречной».

— Ах, вон что! — рассмеялся Карасев. — Вон вы куда, голубчики, запрятались! Самое для вас подходящее место!

2.

Гаврила ходил злой и мрачный, с красными, слезящимися от насморка глазами. С самого утра что-то нехорошо, неспокойно было на душе, предчувствие какой-то беды тяготило нестерпимо. Напасти, одна за другой, последние дни сыпались, как из дырявого мешка. Бывали, конечно, и раньше неприятности — и милиция, и прокурор, и раз даже — в Краснодаре — около месяца пришлось отсидеть в предвариловке, но всегда, слава богу, ничем кончалось: «Ну, верующий, не воспоряю, подписуюсь... Так ведь Конституция-то, гражданин начальник, чего говорит, а? Вот и да-то...» И все. И будьте здоровы.

А нынче в газетку попал. Вся Россия прочитала, что вот живет в селе Ракитином гражданин Светличный Гаврила Тихоныч, проходимец, авантюрист, черная зараза, и как еще там его не обозвали, и полный адрес, одним словом, хочешь ему письма пиши, хочешь — в гости приезжай... И фотокарточку пропечатали, сукины дети,— на, мол, любуйся, какой он есть, в полном облачении, с ягночком на руках... Вот так-то теперчи и стой перед всей Расеюшкой, чисто без штанов, и прикрыться нечем!

В конюшне было тихо, прохладно. Иногда, нежно чивикнув, со двора залетала ласточка. Гладкий мерин, стоя у кормушки, добродушно косил на Гаврилу синеватым блестящим глазом, в котором отражалась распахнутая дверь и голубое небо с облачками.

Прибежала тетя Паша, сказала, что Беата Адамовна велит скорей запрягать, куда-то ехать собирается.

— Все скорей, — проворчал Гаврила, — все спешим, где не надо...

— Ты чего? — не расслышала тетя Паша.

— Да ничего, сейчас, мол, запрягаю.

Когда Гаврила подал тарантас, Беата, уже одетая, в плаще и белой косынке, стояла на крылечке с маленьким саквояжем, который обычно брала с собой, выезжая к больному. Она что-то раздраженно говорила сестре-хозяйке.

— Долго возитесь, Светличный, — недовольно заметила Беата.

Гаврила молчал, кончиком кнута поправляя криво надетую шлею.

— Не нравится работа — так и скажите, — усаживаясь, громко, чтобы слышала сестра, сказала Беата. — А мне такие работники не нужны.

— Да от вас только попреки и слышишь! — шмыгая носом, огрызнулся Гаврила. Они любили разыгрывать на людях такие сценки и, надо сказать, разыгрывали их артистически.

Выехав за село, Гаврила обернулся и спросил, куда ехать.

— Куда хочешь, — сказала Беата,— подальше от глаз, отдохнуть. Устала я, Гаврюша, — помолчав, прибавила она.

Гаврила поджал губы. «Устала!» Не в первый раз слышит он от нее такое признание. Совсем уж сникнет, бабью природу покажет, а потом, вздохнув, опять прет, что хороший конь. «Вот и доперли. Газетка! От нее большие последствия могут получиться. Кто-то копает и копает, уже и житья не становится, а мы все сидим, все ждем чего-то... Ох, дождемся! Ей-право, дождемся!»

Въехав в лес, вскоре свернули с битой дороги на просеку, на линейку, говоря по-лесному, и с полчаса пробирались по неезженым рытвинам и кочкам. В одном месте линейку пересекал веселый, звонкий ручей. Гаврила под уздцы завел мерина в чащу, обмотал вожжи вокруг кривого ствола корявой яблоньки и, подвязав к мериновой морде торбу с овсом, оглянулся на Беату. Она сидела в тарантасе, низко опустив голову, задумавшись и, видимо, не замечая ни весенней прелести леса, ни самого Гаврилы. Длинными жаркими лучами, словно играючи, солнце насквозь

прошивало темную влажную зелень, необыкновенно яркими кружочками пятнало серовато-рыжую, усыпанную прошлогодним листом землю. Негромко пересвистывались птицы, ласково позванивал шустрый ручеек.

Беата молчала. В ее низко склоненной голове, в безвольно опущенных руках, во всей позе чувствовались усталость, скорбь, а может быть, даже и безразличие. «В отделку уездилась! — подумал Гаврила. — Видно, на покой пора...» И вспомнился вдруг Демушка, его слова: «Хочу, мужики, человеком пожить...» Ах, какая правда, какая мудрость была в этих простых словах! «Человеком пожить!» Не дрожать каждую минуту, как затравленный заяц, не врать самому себе, не прятаться, не блукать по кривым, потаенным тропкам, а жить на виду, жить, вот именно, человеком! Пока еще не одолели старческие недуги, пока ноги уверенно, крепко ступают по теплой земле... «Нет, с Демушкой мне не равняться! — усмехнулся Гаврила. — Чего он добивался и чего я? Чего он искал и чего я? От моих до его дел, как от земли до неба. Видно, пускай он человеком живет, а моя должность — схорониться от людей подальше, червяком уйти в землю, да так, чтоб и хвостика было не видать...»

Задумавшись, Гаврила не заметил, как Беата вылезла из тарантаса, тихонько подошла, обняла. Он вздрогнул, когда она дотронулась до него.

— Хорошо-то как, а? — сказала Беата. — Давно я в лесу не была. Боже, какая чудесная речушка! «Вода примером служит нам...» — запела она. — Знаешь что, Гаврюша, давай купаться!

Гаврила изумленно поглядел на свою подругу: легкий румянец на щеках, блестящие глаза, усталости как не бывало.

— Прямо-таки, Адамовна, диву даюсь, глядючи на тебя, — сказал Гаврила.

Оставив мерина в чаще, они пошли по берегу ручья. Он вилял среди леса, то исчезая в траве, в черных, обнаженных корневищах деревьев, словно уходя под землю, то снова вырываясь, звенел по мелким камушкам и вдруг неожиданно разлился круглым, как блюдце, озерком. Высокие, прямые дубы окружали его и, отражаясь в зеленом омуте, создавали впечатление необыкновенной глубины.

Беата быстро разделась и кинулась в воду. Проплыв до середины, она обернулась, крикнула:

— А ты что же?

— Какое там! — Гаврила махнул рукой. — И так нос в отделку заложило, не продохну...

Кинув плащ, он уселся на старом, трухлявом пне. Беата засмеялась и поплыла дальше, к противоположному берегу, где на зеленой скатерти ряски и лопухов сверкали две ослепительно белые чашечки лилий. Беата сорвала их и поплыла назад. Она вышла из воды розовая, крепкая, сияющая ничем не прикрытой чистой, здоровой наготой отлично сохранившегося тела. С белых чашечек лилий стекали яркие струйки воды, коричневатые длинные стебли, как змеи, волочились по песку.

Гаврила смущенно засопел, отвернулся. Тихонько засмеявшись, Беата мягко повалилась к нему на колени.

— Что ж ты за дьяволица! — охнул Гаврила. — Нашла время...

— В Геленджик, — прошептала Беата, — в Геленджик поедем...

Разомлевшие, лежали они на солнечной полянке, слушали птиц, вздохи легкого ветра, сдержанный шепот листвы в верхушках деревьев. Наконец-то кончалась житейская путаница, наконец-то пчелы и виноградник приближались, делались почти осязаемыми. Наконец-то Беата сдавалась, капитулировала безоговорочно. Было решено, что этой же ночью она сама отвезет Гаврилу на станцию к ночному поезду. Ровно через год она приедет к нему. Даша? Сегодня же надо обязательно благословить ее на дальнейший подвиг, прилепить к старику навечно.

Они оживленно переговаривались, возвращаясь. Все житейское неустройство, все беды и вся напряженность, казалось им, остались где-то позади, словно бы кинутыми в зеленую воду лесного озерка.

Были сумерки, когда, поставив мерина в конюшню, Гаврила побрел через сад в свой кильдимчик. В саду, под ветвями старых деревьев, почти уже ночь наступила. Подходя к избушке, Гаврила насторожился: ему показалось, что кто-то сидит на лавочке возле двери.

— Что за человек? — окликнул он, всматриваясь.

— Зд'гавствуй, Гав'гила Тихоныч! — сказал Кронид. — Не п'гизнал, что ли? Ну, ве'гно, богатому быть!

3.

Кронид! Вот ведь о ком совсем уже позабыто было в беспокойной суете последних месяцев... Настолько позабыто, что даже и прошлогодняя мимолетная встреча с ним на гореловском базаре, заставившая тогда Гаврилу бежать в Ракитино,— даже и та встреча испарилась из памяти, казалась не более как дурным сном, привидевшимся уже бог знает когда. И вот он стоит перед Гаврилой — маленький, оборванный, с нахальной улыбочкой, которая красноречивей всех слов говорит о многом. И, наверно, так забавен был Гаврилин столбняк, что Кронид не выдержал, рассмеялся.

— Ста'гые д'гузья вст'гечаются вновь! — весело подмигнул он. — А? Ве'гно гово'гю?

Такая откровенная издевка вывела Гаврилу из оцепенения. «Ишь ты, ощеряется, сволочь! — с ненавистью подумал он. — Погоди, как бы плакать не пришлось...» Простая и страшная мысль осенила его: ночь, глушь, они с глазу на глаз, а в Крониде силы что в котенке...

— Здорово, здорово, Кроня! — сказал он с фальшивой веселостью. — Нежданный гость, что и говорить... Ну, давай, заходи, потолкуем.

Пока впотьмах искал спички, возился с лампочкой, мысль продолжала работать: «Очень даже просто... И никто побирушки не хватится... А Беате ничего не скажу: баба все ж таки...»

— Ты вот что, Гав'гила Тихоныч, — уже без тени усмешки сказал вдруг из темноты Кронид, — ты, д'гуг, не вздумай чего такого... нехо'гошего... Меня акку'гат у п'голома това'гищ дожидается. Ежели, к п'симе'гу, заде'гжусь, то как бы не забеспокоился.

Гаврила от неожиданности даже спичку сломал. «Фу, ты, черт картавый, словно в душу заглянул!»

— Господь с тобой, Кроня, — ласково сказал он, зажигая лампочку, — выдумает тоже. Небось не чужие: на одном, как говорится, полозу ехали, за один хвост держались...

— Ну, насчет хвоста — б'гось! — хмыкнул Кронид. — Ты-то, может, и де'гжался, а меня п'гоклятый ф'гиц тогда так т'геснул, что я недели две отлеживался... да. А ведь я, Гав'гила Тихоныч, думал, что ты за г'ганицу утек. Что, б'госили, видно?

— Бросили, ироды, — вздохнул Гаврила. — Ну, да что про то вспоминать, — повернул он разговор. — Давай-ка, братик, выкладывай, зачем припожаловал? Денег, верно, просить будешь?

— Ишь ты, как с'газу догадался! — с восхищением воскликнул Кронид. — «Денег п'госить»! Только, б'гат, извини, не п'госить... Ни в коем случае, не п'госить...

— Как так? — не понял Гаврила.

— Т'гебовать! Вот как. Ясно? Т'ге-бо-вать!

— А ежели не дам? Доносить пойдешь?

— Пойду, Гав'гила Тихоныч. П'готивное дело, те'гпеть не могу.... Да, вп'гочем, ты мужик г'азумный, сам не допустишь, чтоб К'гонька в такую г'грязную исто'гию полез.

Гаврила сидел, задумчиво опустив голову, постукивая пальцами по столу.

— Семейство-то все в доб'гом здо'говье? — вежливо полюбопытствовал Кронид. — Суп'гуга, сест'гица?

Гаврила молчал, словно не слышал.

— Ну, ладно, — сказал он наконец, — допустим, донесешь. Пойдут копать, ведь и твоих «крестничков» вспомнить придется... Ты как об этом соображаешь?

— Да уж, г'азумеется, ты молчать не станешь. Но тут еще доказать надо. Тебя-то ведь ежели, допустим, в Ямище п'гивезти — всякий тебя п'гизнает, скажет, что за гусь и сколько хо'гошего на'году извел. А мое дело десятое, к'гоме тебя кому моя г'оль известна? А никому. Живописец, да и все тут. Ходил, ков'гами тог'говал.

— Скажи, какой ягночек! — ехидно вставил Гаврила.

— А потому, — не обратив внимания на Гаврилину насмешку, продолжал Кронид, — потому и ме'га наказания нам с тобой будет г'азная: мне много-много лет восемь в'гежут, а уж тебе — это самое... сам понимаешь... Да вообще-то, п'гизнаться, я с тобой ва-банк иг'гаю. Восемь лет тоже не безделица.

«Ну, и сатана! — Гаврила пристально поглядел на Кронида.— Все, подлец, рассудил, бьет насмерть... «Товарищ у пролома дожидается...» Тот, наверно, мордастый... Но что же делать, как поступить? Дай раз, так он и в другой припрется... И не дать — тоже как бы чего не вышло... Э! — вспомнил Гаврила про ночные планы. — Да ведь в другой-то раз, голубенок, к пустому месту придешь! Дам сейчас сколько-нибудь, отвяжусь, да и с богом — на станцию...»

— Сколько ж тебе, Кроня, требуется? — спокойно спросил он.

— Да что? Тысчонку на пе'гвое обзаведение.

— А не много?

— Неужли ж тог'говаться станем? — усмехнулся Кронид.

Гаврила крякнул, покачал головой и, пригнувшись, полез за бязевую занавеску. Из тайничка, вделанного в изголовье топчана, вынул деньги, тщательно пересчитал и, заделав тайник, вышел к ненавистному гостю.

— Грех тебе, последнее отбираешь, — подавая Крониду деньги, всхлипнул Гаврила.

Кронид рассмеялся.

— Силен ты, Гав'гила Тихоныч, казанскую си'готу п'гедставлять! — небрежно засовывая деньги в карман телогрейки, сказал он. — Так тебе и пове'гили! Ну, бывай здо'гов, Даше кланяйся, коли жива... Хо'гошая бабенка была, так только замо'гдовали вы ее. Да, вот еще что,— остановился он у порога. — Ты мужик п'гово'гный, с тобой ухо вост'го де'гжи. Имей в виду, не вздумай смыться. Каждый день буду конт'голи'говать. Ежели смоешься — пе'гвый мой шаг — в эмгебе, ясно?

«Вот, паразит, захлестнул так захлестнул!» — чуть ли не простонал Гаврила, стоя на пороге кильдима и вглядываясь в темноту, в сторону пролома, куда направился Кронид. Тот, видимо, шел без тропки, продираясь через чащу дикого терна, матерясь вполголоса. Возле пролома чей-то хриплый бас негромко окликнул: «Кронька, ты?» — «Я самый, — весело отвечал Кронид, — заждался? Дело, Дим Димыч, су'гьезное, — хихикнул он, — дипломатия!» Они пошли, переговариваясь; все глуше и глуше звучали их голоса и, наконец, замолкли.

Гаврила стоял, ухватившись за ворот рубахи. Ему сделалось душно, на лбу выступила испарина. Какая-то ночная птица шарахнулась над головой. Гаврила вздрогнул. «Все! — в отчаянии прошептал он. — Все! Пришел час погибели!»

4.

После встречи с Таней на круче Чертова лога Карасев жил с чудесным ощущением счастья, каких-то светлых надежд и непоколебимой уверенности, что жизнь устроена

так разумно, что всему плохому бывает конец, после чего наступает одно только хорошее. В Танином взгляде, в улыбке, в голосе что-то такое тогда показалось Василию, чего он прежде не видывал, не замечал и вот это что-то и было причиной его счастливого настроения. В первое же воскресенье, захватив с собой томик Островского, он отправился к Тане.

С сильно бьющимся сердцем подходил Василий к гусаровскому дому. Он не был здесь с того памятного ненастного осеннего дня, когда нечаянно попал на торжественный обед, на котором застал Беату и вдребезги пьяненького Викентия Петровича.

Отворив калитку, Карасев остановился в изумлении: перед ним было нечто фантастическое. Через весь маленький, чистенький дворик тянулись, сверкая на солнце, голубоватые тонкие нити. Словно натянутые струны или, лучше сказать, чудовищная паутина, они из конца в конец пересекали двор, цеплялись за крылечко, за диковинную голубятню, за вишневые деревья, перекрещивались, расходились во все стороны, где-то в глубине двора соединялись, чтобы, сойдясь в какой-то точке, снова разбежаться к забору, к погребице, к голубятне. В центре всей этой сверкающей путаницы виднелся сам Викентий Петрович. В полинявшей розовой майке, в золотой парчовой тюбетейке, в невероятно ярких, ядовито-зеленого цвета, лыжных штанах — он был отличным дополнением к этой фантастической неразберихе.

— Осторожней, осторожней! — увидев Карасева, закричал Викентий Петрович.— Сюда, левей давайте, держитесь к забору... А то вы мне всю леску перепутаете. Вы к Тане? — здороваясь, спросил он.— Дома, дома, в саду, кажется... Сказать новость? — Викентий Петрович оглянулся. — Не ходит больше туда Татушка-то! Ей-богу! Вот уж недели две... а? Ловко? Что бы вам раньше-то мне сказать, я бы с ней тогда же провел соответствующую работу и... ну, и ничего не было бы. А то ведь, подумайте, какая неприятность, меня сам товарищ Листопад вызывал по этому делу, знаете, чем мне это грозило? «Мене, текел, фарес»! Снятие с работы, выговор, этсетера́... Я понимаю, конечно, у нее это — результат душевной травмы, так сказать... но, позвольте, надо же считаться и со мной... с моим общественным положением! Ноблес оближ, так сказать, знаете, ли... Ну, идите, идите, это хорошо, что вы за-

шли, ей полезно отвлечься... кши! кши! — замахал он на воробья, пытавшегося усесться на скрещение двух нитей.— Вот проклятая птица, места ей другого нету!

«Экий болван! — возмущался Карасев, пробираясь сквозь растянутые лески к садовой калитке. — «Ноблес оближ»! Ему, видите ли, неприятности, выговор... а что дочь гибнет — это наплевать!»

Яблони еще не расцвели, еще только крошечные розово-белые лепесточки робко выглядывали из раскрывшихся бутонов; сад был как бы окутан легчайшей розовой дымкой, каждая веточка сияла радостью пробуждающейся жизни. Таня сидела на скамейке и что-то читала. Она так увлеклась, что и не заметила, как подошел Карасев, и только когда его тень упала на книгу, она удивленно подняла ресницы.

— Знаете, Вася, что я читаю? — спросила Таня так, словно продолжала начатый разговор.

— Знаю, — сказал Карасев. — О Бахе. Я тоже купил себе эту книжку.

— Вы? — удивилась Таня. — С чего это вы заинтересовались Бахом?

— Ну, — засмеялся Карасев, — такой вопрос и я тебе мог бы задать.

— У меня есть причины.

— Но, вероятно, они и у меня были. Во всяком случае, я с удовольствием прочел эту книжку и знаю теперь, что он совсем не тот, за кого пытаются выдать его некоторые ханжи.

— Кто? Кто пытается? — встрепенулась Таня.

— Одна наша общая знакомая, — сердито сказал Карасев.

Таня пристально поглядела на него. Едва заметная улыбка мелькнула на ее лице.

— Да, совсем не то, — задумчиво сказала она.

— Тут в одном месте приводится разговор Гете с Мендельсоном.— Карасев взял книгу, полистал ее.— Отличный разговор. Гете отрицал религиозную сущность Баха... Ага, вот это место! Гете говорит Мендельсону: «Я старый, убежденный язычник, к христианству совершенно равнодушен, и, если эта музыка произвела на меня такое глубокое впечатление и нисколько не приблизила меня к религии, значит, она далека от церкви, и от попов, и от высохших мощей апостолов, и от всего им подобного...» А? Здорово?

— Я читала, — сказала Таня. — Но вот, чуточку дальше... Переверните страницу. Вот, где подчеркнуто, — она указала абзац, — читайте. Про себя, пожалуйста.

«Для веры необходимо нечто таинственное, — прочел Карасев, — что не поддается законам разума, но действует непосредственно на чувство. Вот почему духовенство прибегает к музыке. Но до известного предела. Бах более всего терпел от попов. Его музыка порой прямо-таки рвет свою церковную оболочку. Здесь начинает властвовать другой бог: человек и его стремления...» — Это ты подчеркнула? — спросил Карасев.

Таня молча кивнула.

«Ага, чертова Беата! — злорадно подумал Василий. — Бах-то тебе, оказывается, не союзник!»

5.

Когда Таня вспоминала события минувшего года, все представлялось ей как один длинный отвратительный сон, начавшийся на больничной койке, куда положили ее в тот страшный мартовский вечер. Да, все было сон: звенящие льдинки, черные тени людей, столпившихся вокруг лежащего на снегу Виктора, шорох чьих-то шагов в больничном коридоре... потом — ветка цветущей акации в окне палаты, лунный сумрак, сонное бормотание бабки Феши, величественная, торжественная музыка, причудливое розовое облако, пронзенное белыми стрелами молний, дым и чад людоедского пиршества... странный, ласковый человек в расшитой украинской рубахе... черные, прыгающие женщины... безумный восторг, заставляющий кричать, топать, плакать... Ночь, сон, бред, уродливые видения, навеянные болезнью.

Но вот и окончилась эта бесконечная, проклятая ночь. Однажды отец вернулся со службы и стал визгливо кричать, что она его опозорила, что скандал получает огласку.

— Дрянь! Дрянь! — бесновался Викентий Петрович. — Черт с тобой, что тебя выгнали из комсомола! Черт с тобой и с вашей дурацкой сектой... Но теперь по твоей милости и я, может быть, партбилета лишусь! Срам! Срам!

Таня ничего не поняла — какой скандал? Какой партбилет? Она с недоумением и жалостью поглядела на отца

и молча вышла из комнаты, как это делала всегда, когда начиналась домашняя перепалка. Обычно от семейных сцен родителей Таня спасалась у бабушки на кухне, но сейчас ее самое втягивали в воронку безобразной ссоры, и она решила уйти подальше. Провожаемая истерическими выкриками отца, Таня кое-как оделась и выбежала во двор.

Вечерело. Теплый, влажный ветер торопливо гнал высокие, зеленовато-розовые облака, среди которых нежно поблескивал тоненький серпик молодого месяца. В черном саду на ветках старого клена хрипло орали, хлопали крыльями, скандалили вороны. «Срам! Срам!» — надрывались они. Таня зажала уши и кинулась в калитку.

Она сама хорошенько не знала, куда идет, так просто шла, лишь бы подальше уйти от дома. На улицах еще стояла непролазная грязь, но возле домов и плетней были протоптаны дорожки. На площади, у скверика, гремел цепью Гулюшка. Задрав голову, он следил за четкой, белой, устремляющейся ввысь чертой пролетевшего невидимого самолета; подпрыгивая, смешно вскидывал пятками, бормотал:

— Батюска полетел! Батюска полетел! Куды з ты без мине-то? Да погоди з ты... дай и я подсигну...

Облака сомкнулись, закрыли движущуюся белую черту. Гулюшка сел в грязь и громко заплакал.

Когда вдали показалась больничная ограда с проломом, Таня поняла, что она идет именно туда. «Да мне кроме и некуда идти», — подумала она. В сырой темноте сада еще кое-где белел снег. На поляне, недалеко от Гаврилиной келейки, лениво дымилась огромная куча бурьяна и черных прошлогодних листьев. Лопата и грабли валялись, брошенные на дорожке. Таня оглянулась: ей не хотелось сейчас встретиться с Гаврилой, она не любила видеть его вне моленной — слишком велика и непонятна была разница между архангелом и человеком. Восторженный и властный, сильный и вдохновенный — там, и какой-то мелкий, суетливый, с угодливой улыбочкой, бисерным смешком, обыкновенный—здесь. Там — озаренное красноватым пламенем свечей, грозное или нежное лицо, лик даже, лучше сказать; здесь — хитренькая, жуликоватая мордочка, мышиные, вострые глазки, что-то напоминающее базарные ряды с их торгом, надувательством, зазыванием и божбой. Это были два совершенно разных человека, и к такому превращению Таня никак не могла привыкнуть.

Медленно прошла она через сад, поднялась на крылечко Беатиной квартиры, старательно обчистила налипшую на ботики жирную грязь. У Беаты было тихо. Таня потянула ручку двери, вошла в темные сени и постучалась: «Можно?» В комнате что-то упало, раздалось отрывистое восклицание, послышались возня, шепот.

— Это я, Беата Адамовна! — крикнула Таня. — Я вас разбудила? Вы спали?

— Сейчас, сейчас, деточка, — отозвалась Беата. Щелкнул ключ, открылась дверь. — Входи, милая Танечка... Гаврила Тихоныч, дружок, зажги лампу...

— Вы не одна? — удивилась Таня, разглядев в сумерках длинную, нескладную фигуру Гаврилы.

— Батюшка зашел почитать немного, — поправляя волосы и как-то воровато оглядываясь, сказала Беата.— Ведь ты знаешь, я не бываю на собраниях, не слушаю вместе с вами слово божье...

Гаврила тотчас ушел. При свете лампы Таня заметила, что всегда бледные Беатины щеки покрыты красными пятнами. Странный блеск ее глаз, неряшливо заправленная блузка, прядь волос, выбившаяся из безукоризненного пробора, — все это удивило Таню, которая привыкла видеть свою приятельницу аккуратной, подтянутой, с подчеркнуто спокойными и точными движениями. Сейчас какая-то суетливость чувствовалась в ней. Она совершенно бесцельно переставила с места на место табуретку, поправила сбившийся коврик возле постели, торопливо прикрыла полотенцем довольно толстую пачку денег на столе.

Тане сделалось мучительно неловко смотреть на Беату Адамовну. Когда она сказала: «Будем музицировать, Танюша?» — такая принужденность, такая фальшь послышалась в голосе, что Таня сказала: «Нет, я так просто зашла, извините»,— и, резко повернувшись, решительно пошла к двери.

— Куда же ты? — воскликнула Беата. — Может быть, ты что-нибудь подумала?.. Постой, я тебе объясню...

Таня не захотела слушать Беатины объяснения.

Заря погасла, облака ушли на восток. На синевато-зеленом небе весело, нарядно сверкал месяц. В ярко освещенных окнах клуба показывались и исчезали черные силуэты людей. Залихватски выговаривала радиола:

Вьется
Дорога длинная,
здравствуй,
земля целинная!

Таня вспомнила, что Витя часто напевал эту веселую, напористую песню. Он и сам был веселый, напористый. А до чего удивительно умел рассказывать, как горячо спорил, как смеялся! До сих пор, вспоминая о Викторе, Таня видела одно и то же: ночь, снег, распростертое тело... И вдруг он ворвался в ее память — живой, шумный, деятельный, заражающий всех вокруг своим неисчерпаемым жизнелюбием. Он никогда не уходил в себя, не замыкался в себе. Если ему нужно было обдумать, решить что-то, касающееся лично его,— он и в это ухитрялся втягивать всех, кто был возле: спрашивал совета, возражал, поворачивал дело и так и этак и, наконец, совершенно неожиданно решал, и нередко совсем не так, как ему подсказывали советчики. Но уж, раз решив, держался своего твердо, и тут его сбить было невозможно. Часто Таня спрашивала у него, как поступить ей в том-то и в том-то. Он сразу же говорил: вот так-то и так-то. И, смеясь, добавлял: «Только ты, Ташка, делай наоборот — и все будет правильно!»

И вдруг Таня подумала: «А как бы Виктор отнесся к Беатиным разглагольствованиям о посмертной радости, о таинственных коридорах человеческой жизни, о святом духе... Что бы он сказал обо всем этом?» И то, как бы он отнесся и что сказал, было слишком очевидно.

Таня остановилась, пораженная: что это? Ясно, отчетливо, где-то совсем рядом она услышала веселый, негромкий смех Виктора. Она вспомнила, как Беата давеча торопливо застегивала пуговочку на блузке и прятала деньги — и засмеялась. Длинная ночь пришла к концу, тяжелые болезненные видения расплылись, побледнели. Золотой краешек весеннего солнца сверкнул в сумерках Таниной души.

Она не пришла на одно, на другое сборище. Беата забила тревогу. Она не решилась идти к Тане домой: слухи о том, что товарищу Гусарову влепили из-за дочери партийный выговор, дошли до нее, и Беата Адамовна, несмотря на свою видимую непричастность к сектантам, как нашкодившая кошка, боялась встретиться с Викентием Петровичем. Она подстерегла Таню на улице.

— Что это, милая Танюша, — участливо спросила Беата, — уж не болела ли ты последние дни?

— Нет,— сказала Таня,— я совершенно выздоровела.
— Значит, болела все-таки?
— Да, целый год, вы сами знаете.
— Позволь, я не понимаю... Батюшка говорит, что так пусто без тебя в храме...
— Я не приду больше туда, — тихо, но твердо сказала Таня.
— Как! — воскликнула Беата. — Да ты, деточка, сознаешь ли, что говоришь?
— Вполне.
— Ах, вот как! — прошипела Беата. — Ну, не думай, что это так просто... Мы не прощаем отступников!
Таня глянула на докторшу и не узнала ее: такой злобой горели пронзительные глаза, так жестоко кривились тонкие бледные губы.
— Я знаю... — торопливо и словно задыхаясь, схватив Танину руку, продолжала Беата. — Я знаю... ты ушла тогда... ты не понимаешь еще... здесь — великое таинство...
Сначала Тане даже немножко страшно сделалось — очень уж как-то по-звериному оскалилась Беата, но последние слова о таинстве решили все.
«Боже мой, как глупо!» — подумала Таня. — «Однако мне ведь что-то надо сделать, что-то ей сказать... А как бы поступил Витя?» — неожиданно спросила она себя.
И, рассмеявшись, выдернула из Беатиной руки свою руку, повернулась спиной к ошеломленной докторше и пошла прочь.

6.

Насчет лаковых туфель и коньяку «Арарат» Кронид, разумеется, бухнул ради красного словца, но в общем-то на Гаврилину тысячу друзья приоделись вполне прилично и какое-то время обедали и завтракали с водкой и пивом. Дим Димыч только руками, как петух крыльями, всплескивал да похохатывал: «Ну, Кронька! Ну, деляга, туды его растуды!» Сперва, верно, одно неудобство оказалось — с ночевкой. Ракитино — не город, здесь не было ни подъездов, ни известных квартир, ни вокзала, где в случае чего можно передремать в тепле. Чайная закрывалась в десять; часов до двенадцати можно было околачиваться в клубе, глядеть кино или сидеть в читальне, но дальше оставалось одно-единственное — лавочки в сквере. Весна вполне всту-

пила в свои права, однако в иные ночи холод так пробирал, что хоть пляши, о сне и толковать нечего. Конечно, имелась возможность приискать квартирку, уголок или еще там что, но вопрос упирался в прописку, в предъявление документов, а предъявлять-то, собственно, было нечего: какие-то замызганные временные бумажки, да и то просроченные на несколько лет. Впрочем, солнышко все-таки набирало силу, и горевать особенно не приходилось: еще неделя-другая — и спи себе, где хочешь, на земле места всем хватит.

Но получилось так, что и с ночевкой все устроилось как нельзя лучше. Бражничая под пыльными фикусами ракитинской чайной, друзья познакомились с красавчиком Ленечкой, тем самым Ленечкой, из-за которого столько слез пролила горбатенькая Сима. Это был кудрявый, смазливый молодой человек с нахальными повадками профессионального обольстителя, с нехорошим, мутным взглядом выпуклых серых глаз. Он казался старше своих двадцати семи лет: нездоровый цвет лица, дряблые щеки и вечно красные, припухшие веки очень старили его. Ленечка любил поразить своей внешностью. Для этого он носил ярко-голубой берет, необычайной расцветки рубаху и какие-то необыкновенные, испещренные застежками-«молниями» штаны. К восемнадцати годам Ленечка еле-еле закончил семь классов. Его призвали в армию, но оказалось, что он негоден из-за плоскостопия, да кроме того, был единственным сыном у старенькой матери-пенсионерки, ее кормильцем, так сказать. Последнее особенно было забавно, потому что этот «кормилец» сам сидел на шее матери и пропивал ее скромную пенсию. У них от отца остался небольшой сад, который помогал старухе сводить концы с концами. Однако, войдя в года и приучившись пьянствовать, Ленечка и на сад наложил свою разукрашенную синими якорями лапу. В прошлом году он, наконец, решил начать трудовую жизнь и поступил на почту письмоносцем. Ребята над ним подшучивали: «Девчачья работенка!» Конечно, сумка с письмами и газетами была слишком легка для здорового парня, но он и с этим не справился — спьяну терял почту, а то и просто вываливал ее в укромное местечко. На него стали жаловаться, и месяца за два до описываемых событий Ленечка снова оказался не у дел.

Познакомившись с Кронидом и Дим Димичем, он привел их к себе ночевать. Забившись на печь, старуха-мать с

ужасом глядела на шумную гульбу приятелей; особенно страшен показался ей Дим Димыч, ревевший, как медведь, похабные песни. Днем пьянка продолжилась в саду.

— Ленечка, — сказала мать, когда его собутыльники ушли за подкреплением, — ох, детка, с кем ты гуляешь? Ведь это — побирушки, они по вагонам промышляют, я их сколько раз видела... Как хочешь, я их в избу не пущу.

Ленечка показал матери кулак, и она притихла: рука у сыночка была тяжелая.

Однако новые Ленечкины друзья сами не пожелали ночевать в душной избе. Они облюбовали стоявший в саду плетневый сарайчик, где когда-то хранились яблоки-падалица и кое-какой садовый инструмент. Ленечка притащил туда полушубок, подушки, отобрал у матери ватное одеяло, словом, всячески старался угодить приятелям за бесплатное угощение. В саду началась веселая жизнь.

— Ну, дача и дача! — восхищенно мотал головой Дим Димыч. — Курорт, чума вас возьми, ей-богу! Что ж ты, Кронька, за башка за такая, а?

— Со мной, Дим Димыч, не п'гопадешь! — хвастался Кронид. — Погоди, то ли еще будет! Ты еще узнаешь, какой есть К'гонька а'гтист!

Когда вся Гаврилина тысяча была пропита, Кронид снова отправился навестить старого друга и опять потребовал тысячу.

— И долго ж ты меня, Кроня, этак доить собираешься? — отсчитывая деньги, ласково спросил Гаврила.

— До т'гех г'аз, Тихоныч, — осклабился Кронид.— Т'гетий г'аз п'гиду — и шабаш. Но,— добавил он,— учти, су'гьезный г'азгово'г будет.

— Отступного заломишь?

— Обязательно.

— А много? — помолчав, спросил Гаврила.

— Там увидим, — загадочно сказал Кронид. — Лишнего не сп'гошу... Ста'гые п'гиятели, как никак!

«Чтоб ты подавился со своим приятельством! — плюнул ему вслед Гаврила. — Приятель какой нашелся...»

И снова закубрили друзья в Ленечкином саду. Но както тише, сдержанней вели они себя. Первое дело, что вволю наорались, поохрипли даже, а главное, и милиция стала обращать внимание: как-то зашел Филюшкин и пригрозил штрафом за нарушение общественного спокойствия.

И вот пошла полоса пьяных разговоров, вранья, похвальбы, неожиданных признаний и даже слез. Собственно, двое — Кронид и Ленечка — трепали языками, Дим Димыч больше отмалчивался, мрачно тянул водку или заваливался под яблоней спать. Но он часто только прикидывался спящим, а сам лежал, слушал, о чем распинались дружки. Ленечкин разговор был пустой, неинтересный, все больше про амурные похождения. А Кронидова брехня настораживала. Хвастался он, что хоть завтра пойдет в одно место и сто тысяч получит, а, может, и все полтораста, он еще подумает, сколько запросить...

— Надоела мне хуже го'ькой г'едьки такая кобелячья жизнь! — обнимая Ленечку, горячо говорил Кронид.— Я, Леня, все ж таки интеллигентный человек... художник, все ж таки... Я ка'ттину могу написать, закачаешься! Так на х'ена́ ж мне такая самодеятельность! А?

Ленечка только глаза таращил, он уже и слова сказать не мог, а лишь мычал, дергался в пьяной икоте и, наконец, повалился и захрапел.

— Эх, ты... зас'ранец! — презрительно сплюнул Кронид. — И пить-то, сосунок, не можешь с а'ттистами... Дим Димыч! — позвал он. — А Дим Димыч! Тоже, че'гт, д'гыхнет, па'газит...

Кронид потянул из бутылки, высосал остался и, размахнувшись, запустил ее в гущу вишенника. Раздался звон разбитого стекла.

— П'гямое попадание! — ухмыльнулся Кронид. Он привалился к теплому плетню сарая, закрыл глаза. Но сильно, гулко стучало беспокойное сердце, мысли, мысли осиным роем гудели в голове, не давали забыться. Тихо, ясно было в саду. Бесконечно долгую песню распевал скворец на высокой, пристроенной к сараю скворечне. Сонно, лениво перекликались ракитинские петухи. Где-то, наверно, на территории строительства, пронзительно свистел паровичок и мерно, звонко ударяли металлом о металл.

— Ну и че'гт с вами, д'гыхните! — обиделся Кронид и вдруг, видимо, вспомнив что-то забавное, рассмеялся. — Доить, гово'гишь? — он погрозил кому-то пальцем. — Я тебе, сукин сын, покажу... дипломацыю... Как ге'гману служить — то вместе, а как д'гапать — так в'гозь! Ты у меня, д'гуг, и сотней не отделаешься, двести дашь... Да и на что они тебе, ду'гаку необ'газованному? Ты — святой человек, как там тебя... а'гхангел божий... А я... о-па! о-па!

Аме'гика — Ев'гопа! — вскрикнул вдруг Кронид, захохотал, сполз наземь и так с разинутым ртом и заснул.

«Эко, подлец! — подумал Дим Димыч. — Сто тысяч! А что? Ведь достанет, Жид, Полушка чертова!»

Кронид держал от него в секрете свое предприятие. Как тогда вскочили в вагон, как сказал: «Сыт, пьян будешь, Дим Димыч, и нос в табаке! В лаковые полсапожки обую, шляпу-велюр куплю!» — так больше и не слыхали от него ни слова — в чем же, собственно, дело-то? Ходит куда-то за деньгами и приносит помногу, но вот, видишь, собирается и вовсе непомерно хапнуть... И разговоры какие-то пошли поо немцев, нехорошие разговоры... «Ох, — думал Дим Димыч, — как бы не встрять тут с вами в такую хреновину, что и не выцарапаешься!»

И он твердо решил погодить маленько, дождаться Кронидовой получки, обобрать его, да и уносить ноги подобру-поздорову, куда подальше. Смываться, короче-то говоря.

7.

Когда Кронид назвал Гавриле Тихонычу цифру отступного, у того глаза на лоб полезли.

— Ты, братик, либо сбесился? — промолвил он, оправившись от Кронидова нахальства. — Пятьдесят тысяч! Легко сказать, какая сумма!

— Это я, Гав'гила Тихоныч, еще вас жалеючи назначаю, — сказал Кронид. — Я было сто хотел ст'гебовать.

Они сидели в Гаврилиной келье, не зажигая огня. Небо к вечеру покрылось тучами, ярко, тревожно поблескивали в окне голубоватые молнии, глухо, но гневно рокотал далекий гром. Приближалась первая весенняя гроза. А в келье стояла тьма, духота, и разговор велся так тихо, что слышно было, как под полом шуршат, скребутся мыши.

— У меня, Кроня, не монетный двор, — сказал Гаврила. — Такую пропасть не осилю. Да это ты, братик, признайся, так, в насмешку сказал. Верно ведь, в насмешку?

— Какая может быть насмешка! — нетерпеливо дернул плечом Кронид. — Дело су'гьезное, сам понимаешь. Ты думаешь, небось: К'гонька — п'гостак, К'гонька — пьянчужка, такой-сякой... А у К'гоньки тоже, б'гат, на плечах не кочан капусты. Беата-то Адамовна тут, оказывается, п'ги тебе? — хихикнул Кронид. — Я, по п'гавде сказать, и думать об ней забыл, полагал, что ее давным-давно нету

в Советском Союзе, а она — вот она! Значит, учти — не с тебя одного, с обоих бе'гу, по четве'гтаку, значит, с г'ыла... Дешевка!

— А чего — Беата Адамовна? — нахмурился Гаврила. — Беату Адамовну не трожь, у ней все чисто: и что немецкого происхождения, и что в оккупации находилась— начальству все как есть известно... Этим, братик, сейчас не подденешь, не те времена!

— И что пе'геводчицей п'ги комендату'ге была — тоже известно? — прищурился Кронид. — И как сама лично па'гтизанских баб доп'гашивала? И т'госточкой как их по мо'гдам лупцевала на доп'госах — тоже известно? Да?

Гаврила молчал.

— Ты мне мозги не заду'гивай, — продолжал Кронид. — Что-то у нас с тобой пока скучный г'азгово'г получается. В п'гятки иг'гаем. Мужик ты не глупый, а ведешь себя, как ду'гак. Ну, по г'укам, что ли?

— Дорого, Кроня, — вздохнул Гаврила. — Пяток тысчонок, так и быть, наскребу, получай — и до свиданьица...

— «Так и быть»! — фыркнул Кронид. — Одолжение, в'годе, значит, делаешь? Это что же, последнее твое слово?

— Последнее, Кроня, — сказал Гаврила. — Что хошь делай — больше нету.

— Ну, будь здо'гов, — поднялся Кронид. — Пошел я, стало быть.

— Да ты погоди, — в голосе Гаврилы звучало беспокойство. — Куда спешишь? Тут у меня поллитровочка есть, раздавим, что ли...

— А ну ее к че'гту, твою поллит'говку! — с досадой отмахнулся Кронид. — Садиться иду, а он — поллит'говку!

— Как, то есть, садиться?

— Да как садятся-то, не знаешь? Постучусь сейчас в одно уч'гежденьице: так и так, г'гажданин начальник, с повинной п'гишел. — «А, пожалуйте, садитесь, не желаете ли заку'гить?» — Спасибо, неку'гящий, а лучше дайте мне бумаги и че'гнила, желаю чистосе'гдечные показания изоб'газить в виде п'гиключенческого г'омана... Вот так и сяду, — печально закончил Кронид.

— Э, братик, сесть всегда успеешь! — с наигранной веселостью воскликнул Гаврила. — Давай лучше об деле потолкуем. Бери десятку, хорошо даю, последнюю рубаху снимаю...

— Пошел, — сказал Кронид, — и так уж заболтался с тобой.

— Пятнадцать! — с каким-то присвистом вырвалось у Гаврилы. — Ну?

Кронид засмеялся.

— Ты, Тихоныч, п'гямо, как на база'ге, ей-богу! Скучный ты какой-то человек стал. Бывало, как мы с тобой у ге'гмана дипломацыю делали, ты куда веселей был. Свою цену я тебе сказал, т'гояка не скину. Из п'гинцнпа.

— Господи! — вскрикнул Гаврила с неподдельным отчаянием. — И на что я тебя подобрал тогда? Пойми, ведь сдох бы при дороге, как собака! Неужли за мою за доброту, за милосердие... а? Неужли ж не пожалеешь?

— А я что — п'госил тебя подби'гать? — нахально сказал Кронид. — И вообще, давай п'гек'гатим этот вече'г воспоминаний. Ско'го и так все вспомнить п'гидется. Последний воп'гос: даешь полсотни?

В темноте послышались всхлипывания: Гаврила плакал.

— Не'гвишки, видно, г'асшатались, — посочувствовал Кронид. — Ну, так как же?

— Завтра... об эту пору приходи, — всхлипывая, сказал Гаврила. — Приготовлю... Раздел, раздел! Ограбил, сукин сын! — истерически взвизгнул он. — Чтоб ты этими деньгами подавился, ирод!

— Спокойно, спокойно! — сказал Кронид. — Значит, догово'гились: завт'га в это в'гемя. Но опять-таки, п'гедуп'геждаю: не вздумай уд'гать, хуже будет. Понятно?

«Пропал, ухнул Геленджик! — утирая слезы, сокрушался Гаврила. — А что делать? Что?»

Кронид уходил, насвистывая разудалую песню «Всю-то я вселенную проехал». Когда затихли его шаги и свист, дверь скрипнула и на пороге показалась Беата.

— Адамовна, ты? — слабым голосом окликнул Гаврила. — Ох, детка... Иди, чего скажу-то...

— Я все слышала, Гаврюша, — спокойно сказала Беата. — Ты, главное, в руки себя возьми, голубчик. Не нервничай.

— Да ведь раздел же, разбойник! — воскликнул Гаврила. — С чем мы теперчи останемся?

— То есть, как с чем? — удивилась Беата. — Ты что ж, в самом деле хочешь отдать ему деньги?

— А как не отдашь? Слыхала? Говорит, садиться иду!

— Но ведь не пошел же пока? Вот что, — строго сказала Беата. — Завтра с Кронидом кончать надо.

— Ох, сладкая ты моя! Легко молвить — кончать, а сами-то... сами с чем останемся?

— Да нет, — с досадой сказала Беата, — я не про то!

— Что-то не пойму, — прикинулся Гаврила.

— Отлично все понимаешь. Боишься только. Вон и Кронид заметил — нервы, говорит, растрепались.

— Да ты постой, погоди, Беатушка...

— Ну, что — погоди? Годить, милый, некогда. Вот придет он завтра — и все. И чтоб мы уж с ним больше не встречались. Точка. Поезд из Горелова в половине второго. Успеешь.

— Господи батюшка! Да как же... Ах, ты ж, история какая!

Гаврила отлично понимал, куда клонила Беата. Да ведь он же сам именно так и собирался поступить с Кронидом в тот вечер, когда искал в темноте спички. И тогда это казалось ему очень даже простым делом... а вот сейчас вдруг понял, что дело-то не так просто, что верно сказала Адамовна, хоть и стыдно признаться: оробел.

— Хватит кудахтать! — рассердилась Беата. — Не понимаю, чего ты передо мной комедию разыгрываешь. Ну-ка, зажги свет.

Гаврила послушно зажег лампочку.

— Открывай погреб! — скомандовала Беата. И когда Гаврила поднял тяжелую, плотно входящую в пазы творила крышку, Беата, приказав Гавриле светить, полезла в вырытый возле самого порога погреб. Она что-то долго возилась там.

— Лопатку подай! — наконец услышал Гаврила ее приглушенный голос.

Поставив лампочку на край творила, он сходил за лопатой и подал ее Беате. Через минуту из погреба послышались хрустящие удары лопаты о землю.

— Кирпича много, — сказала Беата.

— Что это ты затеяла, Беатушка? — робко спросил Гаврила.

— Свети, свети! — прикрикнула Беата. — Сейчас намечу только...

Гаврила начал догадываться. Холодный, липкий пот выступил у него на лбу. «Да нет, быть не может, баба все ж таки...» — с ужасом подумал он.

— Ну, вот, — вылезая и отряхиваясь, сказала Беата, — пригодился все-таки погребок-то... Нынче же ночью, где намечено, копай метра на полтора... ну, в рост, одним словом. Лестницу потом убери. Пойдем, расскажу, дурачок! — глядя на ошалелое лицо Гаврилы, усмехнулась она. — И когда ты только притворяться бросишь!

8.

Василий Карасев сочинил стихи, которые были напечатаны в районной газете «Ракитинская правда». После этого его одолела слава: девушки постреливали глазками, подсовывали записочки, местный радиоузел громыхнул его произведение в передаче «Культурная жизнь района», а школьники накрепко прилепили ему прозвище «Пушкин». Но самым замечательным было то, что Павлик Фесенко написал на карасевские слова песню, ничего не говоря автору, послал ее в областную молодежную газету, на страницах которой она вскоре и появилась.

Разумеется, ракитинская молодежь принялась разучивать песню своих авторов, и все шло отлично, но Павлик никак не мог добиться от хора заключительного крещендо: женские голоса терялись в мощном потоке мужских. Как композитор ни махал беспокойными своими руками, как ни воодушевлял девушек — все было напрасно, ребята заглушали. Павлик отстранил несколько басов, в том числе и громогласного Засядько. Стало несколько лучше, но все равно группе женских голосов не хватало, как говорил композитор, основы. Павлик искал ее и не находил.

Однажды вечером драмкружковцы, закончив репетицию, зашли в зал, где занимались хористы, и бесцеремонно расселись в передних рядах. Напрасно Павлик кидал на них сердитые взгляды (он терпеть не мог, когда на спевках околачивались посторонние) — актеры, видимо, не замечали Павликовых молний. Они с интересом слушали, как звучали воплощенные в музыку карасевские стихи. А звучали они, надо сказать, здорово.

Таинственно, тихо запевали мужчины:

У черного омута — вечная тишь,
Над черною бездною дремлет камыш...
Лишь ветер пройдет иногда в вышине —
И снова все смолкнет в таинственном сне...

Вступали звонкие женские голоса, и как бы светлей становилось:

Над миром веселые зори встают,
В селе задушевные песни поют...

И снова зловеще:

И только лишь здесь — ни ребят, ни девчат,
Веселые песни их здесь не звучат...

Скрипнула дверь. В зал тихонечко вошли Таня и Сима. Они скромно уселись в заднем ряду. Кружковцы, особенно девчата, зашушукались, послышался смешок. Грозно глянув на шутников, Карасев подсел к девушкам.

— Как хорошо, Танюша, что пришла! — радостно сказал он. — И что вы тоже.... это просто замечательно!

Василий крепко тряхнул Симину руку, он сейчас весь мир хотел обнять.

— Что ж тут замечательного? — смутилась Сима.

— Да вот представьте себе, — подмигнул Карасев.

— Разговорчики! — сердито обернулся Павлик, но увидев, с кем сидит Карасев, осекся. — Вася, на минуточку! — позвал он.

— А что, Павлуша, если ты сам к нам подойдешь, — сказал Василий. — Снизойди, голубчик, в наших с тобой общих интересах...

— Привет, девушки! — помахал рукой Павлик, подходя. — Ну? — обратился он к Карасеву.

— Что ты скажешь, если у тебя в хоре появится редкостное контральто? Силища неимоверная, красота — божественная...

— Иди ты! — отмахнулся Павлик. — Не до шуток, понимаешь...

— А я и не шучу. Вот, — Карасев указал на Симу, — поклонись. С самим Петяшей потягается, ей-богу, такой голос!

— Откуда вы знаете, какой у меня голос? — густо покраснела Сима.

— Да уж знаю, чего там! — засмеялся Карасев. — Неважно откуда. Эх, Симочка, выручайте, родная! Автор умоляет. В случае чего, могу на коленки стать. Не доводите.

— Нет, кроме шуток? — забеспокоился, завертел руками Павлик.

— Какие шутки! Ну как, Сима, а? — Карасев поглядел на Таню: помогай, мол!

— Ох, что вы! — совсем растерялась Сима. Очень ярко вспомнилось ей, как совсем недавно вот в этот самый зал привел ее милиционер Филюшкин, как затлела тогда в сердце обида на всех, как она их называла, клубников, и больше всего — на вот этого длинного, что, точно мельница, размахивает руками, на ихнего секретаря... А сейчас — просят петь. Только что услышанная песня понравилась, она звучала торжественно, проникновенно. Сима не любила частушечной, плясовой музыки, считала ее ерундой. Что ж, она бы, пожалуй, спела с хором, корить и упрекать ее теперь некому: вслед за Таней перестала и Сима посещать Гаврилин храм. По правде говоря, она и пошла-то туда, глядя на Таню. Она прямо-таки была влюблена в нее, глядела как на божество — что та сделает, что скажет, то и правильно, то и хорошо. Но вот сейчас сам учитель Василий Иваныч и этот длинновязый упрашивают... Что это? Насмешка? Шутка, может быть? Она вопросительно глянула на Таню. Той стало смешно: с одной стороны — Карасев просит взглядом: помоги! с другой — Сима взглядом же спрашивает: что делать?

— Иди, Серафимочка, иди! — ласково улыбнулась Таня.

И вот Сима стоит в группе альтов. Она никогда не бывала на сцене, ей все тут кажется удивительным: грубое, испачканное краской полотно задника, который из глубины зала кажется чудесным цветущим лугом; какие-то окна с марлей вместо стекол: а вон, дальше, ведра с красками, заляпанный голубыми брызгами пол... Но — внимание! Павлик взмахивает длинными руками...

Сима не знает нот, у нее всего лишь тетрадочный листок с текстом. Мелодия хороша, песня все сильней захватывает. Снова приглушенно, горестно запевают басы:

Не ветер колышет серебристый ковыль —
В народе живет стародавняя быль.

И женщины тоскуют, плачут:

Как злую тоску не могла превозмочь
И кинулась в омут крестьянская дочь...

Ах, как понимает Сима горькое горе той далекой, милой, несчастной девушки! Ведь она сама в прошлом году не

раз приходила на голую кручу Чертова лога, и слезы обиды застилали, туманили заречную даль... Боже мой, как она тогда хотела смерти! Но так и не решилась, не нашла в себе силы, закрыв глаза, кинуться с обрыва вниз, где страшно, мутно поблескивая, чернел бездонный омут...

Печальную песню сложили о ней, —

Сима как бы про себя поет:

В той песне — все горе безрадостных дней,
Тех дней, что исчезли в проклятом былом,
Тех дней, что тяжелым нам кажутся сном...

Павлик с изумлением глядит на девушку. Ее сильное, глубокое контральто словно в мощные объятия заключает все голоса, реет над хором, ведет песню. «Да ведь этому дарованию цены нет! — восхищен Павлик. — И подумать только — целый год распевала какие-то дурацкие сектантские псалмы!» Он радостно улыбается Симе и не видит ни ее горба, ни заштопанного жакетика — одни сияющие, прекрасные глаза и голос... голос, равного которому он не слыхивал...

И в зале притихли, заслушались, взяла за душу, покорила песня; глубокий, пленительный голос всех очаровал, заставил забыть ту Симку-официантку, убогую девчонку, жестоко обиженную судьбой и красавчиком Ленечкой, ту Симку, в кружевной наколочке, которая день-деньской неуклюже моталась с подносом под пыльными фикусами чайной — от столиков к раздаточному окошку, отрывисто бросая на кухню: «Три борща, два шницеля, стакан компоту!» Кто бы мог подумать, что за сила таится в этой девушке!

— Здорово, а? — наклоняясь к Тане, восторженно шепчет Василий.

Не отрывая глаз от сцены, Таня молча кивает головой.

А Симе кажется, что она в песне, словно на крыльях, все выше летит, все выше; огромный, невиданный, просторный мир раскинулся перед ней, и сколько света и счастья в этом мире! «Человек идет в пустыне, он — пылинка, он ничто» — вспомнились ей унылые стоны Гаврилиных сборищ. Нет, врете, не пылинка! Люди — гордые, смелые, сильные и в то же время — нежные, душевные, как эта песня... И, главное, она — вместе с ними и уж

никогда не отстанет от них, не свернет с широкой дороги на узенькую, гиблую тропку. Все прошло, и возврата к этому прошлому не будет, но какой горький осадок остался на душе! Песня! Друг! Все выше, все выше летим!

Те дни далеко. Нынче наше село
Снопом электрических звезд расцвело.
Над омутом черным сияют огни,
Нам путь в коммунизм озаряют они!

Ведь это — про нас, про Ракитино, про Чертов лог, от которого теперь одно название осталось... Горящие огнями окна корпусов, устремившиеся в степь железные великаны высоковольтных мачт... Подъездные пути с вереницами мчащихся машин... Песня! Я хочу вложить в тебя весь восторг, всю силу обретенного счастья!

Нас партия к новым победам ведет,
Наш лозунг: вперед! Все вперед и вперед!
Да будет же славен делами вовек
Простой наш Советской земли человек!

Слишком много перечувствовала Сима за те несколько минут, что длилась песня, слишком велико было ее душевное напряжение, чтобы выслушивать похвалы и что-то отвечать на них. Едва сдерживая радостные слезы, она убежала. Ее пытались остановить. Василий в шутливой позе вратаря, ловящего мяч, загородил ей дорогу. Она, не взглянув, сердито оттолкнула его.

— Что же это? — огорченно воскликнул Павлик. — Она, может, больше и не придет?

— Придет, — уверенно сказала Таня. — Вы только сейчас не трогайте ее, оставьте в покое.

Подошел Засядько и шумно приветствовал Таню:

— Оце гарно, Танюша, шо пришла до нас. Ну, товарищ книгоноша, дывлюсь я тоби, — Засядько в шутливом изумлении уставился на Таню, — як же ты, сэрдэнько, не побоялась с цей ведьмачкой працюваты?

Он кивнул на Нюську и тут же втянул голову в плечи под градом посыпавшихся на него ударов.

— Бачитэ, люди добрые, шо вона со своим чоловиком роблыть?!

— Почему — книгоноша? — удивился Карасев.

— А потому, Васенька, — сказала Нюська, — что с

завтрашнего дня Танюша у меня помощницей будет работать.

— И вона сама, — добавил Засядько, — як та барыня у библиотеке станет посиживать, чай распивать, а Танечку с передвижкой на полевые станы погонит... Чуешь?

Провожаемый тычками нежной супруги, он пошел на сцену гасить свет.

— Нет, правда? — просиял Карасев.

— Правда, — засмеялась Таня, — до каких же пор мне на отцовской шее сидеть?

Засядько выключил на сцене свет.

— Дорогие гости,— послышался его голос,— а чи не наскучилы вам хозяева? Зараз у зале выключать буду!

С шутками и смехом молодежь высыпала на улицу. Темная, темная ночь плыла над миром. В той стороне, где стоял больничный сад, особенно черно было, и казалось, что именно оттуда расползается по небу косматая, зловещая темнота. Но в Ракитином мелькали веселые огоньки и яркое зарево электричества сияло над Чертовым логом.

Над омутом черным сияют огни, —

запел кто-то из ребят, но пение вдруг оборвалось: из кромешной тьмы донесся отчаянный крик.

Ребята остановились, вглядываясь в темноту.

9.

Итак, вечером Крониду предстояло получить, как он говорил, «ломоть от пирога». Через несколько часов у него окажутся такие «деньжищи», каких он сроду в руках не держивал. Пятьдесят тысяч! Эти два слова сверкали в его воображении, как два маленьких солнца, в них даже музыка какая-то слышалась — марши, польки, галопы и тому подобное, отчего ноги зудели, не стояли на месте, просились в пляс. Наряду с этими чувственными, так сказать, ощущениями грядущего счастья появились и трезвые мысли о разумном использовании капитала: домик, жена, инвалидная микоолитражка...

Домик? А почему бы и нет? Утренняя прохлада на зеленом дворике, чистенькая галерея, где устроена мастерская; на подрамниках — полдюжины начатых ковров, изготовляемых одновременно: прошелся по всем голубой краской — небеса, зеленой — трава и деревья, синей —

вода, белилами — цветы, лебеди и колонны отражающихся в воде беседок... Ежели даже по полсотни за штуку — шесть ковров — это уже триста целковых в день, не жук чихнул, как говорится. Жена? Что ж, и жена, очень даже просто: за такого завидного жениха любая дура пойдет. Инвалидная автоколяска, пожалуй, потрудней будет, но ежели дать кому следует тысчонку, то и микролитражка состоится.

Замечательно, что Кронид, до сих пор мало думавший о деньгах, не знавший им цены и умевший только бестолково их тратить, задумался вдруг о разумном применении своих пятидесяти тысяч. И даже не только о том, как их умненько истратить, но и как вернуть и приумножить. С тех пор как треснул его проклятый немец сапожищем по морде, пошла у него жизнь через пень-колоду, все больше побирушничество да пьянство, о своей специальности не вспомнил ни разу, разве только что при пьяных разговорах, при наглом бахвальстве, чтоб поразить собутыльников — вот, мол, каков я есть, черти полувшивые! А тут и художество пришло на ум, но уже не как наслаждение белыми лебедями и славой, а просто как способ вышибать по две-три сотни в день. Забулдыга, артист примерял капиталистические латы.

Он рано проснулся в этот знаменательный день. В крошечном окошке Ленечкина сарайчика мельтешила сбрызнутая утренней росой и ранним солнцем листва; несколько световых кружочков, как живые, лениво шевелились на стене; ласково тянул прохладный ветерок, и нежно, мелодично позванивало в оконной раме разбитое стекло. Дим Димыч сладко спал, сопел, смешно оттопыривая толстую губу. Его грязные, припухшие ноги с безобразными ревматическими наростами на больших пальцах торчали из-под Ленечкиного полушубка. Да и весь он был какой-то грязный, исцарапанный, мерзкий, вонючий. «Три пары носков купил паразиту, кривой заднице, — с досадой подумал Кронид, — так хоть бы ноги-то вымыл!» Глухая темная неприязнь к спящему Дим Димычу шевельнулась в Крониде. Почему? Кронид понял: сколько-то из пятидесяти тысяч этому хлюсту придется выдать... черт бы его побрал, каторжная харя, дармоед, пьянчуга!

Светлое, чудесное настроение улетучивалось, сменялось тяжелым чувством ненависти и презрения. Разбирала злоба на самого себя: ничего себе приятеля нашел, пойди, от-

вяжись теперь от него — как клещ, присосался к чужим-то денежкам! «У, тварь! — скрипнул зубами Кронид. — Спит, сволочь, шпана проклятая... Проснется — опохмелку ему подавай, потом — обед с водкой, потом — опять дрыхнуть, а вечером —изволь, отсчитывай ему... А сколько же отсчитывать-то? — задумался Кронид. — Что-то такое насчет половинной доли плел вчера, сукин сын, ишь ведь как разлакомился! Хрен вот тебе, а не половину! Тысячи две-три за глаза достаточно...»

— Буду-буду-буду! — шумно втягивая слюни, пробормотал во сне Дим Димыч. — О-о-о!..

Солнце поднялось выше, шаловливые яркие кружочки исчезли со стены. А листва все мельтешила. Где-то вдалеке послышались голоса: Ленечка бранился с матерью.

«А собственно говоря, — подумал Кронид, — за что, в честь чего это я ему должен выплачивать две тысячи? Что он мне — отец, брат, друг детства? Глупо, Кроня, очень даже глупо! — он засмеялся от осенившей его счастливой мысли. — Значит, так, дорогой Дим Димыч: вместе идем мы с тобой в то самое место. Ты ожидаешь возле пролома. Я получаю расчет и тихонечко иду... нет, не через пролом, конечно, а через двор, слава богу, ходы-выходы изучены. Затем — прямым ходом в Горелое, на станцию и с первым же товарняком — будьте здоровы! А ты себе полеживай у пролома! Ха-ха-ха!»

И Кронид весело рассмеялся. Разбуженный его смехом, Дим Димыч заворочался, закряхтел, приоткрыл глаз и сердито спросил:

— Чего ржешь?

— Так, одну вещь вспомнил, — сказал Кронид. — Вставай, будет п'рохлаждаться-то!

— Привет! — входя в сарай, воскликнул Ленечка.— С хорошей погодкой, с праздничком!

— С каким таким праздничком? — пробурчал Дим Димыч.

— Троица, дорогой товарищ, троица.

— Да вы что ж, нешто веруете?

— Веровать не веруем, а полсела перепьется, — усмехнулся Ленечка. — Согласно традиции.

— Эх, и дармоеды ж вы, деревня! — презрительно сказал Дим Димыч. — В колхозе работать неохота, так они какую-то троицу выдумали!

— Работяга какой нашелся! — прыснул Ленечка. —

Ну, что, Кронид Иваныч, сбегать, что ли, ради праздничка?

Кронид выдал полсотенную бумажку, и Ленечка, лихо сдвинув на ухо свой ослепительный берет, отправился за водкой.

Приятели подошли к пролому, когда уже было совсем темно. Ни единой звездочки не мерцало на небе. Потемки на пустыре и в саду стояли такие, что хоть глаз выколи. Лишь в окнах клуба сияли огни. Оттуда доносились звуки могучей торжественной песни.

— Распелись! — мрачно сказал Дим Димыч. — К дождю.

Он сипло захохотал, но шутка не получилась. Всю дорогу Кронид был молчалив, подавлен. Он сам удивлялся своему настроению: шел на такое дело, раз в жизни отламывал ломоть, все время радовался, предвкушая момент, когда в руках окажутся толстенькие пачки сторублевок. Но вот до получки оставались считанные минуты, а веселье покинуло его. Наоборот, тревога, даже какое-то смутное предчувствие беды вползли в сердце и прочно угнездились в нем. «Может, это оттого, что затеял я обойти, обмануть товарища?» — подумал он. И решил, что не станет обманывать, даст ему три тысячи.

Дим Димыч тоже помалкивал. Он и всегда не очень-то был разговорчив, все больше сопел, а сейчас, когда в его нечесаной, немытой башке медленно, точно тяжелый жернов, кружила мысль о том, как половчей обобрать Кронида, Дим Димыч и вовсе замолчал. Он так себе представлял: сразу же после получки они напьются, Кронька заснет, а он ухватит деньги и — ходу. Куда? Ну, уж это дело десятое, главное — деньги взять.

Оставшись один, Дим Димыч сел, удобно привалился спиной к кирпичной ограде и, пряча в ладонях спичку, закурил. Он слышал, как продирался Кронид через терн, как постучался, как негромко сказал: «Свои, открывай!»

И все стихло.

10.

— Кого бог принес? — глухо, точно из-под земли, спросил Гаврила.

— Свои, открывай! — сказал Кронид.

Загремела отодвигаемая задвижка, широко распахнулась дверь.

— Шагай, шагай, братик! — позвал из темноты Гаврила. — Сейчас огонек засвечу...

Кронид шагнул и дико, отчаянно вскрикнул: под ногами оказалась бездна. Головой и грудью он ударился о туго прибитую землю и потерял сознание. В последнюю долю секунды он услышал показавшийся ему знакомым женский голос. Вспышка света мелькнула и погасла.

Сознание скоро вернулось. Оно принесло отвратительное ощущение земляного холода. Земля была всюду: на груди и на спине под рубахой, во рту, в волосах... Ноги куда-то глубоко ушли под землю, холодная тяжесть придавила их, а земля все сыпалась, сыпалась...

Это было так страшно, что Кронид даже и вскрикнуть не мог, да он все равно и не вскрикнул бы: земля плотно залепила рот. Только глаза, верно, оттого, что в беспамятстве были закрыты и в них не попала земля, только глаза все видели. И то, что они видели, оказывалось страшнее всего. Скорчившись, полузасыпанный землей, Кронид лежал в глубокой яме. Над ним раскорякой метался Гаврила. Он с бешеной быстротой работал лопатой; комья холодной, влажной земли обрушивались на Кронида. Тусклый свет шел откуда-то сверху. Тошнота подступила к горлу. Кронида вырвало. И сразу стало легче: рот освободился от земляной затычки.

— Не надо... — шепеляво выдохнул он. — Не надо... уйду... совсем...

Гаврила молчал, работал, норовил кидать землю на голову Крониду.

— А-а! — простонал Кронид. Нестерпимая боль резала, рвала на куски все тело. Но голова, он чуял, была невредима.

— Лопаткой его! — сказал спокойно женский голос сверху, оттуда, где был свет.

Кронид поднял глаза. На корточках возле творила сидела женщина. Он узнал ее. Она держала в руке керосиновую лампу.

— Свол... — начал Кронид и не договорил: на голову обрушилась стопудовая тяжесть.

— Скорей! — торопила Беата. — Скорей!

Дыша тяжело, со свистом, Гаврила кидал лопату за ло-

патой. Наконец все было кончено, притоптана земля, захлопнута крышка погреба, на висячий замок заперта дверь кельи.

С небольшим чемоданчиком в руке Гаврила шибко шагал по гореловской дороге. Филюшкин на мотоцикле догнал его уже за Чертовым логом.

Во время следствия Гаврила нервничал и часто плакал. На первом же допросе он назвал имя своей сообщницы.

Когда пришли брать Беату, она сидела за фисгармонией и разыгрывала «Инвенции» Баха. Увидев милиционера, она спокойно закрыла нотную тетрадь и стала одеваться.

Ее самообладание было изумительно.

11.

В июне пошли дожди. Ровный, спокойный шепот падающих капель стоял над рекой и в садах. Люди радовались тихому и теплому дождю: он сулил урожай.

А в Михайла Иванычевой избе была тоска. Дарья сидела у окна и напряженно вглядывалась в заречье. Она ждала.

Напрасно Михайла Иваныч старался отвлечь ее от этого тягостного ожидания, рассеять чем-нибудь: то звал ее, чтоб помогла поднять поваленный ветром плетень, то за козой присмотреть, то перетаскать в сарай нарубленные дровишки. Она нехотя отрывалась от окна, послушно шла, но вяло, плохо делала то, что ее просили, и, кое-как сделав, снова усаживалась у окна.

— Да кого ж ты ждешь-то? — спрашивал ее Михайла Иваныч.

— Батюшку, — не сразу отвечала Дарья. — Кого ж мне еще ждать-то?

Михайла Иваныч попытался ей объяснить, что «батюшку» сейчас ждать — пустое занятие, что его увезли в город, что он там в тюрьме находится. Дарья внимательно выслушала, потом, наморщив лоб и загибая пальцы, стала что-то шептать, словно считала в уме, и, наконец, спросила:

— Какого числа увезли-то?

— Шестого июня, — сказал Михайла Иваныч.

— Это, значит, восьмой уж денек пошел?

— Стало быть, так.

— Ну, вот, а ты говоришь! — улыбнулась Дарья.— Значит, он уже пятый день на небушке пребывает...

Хмуро слушал Михайла Иваныч эти безумные вычисления, и жалость, острая жалость к несчастной жене разбирала его чуть ли не до слез.

— Слава богу, — как-то раз, перекрестившись, сказала она, — голгофу батюшке сделали, теперь и до вознесения рукой подать...

— До какого, то есть, до вознесения? — не понял Михайла Иваныч.

Дарья с ласковым сожалением, как на неразумного младенца, поглядела на мужа.

— Погоди, Миша, откроются и тебе глазки... Все, все как есть, уразумеешь...

Твердо уверовала она, что Гаврила взят на небо, что летает он сейчас с ангелами божьими, но обязательно явится ей, прилетит из-за реки, оттуда, где и в прошлом году летали ангелы, когда он через речку, яко Христос по суше, ножками перешел.

Вот так она и ждала своего «духовного супруга», «батюшку», Гаврилу-архангела, ждала с такой уверенностью, с такой силой темной страсти, что Михайле Иванычу иной раз прямо-таки не по себе делалось. Искоса поглядывая на Дарью, сидел он, одну за другой курил свои сигаретки, напряженно думал, как ей помочь, как вернуть ее к жизни, — и ничегошеньки не мог придумать. А за стеной — дождь, дождь, ровный, сонный шум, назойливый, дробный стук стекающих по оконному стеклу капель...

Двадцатого июня выглянуло солнце. Две переливчатые, крутые радуги дивными воротами перекинулись через мокрый луг, и в ворота эти сверкающей вереницей вошли жаркие, погожие дни. Нежно запахло умытой листвой, цветами, травами, жирной землей, грибами. На утренних прохладных зорях зачернели в речном тумане рыбачьи челноки, женщины с кошелками потянулись в лес — самая пора наступала для тех и других: в реке отнерестился лещ, в лесу, поднимая мокрую прель, полез крепкий белый гриб.

В один из таких чудесных дней Михайла Иваныч сказал Дарье:

— Что ж все сидеть да сидеть? Пойдем-ка лучше в лес, грибками побалуемся... Шутя, играючи, лукошко наберем.

Дарья молча, покорно собралась.

Михайла Иваныч с мальчишеских лет весь лес вокруг Ракитина излазил, каждую самую малую полянку, каждое деревцо, каждую мочажинку знал отлично, как свою избу, и, чтобы развлечь Дарью, повел ее по самым грибным местам. Она и в самом деле преобразилась в лесу — порозовели щеки, в глазах мелькнули какие-то хорошие искорки. Все ее радовало и занимало: веселая стайка молоденьких грибков под дубовыми кустами, дятел в красной шапочке, гнездо с ротастыми птенцами дубоноса, промелькнувший в частом осиннике олений табунок...

К полудню лукошко было полно. Дарья разохотилась, давай в платок собирать. Глядь — и платок полнехонек.

— Ну, милка, видно, всего не унесешь,— поглядев на солнце, сказал Михайла Иваныч. — Пора ко двору подаваться.

Они пошли без дороги, на прямую, и через какие-нибудь полчаса вышли на крутой гребень Чертова лога. Старик, видно, притомился, лазая по лесным буграм и буеракам. Выйдя на кручу, он опустил лукошко с грибами наземь, снял картуз, вытер рукавом рубахи пот со лба и устало сел на теплую, сухую траву.

— Давай маленько отдохнем, — сказал он, — до дому-то хоть и недалеко, а чтой-то старые ходуны забастовали...

Перед ними широко раскинулось болотистое заречье; до самого горизонта зеленой попоной с серебряными бляхами озер лежал лес. Казавшаяся с высоты пустяковым ручейком речка петляла по лугам, неудержимо стремясь к Чертову логу, и, наконец, ударившись об его высоченный обрыв и закружившись в темных бучилах, спокойно потекла дальше — вдоль высокой глинистой кручи.

И как только взглянула Дарья на эти просторы, так и примолкла; опять, как у окошка, стала вглядываться в заречье, и снова Михайла Иваныч увидел на ее лице то напряженное и болезненное выражение ожидания, которое так тревожило и смущало старика. Он попробовал отвлечь ее разговором, рассказал потешную историю, как один ихний ракитинский старик, нечаянно напав без лукошка на грибное место, стал грибы в портки собирать, и сам, рассказывая, смеялся до слез, а Дарья словно бы и не слышала потешного анекдота, сидела окаменевшая, уставясь в одну далекую и ей одной видимую точку. И вдруг засмея-

лась радостно, звонко, и, протянув перед собой руки, вскочила и быстро пошла к обрыву...

— Батюшка! — смеясь и плача, воскликнула она.— Батюшка! Дождалась-таки! Глянь, глянь, Миша, — не оборачиваясь, крикнула она, — вон он! Вон! Летит, голубенок! Летит... ах!

И с диким воплем она кинулась с кручи.

12.

После смерти жены Михайла Иваныч долго ходил как потерянный. Он сгорбился, опустился, не узнавал знакомых, не замечал их, а когда с ним заговаривали, то молчал или нес в ответ что-то уж совсем несуразное. «Тронулся дед, — говорили про него, — обязательно помрет». — «Ох, — вздыхали сердобольные бабы, — а ведь помрет, голубчик, и глазыньки закрыть некому!»

Но Михайла Иваныч не тронулся и не помер. Может быть, действительно, так и случилось бы, но, к счастью, его спасла одна самая, на первый взгляд, пустяковая вещь: градусник.

Целыми днями бродил старик без всякой цели и очень часто оказывался на том месте Чертова лога, откуда кинулась Дарья. Он все словно бы что-то силился вспомнить— и не мог, и это мучило его и не давало покоя.

Как-то раз Михайлу Иваныча прихватил дождь, и, когда он вернулся домой, на нем сухой нитки не было. Он полез в сундучок за рубахой и, ища ее, наткнулся на водяной градусник. И, точно градусник и был тем самым, о чем он все пытался вспомнить, старик сразу успокоился и начал, как и прежде, мерить температуру воды и воздуха и записывать наблюдения в тетрадку. Хотя работа была и бесцельной, но она отвлекла его от тяжелых мыслей. Михайла Иваныч как бы пришел в себя, опомнился, прибрал на дворе, вымыл в избе давно не мытый пол, перестирал бельишко.

А дело клонилось к зиме. Лес побурел, разукрасился цветными заплатками, высоко в небе переговаривались улетающие журавли. Пришло время запасать дрова. Михайла Иваныч наточил топор и отправился в лес. Лодка, долгое время стоявшая без присмотра, протекала, требовала починки. И так явилось новое занятие, работа набегала на работу, только успевай поворачиваться.

Наконец выпал снег, ударили морозы, потянулись длинные вечера. Михайла Иваныч вспомнил о былой своей дружбе с книгами и пошел в библиотеку.

— Вам, дедушка, что, — с любопытством поглядывая на него, спросила Нюська, — опять приключения?

— Приключениев, дочка, у меня у самого девать некуда, — сказал Михайла Иваныч. — Поищи-ка ты мне чего-нибудь поумственней...

Нюська дала ему «Библию для верующих и неверующих».

ОГЛАВЛЕНИЕ

Кораблинов Владимир Александрович

ЧЕРТОВ ЛОГ

Роман

Редактор И. Е. Толстой
Художественный редактор С. Г. Ратмирова
Художник В. А. Кораблинов
Технический редактор П. Г. Серадэская
Корректор О. А. Петропольская

* * *

Сдано в набор 11/VIII 1962 г. Подписано к печати 17/XI 1962 г. Формат $84 \times 108^{1}/_{32}$. Физ. печ. л. 18,5. Печ. л. 15,2. Уч.-изд. л. 16,8. ЛЕ04840. Тираж 30000 экз. Цена 65 коп. Заказ № 7730.

* * *

Воронежское книжное издательство, ул. Цюрупы, 34.
Воронеж, типогр. изд-ва «Коммуна», пр. Революции, 51.

ЧЕРТОВ ЛОГ

65 коп.